

александр туницкий

ТРУДНОЕ УТРО





ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

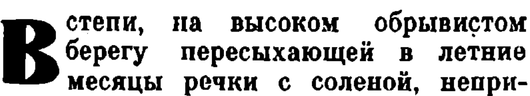




ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

ПОВЕСТЬ





1

В степи, на высоком обрывистом берегу пересыхающей в летние месяцы речки с соленой, непригодной для питья водой, раскинулась станица Семихарчинская. По преданию, в давние времена, когда Дон заселяли беглые люди, обосновались в этих местах семь братьев Харчиных. От них и взяла свое начало станица.

Не за что здесь зацепиться взгляду: равнина, чуть приподнятая к западу, мочажина да солончаки, трудная для обработки бестравная земля, редко поросшая горькой полынью и татарником. Нет-нет да и встретится старый сторожевой курган. Теплый ветер из астраханских степей давно уже выровнял его верхушку. Пройдет еще сотня лет — и, если ничто не изменится, надвинется степь на курган; песчинка за песчинкой разнесет его по окрестностям.

Теперь уже трудно понять, что заставило беглых людей, братьев Харчиных, поселиться в дикой, не приспособленной для жизни степи. Прямой бы им расчет прибиваться ближе к Дону, в плодородные донские степи. То ли опоздали они и пришли на Дон, когда лучшие земли были уже заняты другими, то ли характер имели угрюмый и нелюдимый, искали одиночества... Никто не знает этого и не узнает никогда.

Станица растянулась в два порядка вдоль песчанистого большака километра на полтора в длину. Дома в ней крыты железом и похожи один на другой: три окна на улицу, три на правую сторону, два — на левую и одно, заднее, в сад. Окна снабжены ставнями и имеют железные приспособления, чтобы открывать и закрывать ставни изнутри. С улицы к дому пристроено крылечко, к крылечку ведут четыре ступеньки.

Позади каждого дома — огород, виноградник и два или три дерева — стройные тополя, или дуплистые тютины, или кривые акации.

За годы совместной жизни семейства земледельцев Семихарчинской сроднились между собой, а пришлые люди, видимо, неохотно селились в глухом безводном краю. Потому и насчитывалось в станице не более десятка фамилий. Помнили старые люди и последних потомков братьев Харчиных. Были они, по словам стариков, люди рослые, широкие в плечах, служили в гвардии. Но как вывелась эта фамилия в станице Семихарчинской, никому не было известно. Впрочем, народная память сохранила и то, что для людей жили Харчины, а не только для себя. А для людей жить нелегко.

Восемь семейств носило фамилию Еремеевых. Были среди Еремеевых люди и высокие ростом и низкие, могучие и слабосильные, красивые и некрасивые. Но почти всех их роднили светлые, выгоравшие летом, соломенного цвета волосы и слегка выступающие, монгольского склада скулы. А еще носы были схожи у всех Еремеевых: широкие книзу, чуть вздернутые, короткие.

Так уж повелось, что были Еремеевы среди казаков Семихарчинской наибеднейшими. Однако в период коллективизации заявление о вступлении в колхоз Степан Афанасьевич Еремеев подал одним из последних после долгих и упорных уговоров. То, что беднейший хлебороб колеблется, ставило районное начальство в тупик. Искали, под какое определение подвести колебания Еремеева. Подкулачником объявить никак нельзя: человек независимый, гордый, на поклон ни к кому не ходит. Богатого родства у Еремеева также не имелось. В белой армии никто из Еремеевых не служил, в царской — до заметных должностей никто не поднимался.

А потому прибегли только к суровым уговорам.

И уговорили.

Степан Афанасьевич не знал полурешений. Вступив в колхоз, отдал все силы общему делу. Уже через год, забыв о колебаниях Еремеева, избрали его колхозники председателем. Районные власти утвердили это решение.

Дело Степан Афанасьевич повел рьяно, волынщиков преследовал, лентяев всенародно поносил, старался отрешить людей от приверженности к частному благополучию.

В феврале тридцать первого года, поздним вечером, Степан Афанасьевич возвращался из Сальска. А когда он переехал речку и запряженный в сани рыжий конек стал выбираться на берег, напали на Степана Афанасьевича люди, которые хотели жить по-старому. Было их четверо, из них двое — с укороченными винтовками, называемыми в те годы обрезами, а один — с кованой железной занозой в три четверти аршина длиной. Эту занозу бандит, крякнув, будто дрова рубил, опустил на спину рыжего конька, стремясь переломить ему хребет, а другие тем временем навалились на Степана Афанасьевича и, набросив на него рваную и вонючую овчинную шубу, стали избивать.

Бандитов, видимо, спугнул кто-то, только под утро кое-как добрался окровавленный конек до еремеевского дома. В санях в беспамятстве лежал Степан Афанасьевич.

Ночью Петр, сын Степана Афанасьевича, штурман волжского пароходства, недавно отслуживший в армии действительную и приехавший вместе с женой и двухлетним сыном погостить к родителю, сквозь сон услышал храп и стоны, но встать поленился, решив, что все это ему померещилось... А когда утром, разбуженный громким стуком в окно, вышел на крыльцо, увидел: лежит на снегу, припав мордой к плетню и оскалив зубы, рыжий конек, а из саней свесился головой в снег отец и тихо, едва слышно, стонет. Снег под ним был оранжевый. Перед смертью успел сказать Степан Афанасьевич, что опознал он по голосу Щеголькова Николая. Удивительным было то, что Щегольков к числу богачей не принадлежал и прежде числился в друзьях Степана Афанасьевича... А потом бредово и бессвязно зашептал Степан Афанасьевич что-то о родной степи, о том, как перекликаются на заре в пшенице перепелки и клонится перед набежавшей тучей, роняя горькую пыльцу, полынь. Понял Петр: силится отец поведать о том, что так трудно покидать, о красоте родной степи. За этими словами и застала его смерть.

Через три недели банду судили. Петр Еремеев с шапкой в руке сидел в зале суда в первом ряду, и лицо у него было усталым, закаменевшим. Тихо и сдержанно рассказал он о том, что сообщил перед смертью отец. А когда вышел на улицу, так и не надев шапки, зашагал

по мягкому, оттепельному снегу, увидели близкие, что лицо двадцатишестилетнего Петра Степановича осунулось и пожелтело, а возле рта появились глубокие продольные морщинки.

На улице нагнал Петра Еремеева инструктор райкома партии Алексей Иванович Половинкин — плотный, слегка кривоногий, как истый кавалерист, с опущенными вниз пышными запорожскими усами. Он взял из рук Петра Степановича шапку и надел на его голову. Петр Степанович машинально поднял руку к шапке, потом так же машинально снял ее с головы и, комкая, снова зажал в руке.

— ...Остаться надо здесь, в колхозе... Надо остаться,— заканчивая мысль, не высказанную словами, произнес Петр Степанович. А думал он перед этим, что сынам надлежит продолжать дело отцов.

Половинкин, круто повернув голову, глянул в глаза Петра Степановича и, взяв из его рук шапку, снова нахлобучил ему на голову.

— Ты в отпуске здесь. Кончится отпуск — и езжай обратно, без тебя справимся. Учили тебя, средства тратили, и нет смысла тебя в колхозе оставлять. Справимся, — повторил Половинкин уже для себя, оглядывая заснеженную голубоватую равнину и вдыхая предвесенний запах тающего снега.

Петр Степанович вместе с женой и сыном уехал к месту службы. Дома осталась рано состарившаяся, надломленная горем мать. Сын и невестка звали ее с собой, но старушка лишь качала головой и задумчиво, плохо слушая то, что ей говорили, смотрела куда-то за речку, на луга, с которых уже сполз снег и обнажились прошлогодние пепельные стебли степных трав.

С открытием навигации Петра Степановича назначили капитаном небольшого старенького пассажирского парохода. И часто ночами, стоя на мостике и вглядываясь в мигание бакенов, в прибрежные огоньки, прислушиваясь к плеску воды, думал он об отце, о том, что сынам надобно доводить до конца дело отцов, каким бы трудным оно ни было.

Но Волгу Петр Степанович любил. Любил не только как великую и красивейшую русскую реку. Такой любовью, наверное, ее мог полюбить только степняк из селения, где люди заранее рассчитывали, сколько ведер за

день можно вычерпнуть из колодца, и где, казалось, не только люди, но и выжженная солнцем растительность стонала, молила о воде.

В тридцать девятом году, во время войны с финнами, Петра Степановича призвали в армию. Вскоре он стал командовать стрелковым отделением. Первые месяцы рота находилась во вторых эшелонах. Потом отделение Еремеева погрузили на катер и привезли на крохотный каменистый островок. Сначала на островке было тихо. Из крупных, обтолканных морем камней бойцы соорудили укрытие. Рыть окопы оказалось невозможным — ни лопаты, ни кирки-мотыги не брали прикрытый мохом гранит. Штормовым неспокойным вечером на островок неожиданно обрушила огонь финская артиллерия и тяжелые минометы. Обстрел продолжался почти всю ночь. Как выяснилось впоследствии, финские наблюдатели заметили на островке движение, и командование решило, что здесь скапливаются силы для наступления.

Утром наша артиллерия вступила в дуэль с батареями противника, и, когда она к полудню подавила их, на островок на выручку бойцам было послано подразделение морской пехоты. С подразделением отправился комиссар полка.

Комиссар, бывалый воин, служивший в годы гражданской войны в дивизии Яна Фабрициуса, был удивлен и обрадован, увидев, что на берегу его встречает безукоризненно четкий строй защитников островка, большинство из которых было ранено. Белые повязки отчетливо выделялись в рассеивающемся дыму.

Командир отделения Еремеев подошел к комиссару и, молодцевато приложив к фуражке ладонь, доложил:

— Отделение подверглось артобстрелу... Никто из ребят не струсил, не подвел.

Потом он осматривал вместе с комиссаром островок.

— Скоро представится возможность послать несколько младших командиров на курсы. Как ты мыслишь? Хочешь быть командиром?

Через две недели Еремеева направили на курсы.

...Война с белофиннами окончилась, и некоторое время спустя Еремеев приехал на Волгу. Здесь ждало его горе: после неудачной операции умерла жена.

Еремеева, уволенного в запас, назначили на должность капитана на плавучем доме отдыха.

Волга оставалась все той же — раздольной, то бурливо-грозной, то медлительно-спокойной. Там, за высокими берегами, освещенная слепящим глаза солнцем лежала степь. И степь была прежней — неоглядной, суровой, родной, волнующей. Но Еремеев стал иным, война научила его по-новому относиться ко всему окружающему и к себе самому. Всматриваясь в зеленеющие берега, в селения на них, он думал о войне, о гибели отца, о том, что будет дальше. Иногда ему вспоминались укрытия, сделанные за навалами из крупных камней, всполохи в ночном, по-северному светлом небе, сухой треск выстрелов, пятна крови на сером снегу, «кукушки» на елях...

2

О жизни Якова Ильича, учителя истории, в школе ходило много слухов, правдоподобных и неправдоподобных. Достоверно было известно одно: давно, при предпоследнем царе, ссылали Якова Ильича, тогда еще студента, за революционную деятельность в Сибирь, в глухие, необжитые, обильные снегом места. Оттуда, говорили, несколько раз бежал он, скитался по тайге, питаясь кореньями и мелкой таежной дичью, и несколько раз водворяли его обратно.

Учитель был невысок ростом, худ, грудь имел узкую и впалую. Походил он на старого рабочего-металлиста или слесаря. Кожа на его лице была негладкой, вся в мелких бугорках и ямках.

По вечерам школьники часто собирались в тесной, загроможденной шкафами и книжными полками комнате учителя, пристраивались на уютном диване, обитом мохнатым малиновым материалом, пили чай с сухарями и слушали то, что говорил им учитель.

Заложив руки за спину, слегка наклонив голову, Яков Ильич порывисто вышагивал позволенные жилплощадью двенадцать шагов вперед, двенадцать назад, временами резко останавливаясь, чтобы снять с полки книгу, найти страницу, подтверждающую его мысль.

Володя Векшин, ученик шестого класса, возвращался от учителя всегда в каком-то приподнятом, праздничном настроении.

Да и не мудрено: именно эта ясность, легкость и праздничность была во всем, о чем рассказывал Яков

Ильич. Разбив время на пятилетия, страна строила самые лучшие заводы, самые красивые дома и парки, самые удобные дома отдыха и санатории. Строила она и самые разумные отношения между людьми. Это было самое важное, честное, благородное из всего доступного человеческому разуму. Иначе могли думать только жирные люди в черных сюртуках — иностранные буржуи.

Как-то — это было спустя несколько дней после убийства Кирова — зимним вечером Володя пришел к Якову Ильичу и застал там знакомых по школе ребят — Сергея Соломатина, Колю Львова и одноклассницу Наташу, девочку с широким лицом и длинными черными ресницами.

Яков Ильич ходил по комнате торопливее, чем обычно. На столе лежала книга, открытая на странице с портретом Кирова. Киров выступал с трибуны, правая рука его была поднята над головой.

— Это история громыхает оружием, — медленно, взвешивая слова, говорил учитель, — а историю делают люди... и разные люди. Мое поколение начало перестраивать мир, оно создало для вас счастливое детство. Нам иногда приходилось трудно, вам будет намного легче, хотя серьезные трудности выпадут и на вашу долю. Будьте же готовы довершить наше дело...

Сергей Соломатин встал со своего места, вскинул руку в салюте и отозвался, как на сборе пионерского отряда:

— Всегда готов!

И все почему-то почувствовали неловкость. Впрочем, она скоро пропала. Стали прощаться. Молча шли по извилистому московскому переулку, в ночной тишине слышали хруст обильно выпавшего декабрьского снега.

...Когда началась великая война, Владимир Векшин был зачислен в военное училище и вместе с товарищами приехал в лагерь на Украине.

...По одну сторону неширокой, но глубокой и полноводной речки ступенями взбиралась ввысь окрашенная в разнообразные живые цвета со многими оттенками пышная растительность, на воде покачивались белые лилии и ярко-желтые кувшинки, берега обросли высоким, выше человека, густым камышом, дальше стелились широкой полосой заливные луга с сочной, бархатистой травой, за грунтовой с сухими комкастыми колеями дорогой

слепила глаза белая песчаная отмель, местами поросшая лозняком. Гряду дальних холмов покрывал невысокий частый лес. Сосны, дикие груши, ясени подступали совсем близко (издали чудилось: на дерево забраться — рукой потрогаешь истемна-синее небо).

На другом берегу лес жался вплотную к воде. Здесь и расположился лагерь военного училища. Посыпанные мелким речным песком дорожки делили лес на ровные прямоугольники. В прямоугольниках — прикрытые от глаз вражеских летчиков хвоей светло-серые палатки, каждая на шесть человек. Посреди лагеря — окруженное цветочными газонами двухэтажное здание штаба, рядом — приземистые длинные павильоны: столовые, помещения для занятий, клуб, библиотека.

В шесть часов утра на площадку перед штабом выходил коренастый парень в серой, туго перетянутой ремнем гимнастерке и до блеска начищенных сапогах с короткими голенищами, отбрасывал со лба светлый чуб, поднимал к губам сверкающую длинную трубу, откидывал корпус назад, свирепо надувал щеки, покачиваясь во все стороны, играл подъем.

Каждодневно в одной и той же последовательности повторялось: утренний осмотр (взвод выстраивается, командир по списку проверяет, все ли налицо, объявляет о занятиях), умывание (все бегут с мылом, зубной щеткой и коробочкой порошка в руке и полотенцем в зубах, стараясь поскорее занять место у водопроводного крана), завтрак («Взвод, вольно!.. Снять пилотки!.. Садись!»), занятия, обед, час отдыха, еще занятия, ужин. Последние полчаса перед сном курсанты проводили около вкопанной в землю деревянной бочки с водой, над которой постоянно роилась мошкара.

После напряженного дня сладки были эти полчаса: махорочный дымок, поднимающийся над собравшимися курсантами, не выговаривающий самых высоких нот баян, песни про разнесчастную украинскую дивчину Галю, Ермака, сидящего у костра на диком бреге Иртыша, трех отважных танкистов и короткие, но многозначительные суровые разговоры о положении на фронтах войны, тактике гитлеровцев, вооружении фашистской армии, возможных направлениях встречных ударов наших войск, способах отражения массированных авиационных и танковых ударов и борьба с отдельными танками противника.

И не было того, о чем знал Владимир Векшин из книг, посвященных прежним временам: жестокости и бессмысленности военной муштры. Все, чему учили курсантов, было нужно, совершенно необходимо. И Владимир Векшин, как и большинство других курсантов, шел навстречу войне, сбрасывал целый ворох привычек, привязанностей и представлений, которые бы могли для него усложнить участие в ней. Он верил: так надо. И знал: на фронте будет во много раз труднее. И потому не казалось ему слишком трудным в тридцатиградусную жару со скаткой и винтовкой совершать марши, перебегать и падать под воображаемым пока огнем противника, окапываться и снова перебегать. Для Векшина стало жизненно необходимым приобрести нужную командиру выправку, властный голос, пригодный для командования подразделением, умение ориентироваться на местности, научиться стрелять из пистолета, винтовки и пулемета. В речи курсантов замелькали еще до конца не осмысленные, грозные слова: «артналет», «артподготовка», «массированный удар», «окружение», «охват», «эшелонирование», «методический огонь» и многие другие.

Война шла по полям Украины, Белоруссии. Фронт приближался. Где-то поблизости фашисты сбросили десант. Где-то диверсанты подорвали железнодорожный мост. Где-то появились «милиционеры», ни слова не знающие ни по-русски, ни по-украински. И многим совестно было отсиживаться в лагерном лесу; думалось, что хватит уже строевых учений и огневых подготовок,—драться надо.

Как-то пасмурной и ветреной августовской ночью Владимиру Векшину пришлось стоять на часах на берегу реки. Лагерь спал. В дальнем хуторе низкий женский голос выводил что-то протяжное, грустное, слов нельзя было разобрать; по-ночному таинственно плескалась река; на полувысохшем, поросшем осокой болотце чуть слышно клокотала, впитываясь в землю, вода; изредка перекликались лягушки.

Векшин стоял, опираясь на винтовку, склонив голову, локтем отмахиваясь от комаров, прислушиваясь к ночным шорохам, и вспоминал разговоры последних дней о гитлеровских десантах, диверсантах, воровски, в спину, убитых часовых...

В прибрежном кустарнике послышались шаги, треск веток, потом частое, прерывистое дыхание. Векшин знал:

от него зависит безопасность сотен товарищей, фронт недалек. Он дрогнул, вскинул винтовку и прицелился. Теперь надо было неожиданно и сурово крикнуть: «Стой! Кто идет?» Но на какую-то долю секунды он почувствовал, что не в состоянии раскрыть рта и выкрикнуть эти слова. Мелькнула мысль: может быть, выстрелить, поднять тревогу, а потом крикнуть? Он слегка нажал на спуск. Спуск подался... Потом подумал, каково ему будет завтра, при дневном свете, смотреть в глаза товарищам, если поднимется ложная тревога. Собравшись с силами, он крикнул — и устало засмеялся. Из кустарника вышел пестрый телок, отбившийся, как видно, от стада и блуждающий в кустарнике.

После этой ночи курсант Владимир Векшин долго мысленно упрекал себя: «В моих переживаниях много детского... Смогу ли я выдержать то, что предстоит?.. Если даже буду предельно напрягать силы?»

В первые дни сентября учебный батальон неожиданно построили, и приехавший из Харькова генерал — несмотря на полноту, легкий в движениях — поздравил курсантов с присвоением звания лейтенантов и назначением в воинские части.

— А теперь будем воевать! — сказал незнакомый Векшину курсант с красным, грубоватым, почти квадратным лицом.

«Да, будем воевать», — мысленно повторил Векшин и неожиданно припомнил старого учителя Якова Ильича. Интересно, жив ли он.

3

Надя, Надька!.. Давно ли посеяли — и вот уже сжат хлеб. Еще снег не сошел, как ушла в тайгу старательская артель, и вот уже вернулась она, взяв песка золотого да подъемного золота — самородков — два пуда... Листья опали, день убавился, заморозки наступили.

Надя, Надька!.. Не играй со мной, нельзя со мной играть. Ведь и твоя красота увянет, поблекнут щеки, потухнут глаза, и выступят морщины...

Ручьи вливаются в реки, снега выпадают и тают бесследно под весенним солнцем; травы ковром застилают землю и никнут, желтеют под осенними дождями... Ведь

всему есть конец — ранний или поздний. Зачем же ты мучишь меня и долго ли еще будешь мучить?

Так или почти так думал Зайцев, двадцатичетырехлетний парень с раскосыми, смешливыми, а сейчас грустными глазами и грубоватым добродушным лицом. Он витиевато слагал эти свои мысли под стук драги, при которой работал на золотом прииске, и были они злы, горячи и сбивчивы.

И причина была Зайцеву так думать. Весь поселок знал, что сестра из окружной больницы Надежда Виноградова зачаровала парня и бессердечно обходится с ним, заставляя то ревновать, то мечтать о близости, а то просто не замечает его. Поселковые старушки, заговаривая о Григории Зайцеве, только головами покачивали: не кончилась бы худо эта любовь. Знали старые и верили: волю давать парням и раньше времени любовь выказывать не следует, но Надежда Виноградова, по их мнению, перешла все дозволенные границы в девичьем лукавстве. Ей бы, Надьке, прямой расчет и самое благоприятное время сдаться и завести себе послушного, работящего мужа, не пьяницу, не расточителя и не скандалиста.

Но хотя и тяжко было Григорию Зайцеву, природная веселость его никогда не покидала. А перешла она к Григорию от покойного отца, известного в предгорьях Алтая золотоискателя.

Помнили пожилые люди, как в дореволюционные времена справлял отец Григория свой золотоискательский фарт. Все гармони и балалайки в округе приветствовали его, хмельного и гордого, когда возвращался он в родные места в кошеве, запряженной парой серых в яблоках: на плечах — медвежья мохнатая шуба, возле ног, для всеобщего обозрения, подарки жене и сродственникам — швейная ручная машинка фирмы «Зингер», или новый тульский пузатый со многими медалями самовар, или причудливый серебряный иностранной работы кофейник. Правда, чаще приходил Зайцев из тайги домой задами поселка, оборванный, грязный, до костей искусанный гнусом и злыми таежными комарами. Да, видно, так уж память человеческая устроена: плохое забывается быстрее, потому и запомнились только удачи, хоть и было их за долгую и азартную жизнь Федора Зайцева всего три или четыре.

Как и отец, был Григорий Зайцев терпелив и упрям, может быть, даже слишком упрям, хотя и добродушен.

Вернувшись с работы и переодевшись, Григорий сел за стол. Мать, вздыхая про себя и искоса испытующе посматривая на сына, в который уже раз повела разговор о золотопромышленном техникуме, куда мечтала пристроить сына главным образом для того, чтобы отлучить его от капризной, по ее мнению, и недоброй девки. Сын молча повел на нее тоскующим злым взглядом, и мать с огорчением сообразила, что замысел ее, казавшийся ей хитрым и умным, ясен Григорию. Она рассердилась и, недобро, зловеще громыхая посудой, стала ругать сына за недостойное парня поведение, за неумение скрывать свои чувства.

Григорий, не отвечая матери ни слова, наскоро поел и взялся за пальто.

— Куда? — грозно окликнула мать.

— На звезды поглядеть, — насмешливо ответил Григорий, вышел из дому и зашагал берегом неширокой шумливой речки Кандомы к центру поселка.

В тот вечер выпал первый снег. Крупными пушистыми хлопьями, с едва слышным шорохом, падал он на каменистую землю. Горы, обступившие со всех сторон поселок, громоздились сумрачно, неотчетливо. На одной из вершин лежал крупный, недавно народившийся месяц.

Около поселкового клуба толпились люди, слышался говор, смех. В зале танцевали. На эстраде усердствовали два баяниста.

Григорий остановился невдалеке от дверей, прислонился спиной к деревянной четырехгранной колонне. Надя, в блестящих хромовых полусапожках, с ниткой янтаря на полной, точеной шее, румяная, пышущая силой и здоровьем, танцевала с каким-то незнакомым Зайцеву черноволосым, городского облика парнем.

В перерыве между танцами к Наде подошли подруги. Улыбаясь, она переговаривалась через весь зал с кем-то не видимым в толпе. Потом девушки запели. Надин чистый грудной голос вырвался из хора:

Бирюзовые златы мои колечки
Раскатились по лужку...

И вдруг отчетливо, с бесспорной ясностью Григорий почувствовал: произошло непоправимое. Он понял это по

любопытным, сочувствующим, а то и злорадным взглядам знакомых, по одному только внешнему виду Нади, по уверенности, с которой во время танцев прижимал к себе девушку щеголеватый незнакомый парень. Зайцев хотел было выйти из зала, но кто-то тронул его за плечо. Григорий оглянулся. Рядом с ним стоял товарищ по школе, Никандров Николай.

— Надька-то в замужество вступила за этого нового инженера... Из Таштагола он, с рудника.

Допоздна бродил в тот вечер Григорий Зайцев по поселку, забрел на пустынный, недавно отстроенный стадион, поднялся на взгорок, посмотрел, как мигают огоньки на посадочной площадке. «Самолета ждут из Новосибирска...» — странно как-то скользнула мысль. Потом Григорий оказался около кирпичного двухэтажного здания больницы. В маленьком домике на территории больницы жила Надя. Ее окно было завешано тоненькой вышитой шторкой. Шторка чуть-чуть колыхалась, будто от легкого ветерка: в комнате ходили, что-то делали. Лампа была прикрыта шелковым розовым с бахромой абажуром, и шторка казалась слегка розовой. А когда свет погас, шторка стала серой.

Как-то в прошлом году Григорий долго бродил с Надей по берегу реки. Потом он проводил ее домой.

— Зайти-то хочется? — улыбчиво спросила Надя, когда они остановились у крылечка.

И он вошел, сел на стул с низенькой полукруглой спинкой. Надя подошла вплотную.

— Поцеловать-то хочется? — спросила она.

Он взял ее за плечи, привлек к себе. А когда у него застучало в висках и затуманились глаза, Надя крикнула:

— Теперь уходи!

А сейчас в этой комнате другой.

Григорий закурил и впился ногтями в кору тоненького чахлого деревца. Оно было холодным, мокрым, липким. Сморщившись, словно от боли, Григорий щелчком далеко отбросил недокуренную папиросу. Она прочертила красную дугу и зашипела в мокром снегу.

Поняв наконец, что ему здесь совсем нечего делать, Григорий торопливо направился домой.

Досужие люди гадали, что предпримет Зайцев: одни полагали, что он уедет из поселка, другие, зная горячий

характер парня, опасались, что вся эта история примет трагический оборот.

Но через два месяца Зайцев женился на двадцативосьмилетней женщине, двоюродной сестре Надежды Виноградовой. Женился, не раздумывая, не примеряясь заранее к совместной с ней жизни, без любви к той, кого назвал женой. И женщина эта — работница с золотого прииска Прасковья Филянова, смуглолицая, черноглазая, с блестящими вьющимися каштановыми волосами — не отказала ему, не заставила ждать: должно быть, потому, что жалела парня и надеялась вернуть ему утраченное душевное спокойствие.

С молодой женой Григорий прожил недолго — его призвали в армию.

Службу он проходил в пехоте, в одном из больших сибирских городов. Здесь, в новом для него коллективе, окончательно обрел Зайцев былую веселость. Он вступил в комсомол и стал подумывать о сверхсрочной службе: домой возвращаться ему пока не хотелось.

Мечталось, правда, поработать у драги, по весне сходить с разведочной партией в горы, пройтись за баянистом по поселку. Подумывал он иногда и о золотопромышленном техникуме. Но и в армии Зайцев непрерывно учился, и ребята вокруг были славные, веселые. Полюбились Григорию военные порядки, нравилось уважение, с которым относился народ к военнослужащим.

В середине июня сорок первого года срок службы ефрейтора Григория Зайцева окончился. Он приготовил рапорт с просьбой оставить его на сверхсрочную службу. Однако командованию не пришлось рассматривать его рапорт, потому что началась война.

4

Петр Еремеев, Владимир Векшин, Григорий Зайцев, Надежда Виноградова — совсем несхожие люди, живущие в разных районах страны. Однако война сведет их на одну трудную дорогу, и они очень хорошо узнают и поймут друг друга. Спустя многие годы они сядут все вместе у огонька и переберут в памяти всех, кто был с ними в одном батальоне, вспомнят, кого сразила пуля, помянут добрым словом, поговорят и о тех, кто вернется в родной дом.

Долго еще, целое десятилетие после заключительных залпов, им будут сниться почти одинаковые сны.

И схожий след оставит в их сознании война.

И невидимая глазу нить свяжет их накрепко и навсегда.

...Отдельный стрелковый батальон возник так.

В поселок, находящийся к югу от Новосибирска, из штаба формирующейся бригады приехал капитан Еремеев, нестарый еще человек, с плавными медлительными движениями, с хитринкой в глазах и светлыми, поседевшими висками.

В сопровождении председателя райисполкома и работников военкомата он осмотрел помещения, приспособленные под казармы, указал на пыль, попросил, чтобы вытерли, вышел на поселковую площадь и, расставив ноги, щелкая кавалерийским стеком по хромовым сапогам, стал посреди площади, оглядываясь по сторонам, видимо что-то рассчитывая и прикидывая.

Простившись с сопровождавшими его людьми, Еремеев закурил и зашагал вдоль улицы. Дойдя до последнего дома, он задержался на юру, оглядел подступившие близко невысокие горы с вершинами, поросшими вихрастыми, кривыми, приземистыми сосенками, и вернулся тем же путем на площадь, чтобы еще постоять на старом месте...

Какая-то бабка с клеенчатой кошелкой в руке подошла к нему, робко спросила:

— Чего это ты, милый, высматриваешь?

— Фабрику здесь после войны отгрохаем.

— Какую же это фабрику-то, милый?

— Кондитерскую. Монпансье будем выпускать и шоколадные конфеты.

Недоверчиво и обиженно покачав головой, бабка отошла, что-то нараспев и скороговоркой стала говорить толпившимся возле магазина женщинам.

А через два дня приехала группа командиров: старший политрук Балин на должность комиссара, старший лейтенант Дрюков на должность начальника штаба, лейтенанты Шкурин, Федоренко, Морсин, Таушев на должности командиров рот.

Как и командир отдельного батальона, они несколько раз обошли поселок из конца в конец, потом собрались в

помещении, отведенном под штаб батальона, и долго пили чай, курили и беседовали.

Оказалось, что четверо — Еремеев, Дрюков, Федоренко и Шкурин — уже побывали на фронте. Они прибыли из госпиталя. А Балин и Таушев — из запасного полка. Оказалось также, что Еремеев и Дрюков в свое время воевали с белофиннами и службу проходили в одной дивизии. И главное — обнаружилось, что командиры друг другу понравились, и каждый молчаливо решил про себя, что с такими товарищами воевать можно.

Отдохнув с дороги, принялись за составление планов боевой и политической подготовки личного состава, изучение штатного расписания, списков нужного батальону вооружения и интендантского имущества, занялись хлопотами по приобретению необходимых документов, а также гармоний, шахмат, шашек и домино, писчей бумаги и колесной мази.

Двух месяцев оказалось почти достаточно, чтобы придать подразделениям стройность, людям — строгость и подтянутость, чтобы из золотоискателей, колхозников, охотников, лесорубов, машинистов, рудокопов сделать солдат.

Формирование заканчивалось. Еремеев, командир батальона, принял в штабе последнего командира. Он сидел за грубо сколоченным, дощатым столом, подперев голову согнутой в локте рукой, полузакрыв глаза. Услышав от дневального, что лейтенант Векшин прибыл для продолжения службы из резервного полка, Еремеев встал и, отвечая на приветствие, оглядел вновь прибывшего.

Хорошо сложен, с темными зеленоватыми глазами, насупленными бровями и ярко-красными губами. Еремеев, расспросив его о прежней службе и определив в подразделение, отпустил отдыхать.

Лейтенант вышел.

«Вот, кажется, и все, — подумал Еремеев, неприязненно оглядывая неуютную комнату со стенами, оклеенными белой бумагой и завешанными графиками и таблицами, — батальон сформирован, обучен... Все эти люди — и Зайцев, ефрейтор с раскосыми глазами, в стоптанных порыжевших сапогах, которому я дал два внеочередных наряда за курение в неуказанном месте, и лейтенант, что ушел отдыхать с дороги, готовы выполнять мои приказания... И я их должен провести через войну... И обязан побеждать!..»

В комнату вошел Балин, комиссар, покосился на задумавшегося комбата, ногой пододвинул к окну табуретку, присел, на минуту опустил голову, потом вскинул ее и ясными, синими глазами взглянул в лицо Еремееву.

— Что задумался, командир? Захлопотался? Ничего, кажется, все хорошо... С первой нашей пока еще самой легкой задачей мы в основном справились... Так или не так?

— Так, — ответил Еремеев и, за наплечный ремень притянув к себе комиссара, спросил: — Только в основном?

— Это партсобрание скажет. Пусть коммунисты оценят нашу работу... Собирайся, командир, пора.

Коммунисты и беспартийные командиры собрались в помещении склада, приспособленном под клуб. Керосиновая лампа, стоящая на столе президиума, сумрачно освещала ряды балок, скамейки, лица собравшихся. Две первые скамейки сначала никто не занимал, и Мышанов, секретарь парторганизации, узкоплечий политрук с острыми, глубоко сидящими глазами, стоя около накрытого газетами стола президиума, молча и укоризненно указывал рукой всем вновь входящим на первый ряд.

Это было первое в батальоне собрание, на котором присутствовали все командиры, и, прежде чем занять место, каждый внимательно и испытующе оглядывал сидящих в зале людей, с которыми предстояло идти на войну.

Мышанов, объявив, что на повестке дня лишь один вопрос — подготовка батальона к предстоящим боям, — предоставил слово Балину.

Говорил Балин тихо и непринужденно, будто беседуя с друзьями за стаканом чаю. Но его слегка простуженный, с едва заметным оканием голос все слышали очень отчетливо.

Он коротко повторил известные всем из газет сведения о положении в западных районах страны, о том, что гитлеровцы рвутся к Москве.

Упомянув о Москве, Балин нахмурился, побледнел, стал говорить еще тише.

Его волнение мгновенно передалось залу. В суровой тишине слышался лишь голос Балина. Но неожиданно его прервал чей-то взволнованный, резко прозвучавший, заставивший всех дрогнуть выкрик:

— Просить командование послать нашу бригаду под Москву!

Никто не обернулся на этот выкрик, никто не знал, кому он принадлежал: волнение изменило голос крикнувшего.

Балин на несколько секунд замолчал. Он оглядел зал, остановил взгляд на широкоскулом крестьянском лице лейтенанта Шкурина и заговорил громче, словно бы извиняющимся голосом, давая понять, что он понимает чувства выкрикнувшего эти слова:

— В армии существует дисциплина, товарищи. Мы, солдаты и командиры, должны выполнять свой долг, выполнять твердо и честно. В любой обстановке мы обязаны сохранять самообладание. И никогда, ни в каких условиях мы не имеем права руководствоваться лишь своими порывами...

...Возвратившись вместе с Еремеевым в штаб, Балин, скинув шинель и оставшись в длинной без ремня гимнастерке, подошел к окну.

За окном в предвечерней мгле вели хоровод снежинки. Мальчуган в вязаной круглой шапчонке, отталкиваясь от наста левой ногой, скользил по дороге на одной, очень широкой лыже и дудел в глиняную свистульку.

Балин вспомнил Кинешму — приволжский город, где прошло его детство. Много лет назад так же падал снежок, и Балин, пятилетним мальчишкой, бегал по улице с глиняной свистулькой. «А в Минске, в Смоленске, в Калинине, в Ржеве мальчишки, забившись в углы, смотрят оттуда измученными повзрослевшими глазами».

Резко повернувшись, Балин подошел к Еремееву.

— Ну, кажется, скоро?

— Скоро.

...Ранним утром, когда в лучах солнца ярко зазеленели сосенки и начали переливаться всеми цветами каменные пласты обнаженных скал, батальон выстроился для марша. Последний взгляд окрест, последняя перекличка, суетливая беготня посыльных и хозяйственников, для которых сборы всегда сопряжены с наибольшими трудностями... Поселковые женщины теснились в отдалении, смотрели на солдат и думали о невспаханных полях, нескошенных лугах, лесах с опрокинутыми дере-

вьями, куда едут эти парни... Ребятишки с восхищением оглядывали ряды одинаково одетых людей, умеющих все делать враз — маршировать, вскидывать винтовки, кричать «ура», поворачиваться и стрелять...

— Шагом марш!

И тогда возникла песня. Никто не выбирал ее и не договаривался, какую затянуть. Она возникла сама по себе. Единой грудью, на едином дыхании поднял ее батальон; и грянула она так, что оконные стекла дрогнули и загремел — то ли от песни, то ли от набежавшего вдруг ветерка — в опустевшей казарме оторванный от кровли железный лист.

За последним домом дорога сворачивала, опускалась к реке. Здесь, на изгибе дороги, у калитки, стояла женщина в белой вышитой кофте с короткими, до локтей, рукавами, зеленой узкой юбке, в подбитых мехом шлепанцах на босу ногу, с закутанным в розовое одеяльце ребенком на руках. Была она высокая, стройная, румяная и вся домашняя, родная.

Напоминанием об уюте, доме, тепле семьи, о том, что покидали солдаты, многие из них навек, стояла она, упершись локтем в стойку деревянного заборчика, и смотрела на солдат, никого из них не выделяя взглядом. Широко открытыми удивленными глазами смотрел и ребенок — шестимесячный, родившийся накануне войны.

Взвод за взводом обрывали песню, взвод за взводом, прощаясь, запоминали, уносили с собой облик молодой матери. Молча проходил батальон мимо женщины в белой, вышитой красными и васильковыми крестами кофте.

Батальон спустился к мосту. Там, за горной грядой, проходила железная дорога.

— Такой красой владеть захотел! — сказал Куныкин, младший сержант из третьей стрелковой роты. — Не выйдет... — и Куныкин зло ругнулся.

Было ясно, кому предназначалась куныкинская ругань, но не понял командир взвода Владимир Векшин, что́ казалось младшему сержанту самым красивым: цепь подпирающих небо, сияющих нетронутой прелестью вершин, раскинувшихся за перевалом, невидимый сейчас живописный и богатый поселок, женщина ли с ребенком на руках или зеленеющие на горных вершинах сосенки.

А потом Векшин подумал, что через год, через два или три года женщина с ребенком снова выйдет на до-

рогу — встречать родного солдата... Скинув с плеч вещевой мешок, рванется солдат к любимой. И ребенок неуверенно побежит вслед за матерью к незнакомому, усталому человеку и не сразу поймет, что вернулся с войны отец.

5

В конце 1941 года, когда на Западе фронт проходил через подмосковные дачные поселки, в числе частей и соединений, предназначенных для нанесения удара по врагу, была и сибирская бригада, в которую входил отдельный батальон Еремеева.

Судьба и Еремеева, и Векшина, и солдата Зайцева растворилась в судьбе многотысячного соединения. Ее определил боевой приказ. Боевой приказ, который готовился в штабе...

Батальон еще находился в пути. Постукивали колеса на стыках рельсов, открывались и закрывались семафоры, дежурные на железнодорожных станциях встречали и провожали спешно следующий на фронт эшелон, солдаты сидели в теплушках у круглых чугунных печурок, читали газеты, обсуждали сводки Совинформбюро, слушали рассказы уже побывавших на фронте товарищей, играли в шашки и домино, пели хором и в одиночку. А тем временем офицеры и генералы Западного фронта напряженно трудились, уточняя детали предстоящего сражения под Москвой. И офицеры и генералы штаба фронта уже учитывали силы, вооружение и возможности едущей из Сибири бригады. Они в разработках плана наступления решили бросить в числе других соединений сибирскую бригаду на волоколамское направление. Командование фронта утвердило план наступления.

Командующий войсками армии, высокий моложавый генерал-лейтенант, обсуждал с командирами своего штаба план предполагаемого наступления, когда ему принесли запечатанный в белый конверт с сургучными печатями документ, в котором перечислялись прибывшие из резерва в распоряжение командарма части и соединения.

Генерал-лейтенант давно ждал этого документа, но тем не менее он обрадовал его и взволновал. Командарм, человек волевой, горячий, страстный, давно уже рвался в наступление и составил подробный план стремительного

броска на запад, имеющего целью выбить гитлеровцев из населенных пунктов в районе Волоколамск — Руза, отрезать их от коммуникаций и уничтожить. И документ этот обрадовал командующего и взволновал. Он окончательно убедился: срок настал, резервы подготовлены. И главное, командующий войсками армии считал, что народ больше не может терпеть отступления, что в нем накопилась колоссальная взрывная сила ярости и что Подмосковье, подступы к Москве — самый подходящий район для организации решительного удара.

Перечитав несколько раз документ, генерал-лейтенант сделал пометку на своей боевой карте и в записной книжке, а документ передал сидящему рядом члену Военного совета.

Подняв голову и оглядев вспыхнувшими глазами собравшихся в чистой и уютной избе офицеров, генерал-лейтенант, продолжая прерванный разговор, обратился к пожилому седому полковнику, начальнику оперативного отдела штаба:

— Итак, полковник, вы совершенно уверены в том, что немцы при первых же наших ударах попытаются начать организованное наступление на запад, а для этого на нашем участке соединят свою рузскую группировку с волоколамской и созданный таким образом клубок бросят в контрнаступление... Я согласен с вами, этого надо опасаться, и решил: для того чтобы разрушить возможные замыслы противника, бросить на участок Андрейково — Скирманово — Козлово кроме конной дивизии еще одну новую дивизию и сибирскую отдельную стрелковую бригаду... — При этих словах командующий искоса глянул на полного, со слегка обрюзгшим лицом и насупленными бровями члена Военного совета и многозначительно ему подмигнул... — Две свежие сибирские стрелковые дивизии, танковую бригаду и два отдельных полка гвардейских минометов мы бросим...

Увидев недоумение на лицах командиров, генерал-лейтенант не смог удержаться от молодого, радостного, заразительного смеха. Оборвав его наконец, он поднялся со стула, мужественный, широкоплечий, взял из рук члена Военного совета документ и прочитал громко, отчетливо выговаривая слова. Бережно сложив документ и передав его начальнику оперативного отдела, он продолжал:

— Мы с вами накануне исторического события, важность которого нельзя переоценить. Эти дни будут изучаться историками как переломные в ходе войны. Заверяю вас в этом... Но на нас с вами лежит и величайшая ответственность — новых ошибок нам не простит ни народ, ни история. Ведь речь идет о Москве! Мы будем вышибать гитлеровцев из домов на снег, на мороз, сталкивать их с магистралей, загонять в леса и уничтожать, уничтожать, уничтожать... А сейчас прошу заготовить новый боевой приказ и немедленно разослать его в соединения и части армейского подчинения...

Ночью сибирская бригада в кромешной тьме выгружалась из эшелонов на подмосковной дачной станции. С винтовками и автоматами в руках, перекинув за плечи мешки, солдаты выпрыгивали из теплушек, по дощатым мосткам выводили застоявшихся лошадей, выкатывали пушки, автомашины, полевые кухни, вынимали тюки с имуществом связи, продовольствие. Тихая доселе пристанционная площадь наполнилась гулом голосов, топотом, конским ржанием.

Командир бригады полковник Бурлакин стоял на высоком перроне и прислушивался к шуму и возгласам. Кадровый командир, с юных лет служивший в армии, он по опыту знал, что людям, если есть для этого хоть малейшая возможность, надо дать окончательно проснуться и оглядеться и что, если слишком поторопишь командиров, все страшно перепутается.

Бурлакин недовольно морщился и лишь изредка коротко бросал командирам:

— Курить запретите — авиацию привлекут...

— Лошадей — за вокзал, а то им в суматохе ноги поломают...

— Автомашины сразу же разворачивайте к шоссе...

Перед рассветом выгрузка наконец закончилась, подразделения вошли в молодой березовый лес, а еще через сутки подошли к линии фронта и заняли оборону во втором эшелоне в районе села Ново-Петровское.

В оперативном отделе штаба армии составление боевого приказа для сибирской бригады было закончено поздней ночью, в то время когда солдаты-сибиряки рыли окопы, валили деревья и сооружали дзоты и блиндажи. Озабоченно прочитав перепечатанный на папиросной бумаге текст, командарм подписал его и велел отнести на

подпись члену Военного совета. Вручая пакет адъютанту, командарм подумал о том, что хорошо бы съездить в новую бригаду, посмотреть на людей, поговорить с командирами. И он вздохнул, так как знал, что в ближайшие дни побывать в сибирской бригаде ему не позволят неотложные дела.

Член Военного совета не спал. Он сидел около заваленного бумагами столика и беседовал с редактором армейской газеты, очень высоким худощавым полковником, о том, как следует откликнуться на приезд сибиряков. Когда в комнату вошел адъютант командарма и подал боевой приказ, член Военного совета с видимым удовольствием подписал его, думая при этом о предстоящих грозных событиях, о сухих, традиционных словах приказа, которые ему хотелось бы дополнить другими словами, страстными, горячими, взволнованными. Адъютант вышел, и член Военного совета, на секунду прикрыв глаза, постарался представить себе, как сейчас занимает оборону новая бригада. Заснеженное чернолесье, промерзшие окопы... по ним рассыпаются выносливые, привычные к морозам молодые парни в белых полушубках, с автоматами и винтовками. О чем они говорят? О Москве? Или вспоминают родные места? Нет, наверное, о Москве!

Адъютант запечатал конверт и приказал посыльному срочно вызвать офицера связи от сибирской бригады.

Офицером связи был Черепанов, двадцатилетний лейтенант с обильными, не исчезающими и зимой веснушками. Он положил конверт во внутренний карман шинели и побежал к коновязи. Отвязав рослого рыжего коня, подтянув подпругу, он впрыгнул в седло и пустил коня рысью к лесной дороге. Въехав в лес, он вынул из кобуры пистолет и, опустив курок на предохранитель, сунул пистолет за пазуху. Лесную дорогу местами покрыл снег, но на многочисленных ухабах промерзшая глинистая почва была едва припорошена, и стук копыт был то глухим, едва слышным, то раздавался отчетливо, дробно, звонко.

Черепанов знал, что везет боевой приказ о наступлении, и остро чувствовал, что выполняет первое несложное, но очень важное задание. И вместе с тем Черепанов ощущал нечто похожее на досаду: назначив офицером связи, его тем самым лишили возможности участвовать

в первом для бригады бою. Черепанов был до войны студентом Томского университета, хорошо знал литературу и привык мысленно обращаться к произведениям литературы, когда приходилось что-нибудь обдумывать. Он постарался припомнить то место из «Войны и мира», где Кутузов предлагает Андрею Болконскому оставить его при себе и Болконский отказывается, ссылаясь на то, что он привык к своему полку. Черепанову казалось, что если он припомнит точно слова Болконского и повторит их, слегка изменив в соответствии с новой обстановкой, командиру отдельного батальона капитану Еремееву, пославшему его в штаб бригады, то Еремеев сразу же отменит свое приказание и добьется возвращения Черепанова в батальон... Лес окончился, потянулось заснеженное поле, вдали темнела деревня. На околице Черепанова окликнули какие-то люди, но лейтенанту нельзя было останавливаться ни на минуту. Сняв варежку, засунув правую руку в карман шинели и прижав ею конверт к груди, он проскакал мимо. Миновав деревню и выехав на шоссе, Черепанов поехал по обочине, сдерживая коня и похлопывая его по шее, чтобы успокоить, когда сзади надвигались темные, с выключенными фарами, автомашины.

Он снова стал думать, что другие командиры взводов, в числе которых есть и его друзья по университету, скоро пойдут в бой, а ему придется вернуться в штаб бригады. «Неловко как-то, нехорошо. Отдам конверт начштаба бригады и попрошусь у него на строевую должность», — решил Черепанов.

Однако, когда он слез с коня, вошел в сарай, где временно разместился штаб бригады, и при свете двух маленьких лампочек увидел озабоченные лица замерзших на холоде командиров, он понял, что его мысли незрелы, в чем-то ошибочны и если он выскажет их, то его поднимут на смех или обругают.

Для командира бригады и комиссара вырыли землянку, поставили в ней железную печку, из еловых лап сделали две постели. Полковник Бурлакин только что прилег отдохнуть, когда начальник штаба принес приказ о наступлении. Бурлакин стряхнул с себя одолевавший сон и приказал:

— Карту... Начальников отделов штаба немедленно сюда.

Ранним утром связному от еремеевского батальона — рядовому Мизюркину — приказали срочно доставить комбату боевой приказ. Мизюркин положил конверт в шапку, выбежал из шалаша, где помещался пункт сбора донесений, и заспешил по протоптанной в лесу тропинке. Ветки, которые он задевал, осыпали его снегом, но он, не замечая этого, то бежал, то шел быстрой и валкой походкой. Мизюркин, до призыва в армию работавший в горноалтайском колхозе, выполнял, как и лейтенант Черепанов, первое серьезное поручение. Он знал, что пакет, который он должен доставить комбату, очень важный и очень срочный. И Мизюркин думал, что он теперь человек казенный, нужный для армии, не зря ему дали шинель и винтовку.

6

Векшин прежде полагал, что передовая линия фронта — это непременно проволочные заграждения, противотанковые надолбы, бронированные колпаки, окопы и капониры, доты и дзоты, не умолкающая ни днем, ни ночью стрельба, фонтаны разноцветных ракет в воздухе. Поэтому, когда после ночного короткого марша, на рассвете, пройдя через несколько поясов оборонительных сооружений, мимо многочисленных артиллерийских позиций, лесных завалов и минных полей, Векшин вместе с Еремеевым и другими командирами остановился на опушке чернолесья, ему не поверилось, что это и есть линия фронта.

Было морозно. Сухой, непритоптанный, глубокий снег затруднял движение.

Векшин взобрался на сучковатую, опутанную кольцами темной бахромы березу и стал в бинокль рассматривать раскинувшуюся вдали деревню и большак, разрезающий ее пополам. Выкрашенная в белую краску, необычного вида, с высоким кузовом грузовая автомашина прошла по большаку и скрылась за домиками. Около полуразрушенного сарая показалась укутанная в полушубок фигура. Примкнутый к винтовке штык за спиной гитлеровца блеснул тускло, холодно. Векшин сжал в руке бинокль: вот они какие, фашисты!

Громким шепотом Еремеев отдавал собравшимся вокруг командирам боевой приказ. В восемь часов начнется

артподготовка. Роты атакуют противника после залпа реактивных минометов, вслед за танками. Первая рота наступает на восточную окраину деревни, вторая — на западную, третья — перерезает большак. Развивать наступление на северо-запад...

Вернувшись в свой взвод, Векшин передал бойцам содержание боевого приказа. В заключение нужно было сказать что-то подходящее к случаю, торжественное и убедительное. Еще в эшелоне, раздумывая о войне, он подготовил казавшиеся ему проникновенными слова, но, оторвавшись от карты, глянув в напряженные лица бойцов, понял, что слова нужно было говорить другие, более простые и сердечные. И Векшин сказал:

— Вопросов нет?.. Ну, все. Можно заняться письмами, подворотничками...

Но писать письма и пришивать подворотнички никто не стал — было слишком холодно. Солдаты разбрелись по лесу и, собравшись кучками, курили, переговаривались. Невдалеке от Векшина Расторгуев, первый в батальоне гармонист и песенник, раскопав штыком снег, сорвал желтый лист папоротника-кочедыжника. Рассматривая затейливый узор, он задумчиво говорил:

— Старики сказывают: один час в году цветет он, и цвет у него, как пламя.

Суханов, солдат с сухощавым лицом, в не по росту длинном и широком полушубке, сметал с валенок снег. Услышав про папоротник, он поучающе разъяснил:

— Глупость это. Ботаники не знаешь... Не цветет он, папоротник, а, как грибы, спорами, бородавками такими, размножается...

— Какими такими бородавками? — громко спросил случившийся рядом младший сержант Куныкин — широкоплечий, с крупными чертами лица, наделенный редкостной физической силой. И сначала непонятно было, что обидело и взволновало его.— Гриб сам по себе, а живое все цветет. Овощ, к примеру, и тот... А зачем, спроси ты, цветет? Я тебе отвечу по-своему: для украшения жизни цветет... Ты, ботаник, дубовая твоя душа, не мешай про красивое рассказывать... — резко оборвал он и долго угрожающе, ища, к чему бы придраться, косился на присмиревшего Суханова.

Векшин обходил группки людей, не зная, чем заняться в эти последние перед боем полчаса. Солдаты хорошо зна-

 Зак. 5401

ли приказ, имели отчетливое представление о местности и о своих обязанностях в бою, оружие было в исправности. Лейтенант прилег на кучу заснеженного хвороста, стал смотреть в серое туманное небо и думать о том, что вот наконец и наступает решающий в его жизни момент. «Выдержу или не выдержу? — спрашивал он себя.— Сумею преодолеть страх, сохранить самообладание и повести за собой людей в огонь, на смерть? Если выдержу сейчас, то и дальше всегда хватит сил...»

Подошел старший политрук Балин. Векшин вскочил, хотел было подать команду, но Балин жестом остановил его. Прислонился спиной к стволу рябины. Солдаты один за другим стали подходить к политруку. Слегка окая, Балин вполголоса заговорил, покачиваясь всем корпусом. Он раскачал рябину, хлопья снега упали с нее, и обнажилась до сих пор скрытая снегом гроздь с багряными, тронутыми желтизной ягодами. Солдаты слушали комиссара и смотрели на отчетливо выделяющуюся на белом фоне гроздь. Балин перехватил их взгляды, поднял голову. Грузно подпрыгнув, он попытался оборвать ветку с гроздью, но не достал. Куныкин, поднявшись на носки, осторожно, чтобы не засыпать Балина снегом, сорвал гроздь и подал ее комиссару.

— Сегодняшний день — шестое декабря — войдет в историю,— говорил Балин.— Войска всего нашего фронта переходят в контрнаступление. Этот день мы долго будем вспоминать, будем рассказывать о нем сынам нашим и внукам...

Балин вдруг замолк. Все насторожились. По лесу от одного к другому передавалось слово. Повторяемое разными людьми, но одинаковым голосом и тоном, оно плыло из туманной чащи, сворачивало из стороны в сторону, и всюду, где оно слышалось, устанавливалась настороженная, готовая разом оборваться тишина.

— Приготовиться!

Где-то вдали, сначала робко и неуверенно, ударили пушки, застучали пулеметы. Гул нарастал. Открывали огонь все новые и новые батареи... И вот нельзя уже было поверить, что еще несколько минут назад морозная тишина сковывала поля и леса. Казалось, гудело и полыхало отблесками все: и вдруг стряхнувшие с себя снег деревья, и снежные увалы на опушке, и прикрытые снегом кусты, и сама скованная морозом земля. Гул все нарастал, в

него вплелись страшные для врага голоса реактивных минометов. Небо раскололи дымчатые полосы.

В конце просеки показались танки. Поднимая стены снежной пыли, почти бесшумно в общем грохоте они, развернувшись, на боевой скорости неслись к деревне. Лежавшие и сидевшие на броне десантники размахивали руками и что-то кричали.

— Вперед! — крикнул Векшин и не услышал собственного голоса. Размахивая пистолетом, он побежал через кустарник.

Там, где была деревня, кучился дым. Оглянувшись, Векшин увидел: бойцы, прерывисто дыша, бегут за ним. «Странно как-то бегут»,— отметил он, не сознавая, что и сам бежит по глубокому снегу не по-обычному, а высоко вскидывая колени.

Артиллерия перенесла огонь за деревню. Танки прошли за околицу. Вокруг них стали рваться, вздымая снег и комья земли, снаряды. Пехота бежала по бугристой равнине. Снежные столбики замелькали вокруг, и казалось, снега закипают, как вода в баке. Векшин метнулся в сторону, упал. На околице деревни, из полуразрушенной избы, через обложенное кирпичом отверстие, находившееся на уровне земли, хлестало пламя. Векшин пополз вперед. Перед ним, вывернув ступни ног, подобрав тяжелое и сильное тело, передвигался Куныкин. Они свернули в сторону, легли на сугроб и по очереди стали швырять в амбразуру гранаты. Две первые гранаты почему-то не разорвались, остальные, взорвавшись, окутали амбразуру белым, смешанным со снежной пылью дымом. Все одновременно поднялись на ноги, вбежали в деревню.

Взвод собрался в глубокой, замаскированной большой деревянной рамой траншее.

Прислонившись к стояку, поддерживавшему маскировку, Векшин остановился, чтобы передохнуть. Вспомнилась ночь на посту в лагере, робость, охватившая его при звуке шагов, глупая и добродушная морда пестрого телка.

«Черта с два,— подумал лейтенант радостно и взволнованно.— Может, и погибну, но ни за что не струшу!»

Векшин, кивнув Куныкину, чтоб шел за ним, вылез из траншеи. По деревне уже бегали, не сгибаясь, солдаты, деловито тянули провод связисты, артиллеристы, сбросив шинели, в одних телогрейках — потные, с потем-

невшими от порохового дыма лицами, — на руках катили пушки. В тыл повели трех захваченных в плен немцев. Около кирпичного двухэтажного здания школы, в центре деревни, еще слышались крики, выстрелы, взрывы гранат. Это солдаты приканчивали два вкопанных в землю танка, экипажи которых не захотели сдаться.

Вслед за Куныкиным Векшин зашел в один из домов. Там никого не было. На полу лежала куча грязной соломы, весь угол загромоздили выпачканные в саже кирпичи от разрушенной печки. Валялись патроны, несколько винтовок, одна из них с расщепленной ложей, ранцы, порванные газеты, бутылки. Откуда-то появился тощий голодный кот. Диковатыми рыжими глазами он смотрел на людей и пронзительно, неприятно мяукал.

По большаку на северо-запад тронулись танки. Послышались слова команды. Наступление продолжалось.

Среди других солдат шагал и Зайцев. Он думал, что вот она какая, война, и что вряд ли кто в родном поселке сможет понять это и представить. Как, скажем, ей, жене, Прасковье, отписать про все это? Разве она поймет!..

7

«Как же это все случилось?» — шептала, глядя на свое отражение в зеркале, Надя. Под глазами — синева, первые, еще неотчетливые морщинки у глаз, а сами глаза — потемневшие и посуровевшие. Жалко было Степана, мужа, извещение о гибели которого пришло три недели назад, жалко было себя, двадцатитрехлетнюю вдову.. Слово это, «вдова», звучало непривычно и тоскливо. Собственное горе помогло Наде с особенной остротой увидеть и чужое горе... Бредут по дорогам в захваченных врагом краях русские женщины с детьми, с котомками за плечами. Нет у них ни крыши над головой, ни куска хлеба — одна лишь надежда, что Родина их не оставит. Поднимаются в атаку и, окровавленные, падают русские парни...

И Надя чувствовала, что жить так, как жила она до сих пор — ходить на работу, перевязывать больных, давать им лекарства и ставить термометры, вышивать в свободные минуты платки и кисеты для фронтовиков, а вечером, направляясь домой, не ожидать писем,— она больше не может. Давно уже созрело в ней желание уйти

на фронт, добиться зачисления в боевую часть, в какой-нибудь санбат.

И, уже зная точно, что завтра она пойдет в военкомат, Надя огляделась, думая, что, должно быть, трудно ей будет прощаться с любимыми вещами, которые она собрала, чтобы создать уют. Она любила красивые платья, хорошую посуду. Еще совсем недавно она часами могла перебирать чашки, чайники, розетки, фарфоровые статуэтки, открывая в них то новые достоинства, то изъяны, бережно стирая с них пыль. Куда это все денется без нее?

Надя раскрыла стеклянную дверцу битком заставленного шкафчика. Сервиз — красные с белыми кружочками чашки. Мраморные слоны, добродушные, смешные,— примета домашнего счастья. Она хотела поставить их на видное место, но Степан стал возражать, говорить, что это мещанство. Лебедь, спрятавший голову под крыло. Шесть миниатюрных китайских чашек с тонким красивым рисунком — китаяночка с зонтиком и солнечные лучи. Эти чашки стоили кучу денег. Они купили их в Новосибирске, когда Степан получил почти одновременно две премии — одну за перевыполнение плана, другую за рационализаторское предложение.

Нет, все это с прежней силой ее не волновало, и в конце концов земля не расколется на две половины, если даже все это пропадет. Надя еще раз оглядела посуду и заставила себя удивиться тому, что прежде так увлекалась всем этим. Локтем она случайно задела китайскую чашку. Чашка упала с полки на приоткрытую нижнюю дверцу шкафа. Надя попыталась поймать ее, сделала неловкое движение, и чашка грохнулась на пол. Надя собрала в руку осколки, долго рассматривала их, потом заплакала — тихо, почти без слез, как плачут по безвозвратно ушедшему.

Она выбросила осколки, закрыла дверцу шкафа, взяла со стола карточку в деревянной рамке, украшенной тонкой резьбой. Глаза Степана все понимающие, веселые. В армии он был полковым инженером и служил совсем недолго. Как его хоронили? Наверное, без гроба. Завернули в шинель, опустили в неглубокую яму, сказали над могилой несколько хороших слов, вспомнили, как подорвал он минами два танка (об этом Наде написали товарищи мужа). В извещении было сказано, что похоронен

Степан на высоком песчаном холме, вблизи большой реки. Там, наверное, сейчас оттепель, голый кустарник, с холма стекают ручейки и слышно, как с кустов капает вода. Завывает ветер, и снег на холме рыхлый, мокрый.

Надя поставила на стол карточку, накинула вязаную теплую кофту, рванула дверь.

Стояла оттепель. Журчали, стекая с гор и пробиваясь в низину, к реке, ручейки. В свете редких фонарей ложились на синий снег то длинные колеблющиеся, то уродливые короткие тени. Сквозь стену одного из домов доносилась песня, неотчетливая, прерывающаяся — так поют за работой. Фары грузовика бросили резкий свет на поселковую улицу, выхватили из полутьмы угол больницы, ограду управления прииска.

Надя, торопливо прыгая через лужи, шла к дому Зайцевых. Двоюродная сестра Прасковья была старше ее на шесть лет, но они дружили.

Прасковья только что пришла с работы. Она сидела за столом, откинувшись к спинке стула, головой прислонившись к жарко натопленной печи, и пила чай. Галя, шестилетняя девочка, племянница Прасковьи, оставшаяся без родителей и взятая ею на воспитание, деловито стучала швейной машинкой — она подрубала платки, предназначенные в подарок фронтовикам.

— Получила? — спросила Надя, присаживаясь к столу и принимая из рук хозяйки чашку чаю.

— Получила,— опустив глаза, стыдясь перед вдовой своего счастья, ответила Прасковья. Она проворно встала, подошла к комоду, вынула из ящика письмо, остановилась среди комнаты — высокая, со строгими бровями, с толстой, закрученной вокруг головы каштановой косой.— На, читай.— Прасковья медленно, нерешительно, словно раздумывая, стоит ли давать его двоюродной сестре, протянула Наде письмо.

Надя развернула бумажный треугольник, стала вслух читать.

Девочка бросила свою работу и, сдвинув узкие, темные брови, чем-то неуловимо похожая на приемную мать, смотрела на обеих пытливыми, внимательными глазенками.

В письме, после длинного перечисления, кому передавать поклоны (о Надежде упоминания не было), Григорий Зайцев сообщал о том, что его батальон участвует в наступлении под Москвой, отбил у врага шесть дере-

вень и продвинулся за первую неделю наступления на пятьдесят с лишним километров.

«А останавливаться мы не можем,— читала Надя,— шарахнем ганса до весны еще километров не менее как на сто. А морозы стоят подходящие, вроде как у вас, в Сибири. Взводный у нас ничего, хоть и молод очень, а ротного недавно убило осколком тяжелой немецкой мины. Попало чуть пониже виска. У него, говорят, трое детишек осталось. Присылать мне ничего не надо, хватает и хлеба, и приварка, и водочного довольствия, и табачного».

Дальше снова шел перечень поклонов и приветов. Надя поискала свою фамилию, но ее и здесь не было.

— А я, Паша, хочу на фронт проситься,— просто и неожиданно для себя сказала Надя, складывая и возвращая письмо.

Прасковья ответила не прежде, чем спрятала треугольник в комод:

— Не женское дело. Газеты же пишут: здесь наше дело ковать победу.

Однако чувствовалось, что она одобряет решение Нади и говорит эти слова только для того, чтобы дать сестре возможность убедительнее объяснить свое решение.

— Не могу я больше. Понимаешь, не могу.— Надя подошла к окну, приподняла полотняную вышитую занавеску.

Ветер раскачивал на улице фонарь, и казалось, что покачивается сарай, три молодых, густо присыпанных снегом тополька, собачья конура. Где-то на вершине дальней горы тускло, призрачно мигал красный огонек.

— Понимаешь, не хочу я больше так.

Прасковья подошла к сестре, крепко сжала повыше локтя ее руку:

— Своенравная ты, честная, вот только недобрая.

— Глупая, я ведь не такая, какой была. Горе меня давно другой сделало.

— Проститься-то зайди... Я тебе на дорогу кое-какого домашнего припаса сделаю.

— Тетя Надежда, мы тебя провожать приедем на станцию,— вмешалась девочка. Она подошла к приемной матери, прислонилась к ее бедру и не по-детски серьезно смотрела на Надю.

...Через неделю Надя прошла комиссию и была зачислена в армию. До Кузнецка она доехала на электричке, пересела на паровой поезд и через день прибыла в Новосибирск. Она впервые выезжала за пределы Сибири. В Омске, на перроне, какой-то железнодорожник сказал ей, что среди Уральских гор стоит каменный столб с надписями «Азия» и «Европа». Наде очень хотелось увидеть этот столб, но поезд прошел мимо него ранним утром, и она проспала. Через две недели Надя уже была в штабе фронта. Ее принял толстый, с багровым, одутловатым лицом военврач и вручил направление в полевой госпиталь, помещающийся в лесу, на берегу реки, впадающей в озеро Ильмень. Военврач долго, красноречиво описывал места, в которых был госпиталь, похвалил их за живописность и климат.

— Я ведь не в дом отдыха еду,— усмехнулась Надя.

Военврач будто ждал этих ее слов. Он стал рассказывать о важности задачи, которую выполняет Северо-Западный фронт.

— Наш фронт — это ворота в Россию, между Москвой и Ленинградом. С тех пор как прекратилось действие фактора внезапности, мы не отошли ни на километр. И учтите, милая девушка, в этом немалая заслуга медицинских работников... Мы неплохо восстанавливаем здоровье защитников Родины. Все, что можно сделать, мы делаем. Я не могу вас познакомить с цифрами, но они очень красноречивы, милая девушка...

— Желаю счастья,— сказал ей наконец военврач и протянул руку. Надя пожала его теплую, красную, с короткими пухлыми пальцами руку и подумала, что военврач, должно быть, мягкий и хороший человек, совсем непохожий на военного и напоминающий школьного учителя.

8

Еремеев приказал Векшину выслать вперед группу из трех или четырех человек и разведать со стороны леса пути подхода к городу, превращенному гитлеровцами в свой опорный пункт.

Когда солдаты исчезли в сгустившихся сумерках, лейтенант вдруг подумал о том, что он сам плохо представляет, как можно со стороны леса разведать пути подхода к городу, удастся ли перебраться через глубокий овраг.

Размеренно валятся снежные хлопья. Они громоздятся на густо залепленных снегом ветках, голубым покровом обволакивают прогалины и перелески, шелестом заполняют лес. Светло почти как днем, но луны в небе нет,— должно быть, раздробила ее неведомая сила на мелкие куски и раскидала по земле, потому и сияют снега лунным блеском, потому и светло.

Хоть и близко где-то линия фронта, но нет войны, окопов, выстрелов. Есть белый вечер, белый снег, белая тишина. В такую погоду хорошо торопиться на лыжах домой либо проехаться, укутавшись потеплее, на резвой лошадке в легких санях. Солдатам, однако, было не до любования зимним вечерним лесом. Им бы в блиндажик, к печурке, в круг окопных друзей.

Трое, одетые в желтые дубленые полушубки, с автоматами за спиной, пробираются лесом. Идут они гуськом, ступая след в след. Впереди младший сержант Кунькин. Походка у него злая, усталая и упрямая, валенки, шапка и плечи — в снегу. За ним рядовой Муса Эфендиев, невысокий и худой, с лицом кавказского склада и льдинками в пышных темных усах. Позади всех — ефрейтор Зайцев. Он часто оглядывается по сторонам, в кулаке держит незажженную папиросу.

Это ничего, что целый день бойцы не ели, что они заблудились в лесу, сбившись с дороги. Усталым, голодным людям и нешибкий мороз опасен. Но это тоже ничего. Зайцеву хочется поговорить. Он, Зайцев, бывал и не в таких переделках, и младший сержант Кунькин тоже бывал в переделках, и Муса Эфендиев. Мороз средний, есть два брикета пшеничной каши, шесть кусков сахару и сухарь. В коробке осталось четыре спички, можно развести костер, растопить снегу. Правда, голод этим не утолить, но чтобы обогреться — почти достаточно. Группа не выполнила задание, но в этом он, Зайцев, не виноват. Виноват Кунькин. Он старший, он обязан и думать. Если бы старшим был Зайцев, он бы с самого начала пути следил за маршрутом и не завел бы группу в чащобу.

Муса Эфендиев мороз переносит плохо. Кроме того, у него ноет зашибленная по зажившей ране коленка. Коленка распухла, и Муса знает: стоит остановиться, и нога откажет ему. Но все это ничего. Кунькин и Зайцев славные ребята, они оба сибиряки, привыкли к холоду, умеют

на снегу развести костер, сделать снежную пещеру. Вот только младший сержант Куныкин запретил Зайцеву болтать и нарушать тишину, а Зайцеву не терпится: раз десять он принимался рассказывать вспомнившуюся ему историю о том, как Сенька Проскуров, старатель с золотого прииска, ночью бегал босиком по поселку. Мусе любопытно, какое все это имеет к ним отношение и что заставило чудака — сибирского парня бегать на морозе босиком. Пускай Зайцев расскажет, если уж ему так хочется. Он, Муса, ничего не имеет против. Если коленка очень будет болеть, он просто не станет слушать.

Куныкин высоко вскидывает колени, со злостью уминает валенками снег. Попробовал бы Зайцев идти по насту, хорошо ему плестись по следу и балабонить. Командир роты приказал группе разведать со стороны леса пути подхода к городу, сильно укрепленному фашистами, но группа не сумела выполнить задание, заблудилась. Понадеявшись на свою память, Куныкин не попросил карту. Компаса тоже не оказалось ни у Зайцева, ни у Эфендиева. Задание не выполнено. И Куныкин думает о том, что он совершил целый ряд непростительных оплошностей: не захватил с собой компаса, плохо запомнил карту, сделал плохую схему, в которой сам не может разобраться.

Болтовня Зайцева раздражает Куныкина. «Не чувствует, сукин сын, ответственности, не ищет выхода из трудного положения»,— думает Куныкин и невольно прислушивается к рассказу о каком-то старателе, который ночью в мороз босиком бегал по поселку. Потом усилием воли заставляет себя не слушать Зайцева. «Старатель, которого встретил Зайцев, был просто болван. Ну кто еще станет бегать босиком по снегу? Умный человек в морозную ночь сидит дома, если только не пожар и не война»,— мрачно бормочет Куныкин.

Куныкин подходит к могучей сосне и головой упирается в ствол. Зайцеву и Эфендиеву непонятны его приготовления, они молча смотрят в спину младшему сержанту.

— Ну! — нетерпеливо и грозно произносит Куныкин, брыкнув ногой в сторону Зайцева.

Догадавшись, Зайцев, кряхтя, взбирается на широкие куныкинские плечи, цепляется за сук и лезет на дерево. Через минуту Зайцева нет — есть огромная снежная баба,

вроде той, что лепят ребятишки из мокрого оттепельного снега. Зайцев отряхивается. Снег обильно сыплется на Куныкина.

— Как пудель,— ворчит тот.

— Белка по дереву может, бурундук, косолапый при острой нужде. А собака — ни в коем случае,— рассудительно замечает Зайцев.

Действительно, собаки по деревьям не лазят. И усталым людям смешно. Смеется Зайцев, мягко улыбается Эфендиев.

— Ничего не видно — деревья да снег,— спустившись вниз, докладывает Зайцев.

— Ну, все... Будем ждать утра,— говорит Куныкин.

Зайцев выкапывает в снегу небольшую ямку, собирает сухие ветки и разламывает их, собираясь развести небольшой, не слишком заметный костер. Куныкин, действуя руками и ногами в порыжевших, с загнутыми носками валенках, сооружает снежную пещеру.

Четыре спички — четыре костра, если повезет. А если не повезет — голод и холод. Зайцев вынимает из кармана коробок, трет его о волосы. Все смотрят на коробок. Этикетка на нем не видна. Но все помнят, что на этикетке — женщина, призывающая к бдительности в военное время. Первая спичка оказалась бракованной, не загорелась. Огонек второй и третьей лишь пробежался по сухим веткам и погас. Четвертая — задымилась, зачадила, но не вспыхнула. Винить некого: осторожность была соблюдена полностью...

Солдаты молча теснятся вокруг кучи хвороста. Потом Куныкин рывком снимает с себя шинель, расстилает ее на полу пещеры, укладывается. Эфендиев следует его примеру. Его шинель становится одеялом.

Зайцев неподвижно стоит на месте, всматривается в ночь, внюхивается в мороз. Надо еще раз осмотреться, не грозит ли им какая-либо опасность. Сгорбившись, он бредет по лесу, сломленными ветками отмечая свой путь. А через пятнадцать или двадцать минут бежит обратно. Он взволнован. Кричит уверенно и громко: «Вылазь, нашел!»

Трое снова идут. Эфендиева Куныкин почти несет на руках. Зайцев — впереди. Он часто оборачивается. Есть о чем поговорить. Из-за спички чуть не обмерзли ребята, из-за проклятой спички. Когда после завершения войны

вернется он, Зайцев, до дому, то станет на три года вперед запасать спички. Он теперь умный, Зайцев. И он продолжает свой рассказ:

— Иду нашей поселковой улицей, а навстречу человек в одном нижнем белье и босиком. Я за ним. Почему, кричу, такой беспорядок?

Кунықин терпит: командует пока Зайцев. Трое видят провод телефонной связи и идут вдоль него. Провод явно отечественный, советский, у противника изоляция совсем иная. Солдаты бредут через чащу и на поляне обнаруживают, что провод кончился. Впереди лес — густой, темный, молчаливый...

Жалкий обрывок провода Зайцев принял за телефонную связь. Кунықин даже не ругается, он только скрипит зубами и плотнее прижимает к себе Эфендиева. Трое бредут обратно, к пещерке. Куныкинское презрительное молчание выводит Зайцева из равновесия. Он говорит виновато:

— Ошибки, конечно, бывают...

И в это время до них глухо доносятся отзвуки отдаленного разговора и лязг оружия. Солдаты тихо пробираются по лесу на звук голосов и видят: на опушке окапывается какое-то подразделение. По отдельным донесшимся словам и по силуэтам определили, что это свои. Офицер в длиннополой, туго перетянутой ремнями шинели просмотрел у них солдатские книжки и указал направление, где должен быть их батальон.

Батальон, вместе с другими подразделениями, занимал исходные рубежи для штурма города. На опушке было людно. Пехотинцы рыли снежные окопы, артиллеристы устанавливали пушки, минометчики сооружали огневые позиции. Изредка рвались снаряды. Взрывные волны осыпали с деревьев снег, по лесу прокатывался гул, стонали скованные морозом деревья.

Балин отозвал командира роты лейтенанта Векшина в сторону и стал его отчитывать за то, что Куныкин, Зайцев и Эфендиев не выполнили задания.

— Ваши люди блуждают по лесу и не могут выполнить несложное задание. А виноваты в этом в первую очередь вы. Дали вы им карту? Осмотрели оружие? Имели они компас? Умеют они ходить по азимуту? Подумайте об ответственности командира за действия подчиненных...

Векшин, стоя навытяжку, слушал, а сам тем временем думал, что хорошо, чертовски легко и хорошо жить, отвечая только за себя, только за свои поступки и действия.

9

Город, о котором Еремеев знал, что он очень древний и что упоминания о нем есть в русских летописях, был освобожден после двухдневного кровопролитного боя. По шоссе, проходящему по глубокой, обложенной камнями выемке и разделяющему город на две части, двигались танки, автомашины, пушки всех калибров, полевые кухни, обозы, шла пехота.

В сумерках на городской площади состоялся траурный митинг. Хоронили бойцов и командиров, павших при штурме города. Хоронили и снятые с виселиц, которые были установлены на площади, тела советских людей, казненных фашистами. Под звуки прощального салюта зарыли братские могилы. После этого тягач подтянул на площадь опаленный, весь израненный танк. Его временно установили на могиле.

Пора было возвращаться на командный пункт. Но Еремеев стоял, прислонившись к поломанному забору, и смотрел, как солдаты топорами подрубали стойки двух виселиц. В морозном воздухе далеко разносилось тяжелое дыхание и голоса бойцов:

— Тут гвоздь... пониже вдарь!

— А ну, берись, братва!

Виселица качнулась, мягко упала, подняв клубы снежной пыли. За ней повалилась и вторая.

За городом разгоралась артиллерийская стрельба. Сполохи розоватыми тенями мигали на неровном, истоптанном ногами, примятом колесами и гусеницами снегу. Площадь то и дело в разных направлениях пересекали бесформенные, пугливые тени,— это возвращались в свои дома жители с узлами на плечах и в саночках. За сумрачной громадой церкви прозвучал детский голосок: «Сань, а Сань, иди скорей домой, мамка суп варит с картошкой!» Последнее слово ребенок выговорил с нескрываемой радостью, почти с восхищением. «С карто-ошкой,— мысленно повторил Еремеев, набивая табаком маленькую с металлической крышкой трубку.— Сколько же пережил, как исстрадался этот малыш. Черт возьми!.. А мой Петька? Может, и он сейчас мечтает о супе с картошкой?»

Еремеев с силой оттолкнулся от забора, на ходу закурил, пошел на командный пункт, устроенный в подвале окраинного старого каменного домика. На душе у него было сумрачно. Одержанная батальоном победа уже не радовала его, как несколько минут назад. Комбату казалось, что взаимодействие было организовано плохо, совершена уйма ошибок. Ту же задачу, по его мнению, можно было решить хитрее, талантливее, без тех значительных потерь, которые понес отдельный батальон и взаимодействующие с ним части. Наступали в лоб. Нельзя было допустить отрыва пехоты от огневого вала и танков. Если бы наступали вплотную за разрывами своих снарядов, только вплотную — потери были бы гораздо меньшими. Следовало бы ускорить темп наступления. Пехота отстала от танков, две роты залегли перед окопами противника, упустили наилучшие для штурма минуты.

Еремеев считал, что исход хорошо подготовленного и обеспеченного боя во многом решается взятым с первых же минут темпом и размером наступления. Стремителен темп наступления—много шансов, что бой будет выигран; замешкались солдаты, залегли — и бой легко может быть проигран. При штурме города батальон сумел взять хороший темп, но потом, перед окопами, залег в снег, хотя огонь гитлеровцев не был слишком сильным. Именно в этих двух-трех минутах промедления, вызвавших значительные потери, и винил теперь себя Еремеев.

По скользкой, обледенелой лестнице комбат спустился на командный пункт. В просторном подвале было жарко натоплено. Две железные печки раскалились докрасна и гудели, точно потревоженные ульи.

Комиссар Балин, секретарь парторганизации Мышанов, политруки подразделений, сидя кто на снарядном ящике, кто на полу, разбирали заявления в партию, поданные солдатами и офицерами перед штурмом города.

— Двадцать два заявления... Что ты на это скажешь, комбат? — обратился к нему Балин, пытливо вглядываясь в лицо Еремеева, стараясь понять, почему он хмур и неприветлив.

Еремеев стоял, расставив ноги, посреди подвала — грузный, кряжистый, в гимнастерке без ремня.

— Что я могу сказать? — И он поведал, как на площади разрушали солдаты виселицы, как прозвучал детский несмышленый голосишко: «Сань, а Сань, иди скорей до-

мой, мамка суп варит с картошкой!»— и с какой радостью выделил этот хрупкий голосок слово «картошка».

Все на командном пункте надолго замолчали. То ли избегали говорить на подобные темы, то ли просто нечего было ответить.

А Еремеев все стоял посреди подвала, ждал.

Потом, не торопясь, надел ремни, пристегнул кобуру, накинул шинель с металлическими пуговицами, обшитыми зеленым материалом, вышел из подвала. Часовой вытянулся, прижав к себе винтовку.

— Не замерз?

— Сибиряк,— словоохотливо отозвался часовой.— В допрежнее, в довоенное, время зверя промышлял.

— Все равно: мороз есть мороз... Табак получили?

— Имеем, товарищ капитан.

Еремеев зашагал по тропинке, протоптанной вдоль шоссе. Он снова стал обдумывать детали прошедшего боя, анализировать обстановку, выискивать иные решения — не те, которые он принял.

Бывалые воины говорят, что всех участников войны можно разделить на три группы: первые волнуются и переживают до боя, вторые — во время, третьи — после боя. Еремеев принадлежал к третьей группе. Никакие силы не могли заставить его успокоиться, пока он мысленно не переживет заново все события минувшего боя, заново не осмыслит их.

И Еремеев придирчиво, с пристрастием думает об этих событиях: глуховатый, суровый голос командира бригады в телефонной трубке: «Проверьте часы. Сейчас восемь часов девятнадцать минут...» Артиллерийская подготовка... залпы реактивных минометов. Танки, поначалу медлительные, неуклюжие, словно бы неуверенные в своих силах и возможностях, выходят на исходные позиции, разворачиваются и, стремительные, несутся на город, на дома, неотчетливо громоздящиеся в снежной мути... Серия красных ракет... Рывок пехоты, хороший рывок, дружный и сплоченный...

Поднялся холодный, пронизывающий ветер. Он бросал в лицо пригоршни сыпучего, колючего снега. Это охладило и успокоило комбата. Как бы там ни было, но задача батальоном выполнена. И задача нелегкая!

Позади себя Еремеев услышал хруст снега и торопливые шаги. Обернулся. Его догонял ординарец Мизюркин.

«Комиссар послал»,— подумал Еремеев. Остановился. Мизюркин замер в двух шагах.

— Вот смотри... Видишь?.. И все на запад.— Еремеев указал на лавину танков, автомашин, повозок, двигающихся по шоссе.

— Вижу... Техника имеется,— весело подтвердил Мизюркин.

Урчат моторы, голубоватое пламя выскакивает из выхлопных труб; блеснет вдруг глазок фары, прикрытой жестяным диском, повозочный прикрикнет на лошадь, шарахнувшуюся от пахнущего машинным маслом, порохом и бензином стального чудовища, брякнет котелок на спине сидящего в кузове автомашины пехотинца, сурово прозвучат в морозном воздухе слова команды.

Войска идут на запад, к Гжатску, Вязьме, Смоленску, Минску, к государственной границе — туда, откуда раздается все удаляющийся грохот канонады.

Над шоссе стоит запах бензина, кожи, каленого железа, мокрого солдатского сукна. Шины разбросали с шоссе снег, и оно чуть поблескивает раскатанным, обледенелым асфальтом.

...Поздно ночью вернулся Еремеев на свой командный пункт. Он был свеж, оживлен и разговорчив.

Балин не спал. Он сидел у печурки, железным прутом помешивал угли и насвистывал незамысловатую народную мелодию.

— Получен приказ: переформировка и, судя по всему, перемена дислокации,— коротко бросил он, многозначительно глянув через плечо на Еремеева.

10

Векшин выпрыгнул из теплушки на замусоренный черный снег, подлез под вагон, поднялся и спустился по лесенкам цистерны, прошел вдоль длинного состава запломбированных товарных вагонов и, наконец, очутился на перроне станции окружной дороги. Комиссар разрешил отлучиться только на ночь, к семи утра надо было вернуться в часть.

Начальник станции, старик с усталым морщинистым лицом, подтвердил, что раньше утра эшелон вряд ли тронется. Окружная дорога забита составами.

Векшин выбрался на окраинную улочку, обогнул трой-

ную линию противотанковых надолб, долго брел вдоль ряда темных одноэтажных домов и вышел на Комсомольскую площадь.

На улице Кирова было еще темнее. Какие-то молчаливые люди стояли у подъездов домов. В сером ночном небе смутно маячили аэростаты воздушного заграждения, иногда в свете луны можно было увидеть крестообразные бумажные полосы на оконных стеклах.

На площади Дзержинского его окликнули:

— Военный, ваши документы!

В руках патрульного шуршит бумага. Патрульный возвращает документы, надевает трехпалую меховую варежку.

— Пожалуйста, товарищ лейтенант.— И другим голосом, неофициальным и немного заискивающим: — Закурить у вас не найдется?

Под аркой дома снимаются трехпалые варежки. Свертываются три папиросы, осторожно, под снятой с головы шапкой, зажигается спичка.

— Подмораживает.

— Точно, морозец...

— Как там, на фронте, гонят немца?

— Волоколамск не брали, товарищ лейтенант?

— Точно. Брал.

Папиросы втаптываются в снег. Патрульные надевают варежки.

— Счастливого пути...

Повернув к Красной площади, Векшин невольно замедлил шаги.

Мог ли он, Векшин, думать когда-нибудь, что увидит Красную площадь без единого огонька, пустынную, безмолвную.

Кованные железом каблуки стучали по заснеженной брусчатке громко, дерзко.

За Кремлевской стеной темнели здания... Кабинеты. На стенах карты с бесчисленным множеством значков. Интересно, как люди над этими картами осмысливают события, как представляют бои за Волоколамск?

Векшин спустился к Москворецкому мосту. Переулки Замоскворечья. Мальчишкой он любил здесь бродить без цели. Они мало изменились со времени его детства. Лишь вместо газовых фонарей появились электрические да исчезли каменные тумбы у ворот.

Осталось пройти два или три дома, потом завернуть налево... Темный пустырь, наполовину разобранные развалины — следы фашистской бомбежки. Векшин заторопился, сердце беспокойно забилось. Нет, его дом цел. Поднялся по знакомой лестнице, на площадке в штукатурке метка «В. В.», сделанная им лет за пять до начала войны. Постучался к соседке. Соседка долго не открывала. Глядя на Векшина удивленными и радостными глазами, вручила ему ключ.

Отец умер перед войной, мать была в эвакуации, в Казани.

В квартире пахло сыростью, мышами, еще чем-то нежилым, неприятным. На окнах висели темно-синие бумажные шторы — можно включить свет.

Мебель в беспорядке сдвинута. На письменном столе календарь, открытый на 3 августа 1941 года, рядом два использованных билета в летний театр сада «Эрмитаж» на 19 июля 1941 года. Он был там с Наташей. Где она сейчас, Наташа?

Со шкафа холодными, стеклянными глазами на Векшина смотрел мохнатый плюшевый медведь. Раньше его можно было завести — он рычал; потом механизм поломался. Векшин снял мишку со шкафа, посадил на спинку стула, поднял ему правую лапу: «Следи здесь за порядком!» Подошел к стене, написал на обоях: «Был дома. Володя». Присел на диван. Немного помедлил, взял телефонную трубку. А может быть, телефон выключен? Нет, раздался гудок. Память туго подсказывала когда-то хорошо знакомые номера. В квартире, где жила Наташа, сообщили, что она работает в ночную смену, будет только утром. Из квартиры Саши Федорова, сверстника, товарища по мальчишеским играм, хмурый старческий голос ответил, что Саша на фронте и четвертый месяц от него нет писем. Векшин набрал новый номер — сокурсника по институту Ваньки Зверева. Соседи по квартире сообщили, что Ванька в длительной командировке, в Средней Азии.

Векшин вздохнул. Война все переиначила, передвинула, перетасовала. Как-то потом все опять будет? А сейчас... Сейчас даже не время для раздумий и осмысливаний, все в движении, в беспрестанном и стремительном движении. Зачем он пришел сюда? Посмотреть на родной дом, вспомнить детство, погрустить?

Векшин выдвинул ящик стола, там в беспорядке были навалены конспекты, записные книжки, программы курсов лекций. На глаза попалась тщательно вычерченная учебная карта.

«...На опушке поставить два станковых пулемета... восточнее стыка тропинок расположить первый взвод, правее — второй...» И он мысленно уже занимал оборону, готовясь к новой схватке.

Медленно поднялся, еще раз оглядел квартиру, запер ее. Разбудил соседку, вернул ей ключ и вышел из дому.

В предутренней туманной мгле Векшин с трудом обнаружил среди многих эшелонов свой: его передвинули на другой путь. Кивнув часовому, стал разыскивать свою теплушку, наугад отодвинул примерзшую тяжелую дверь. Слева, в просвете между дверью и стеной вагона, показалась лошадиная морда. В глазах лошади застыло ожидание и любопытство. «Рыжуха»,— узнал Векшин, порылся в карманах, вынул завернутый в бумагу кусок сахару. Рыжуха разгрызла сахар; выдыхая клубы белого пара, просяще засопела.

Прицепили паровоз. Эшелон тронулся. Над городом занимался рассвет. Замелькали дома, улицы, вывески магазинов, трамваи. Пожилая женщина в белом пуховом платке стояла около будки стрелочника, махала рукой.

Только одна она провожала эшелон.

11

Сибирская бригада отбила атаки противника и, перейдя в наступление, освободила двенадцать укрепленных пунктов.

Батальон Еремеева занял деревни Суханово, Морозово, Налючи и вышел к реке Пола, на противоположном берегу которой виднелся опорный пункт немцев — село Большие Дубовицы.

В мае ожидалось новое наступление гитлеровцев, решивших во что бы то ни стало вернуть захваченные у них опорные пункты.

Еремеев, верхом на сером в белых яблоках, невысоком и костлявом, очень выносливом коне, возвращался в свой батальон. В штабе бригады он присутствовал при допросе трех «языков»: захваченных в плен эсэсовцев и перебежчика-поляка, бывшего до войны сельским учи-

телем и насильно, по его словам, мобилизованного в гитлеровскую армию.

Эсэсовцы сначала несли всякую околесицу, путались и врали, пока перебежчик не разоблачил их. Тогда они дружно подтвердили: гитлеровцы готовятся к удару.

По пути Еремеев заехал к командиру дивизиона тяжелых пушек уточнить сигналы для вызова заградительного огня. Вернувшись в батальон, он приказал ускорить минирование берега реки и выставить усиленное охранение.

Векшин, недавно ставший старшим лейтенантом, выделил на ночь в боевое охранение произведенного в младшие сержанты Зайцева и двух бойцов — Федосеева и Шахутдинова.

В сумерках группа прошла по неглубокой, местами обвалившейся от близких разрывов снарядов и мин траншее и между грядками заброшенного огорода переползла к реке. На обрывистом берегу была вырыта глубокая яма. В густой прибрежной траве Зайцев осторожно установил на сошках дегтяревский пулемет. Федосеев тем временем лопаткой выдолбил в стене окопа ниши для патронов и пулеметных дисков, Шахутдинов выбил, пользуясь кремнем и куском напильника, огонь и зажег, чтобы тлела, обмотку старого телефонного кабеля — для прикуривания. Теперь надо было терпеливо сидеть в окопе и наблюдать за рекой.

Потемнело. Порывами налетал ветер. Холодный и влажный, он приносил с собой новые, бодрящие весенние запахи. Изредка гитлеровцы посылали из-за реки тяжелые мины. Они разрывались с воем и дребезжанием. После очередного разрыва гул долго стелился по земле, отдаваясь запоздалым эхом на опушке дальнего леса.

Река жила своей жизнью: квакали в зарослях осоки и камыша лягушки, гудели водяные быки, плескалась рыба.

Зайцев лег на дно окопа, каблуками выдавил в песке ямку, чтобы можно было вытянуться во весь рост, закурил. Он напряженно обдумывал то, что сообщил ему вернувшийся сегодня утром из полевого госпиталя земляк, пекарь из поселка Таштагол Федосеев. Федосеев, по его словам, встретил в госпитале Надежду Виноградову. Она — медсестра, мужа потеряла в первые месяцы войны. Узнав, что Зайцев в одной роте с Федосеевым, просила передать ему привет. Перед отъездом она виде-

лась с Прасковьей, дома все благополучно. В который раз вспомнив об утреннем разговоре, Зайцев неожиданно для себя спросил:

— Ты зачем сказал, что я с тобой служу?

Федосеев свертывал папиросу. Подняв голову, удивленно переспросил:

— Ты о ком это? — Потом понимающе протянул: — А-а, ты, слышь, вроде ухлестывал за ней?

Младший сержант промолчал. И только мрачновато смотрел в окружённые густой сетью морщинок глаза немолодого уже солдата. Потом, подумав, что, в сущности, ничего больше уже не связывает его с Надеждой, признался безразличным голосом:

— Давно это было...

— Ай-яй! — покачал головой Шахутдинов, казанский татарин. Рослый, чернобровый, смуглый, он сидел на дне окопа, поджав под себя ноги.— Как можно от хороший девушка отказываться? — По-русски Шахутдинов говорил неуверенно.

И Шахутдинов стал рассказывать, как полюбил он свою теперешнюю жену Муниру — как два года робел, не мог сказать ей решительные слова, как пышно и весело справлялась свадьба и как счастлив он был с молодой женой.

Зайцев слушал очень внимательно. Ему нравилась та искренняя нежность, с какой говорил Шахутдинов о своей Мунире. Невдалеке разорвалась мина. Сизый, вонючий дым обволок окоп.

Шахутдинов замолчал, выглянул наружу. За кустами, в лощине, прозвучали слова команды: «Прицел ноль двадцать... двумя снарядами... беглый... огонь!» Снаряды прошелестели высоко над головами, разорвались за рекой. Затакал станковый пулемет. Пулеметчик выпустил очень длинную очередь, трассирующие пули замелькали над водой, бросив на нее колеблющиеся красноватые отсветы. Взошла луна. Она осветила середину реки тусклым зеленоватым светом.

Зайцев, лежа в задумчивости, чуть слышно щелкал языком.

— Ты, Федосеев, памятник на Кандоме видел? На повороте, где река к Медвежьему логу поворачивает?

Федосеев молча кивнул.

— Откуда он взялся, знаешь?

И, не дождавшись ответа, Зайцев стал рассказывать. Лица его не было видно, но зажженная папироса, которую он держал в руке, вычерчивала в воздухе замысловатые фигуры: помогая себе, Зайцев взмахивал рукой.

— Кривополенов говорил, механик МТС, человек знающий, умный, болтать не станет...— Зайцев повернулся к Шахутдинову, показывая этим, что поясняет для него.— Речка у нас горная, быстрая, по ущелью течет, а кругом горы. На берегу этот памятник и стоит. Из белого мрамора. Девка сидит на глыбе, рукой голову подперла и вроде плачет... Так вот, в давнюю пору, еще до революции, гнали по этапу партию арестантов. Известное дело: бродяжки, разнесчастный народ, а есть и отпетый. Промеж них человек пять революционеров. Пригнали ту партию к новому острогу. Построили на дворе. Вышел смотритель острога, стал делать перекличку. А Настя, дочь его, сперва из окна посматривала, а потом тоже во двор вышла. Стройная была барышня, на лето приехала к отцу. Глянула она на новеньких, а там — Петр, студент, суженый ее. Узнала его, побледнела, знак дала. И Петр узнал, голову вниз опустил... Ты, Федосеев, посматривай на речку,— прервал себя Зайцев,— луну-то тучка закрыла. Если что задумал ганс — самое сейчас для него время... Повели каторжных в острог. И вышло тут у Петра со стражником неудовольствие. Дал ему Петр раза, да такого раза, что стражника водой отливали и давали нюхать нашатырный спирт. Хлипкий был. А на следующий день принародно выпороли Петра. Экзекуцией называлось. И любимая тут же за окошком в отцовском домике. В лазарете свиделись Петр и Настя. Настя говорит: «Я теперь тебя еще больше люблю. Поправишься — и убежишь, я тебе помогу». Сумела Настя вывести Петра из острога. И сама захотела в горы его проводить. А тут погоня. Настя задержалась, стала на стражников камни скатывать. А стражник, тот хлипкий, которому Петр раза дал, прицелился — и упала смотрителева дочка...— Зайцев приподнялся, свернул новую папиросу, прикурил.— Ну, а тут и грянула революция, повалились остроги. Так Петр этот, рассказывают, каждый год в наши места ездил, в отпуск. Года за три и выбил он этот памятник. Мастер он, выходит, в этом деле был. Ему говорят: «Вы бы в другом месте, в людном, памятник этот поставили, в нашей глуши вашу работу никто не увидит». А он отвечает: «Места ваши

через десяток лет очень людными будут. Тут у вас,— говорит, — и золото, и железо, и уголь, и редкие камни...» Понимал человек, что говорил...

Зайцев умолк, снова задумался.

Федосеев насторожился, шепнул:

— Никак, плывет...

На лунной дорожке возник силуэт лодки, явственно послышался плеск весел. Шахутдинов приник к пулемету. Зайцев и Федосеев навели автоматы.

Темная тень метнулась над окопом, кто-то спрыгнул и стал в яме рядом. Маркелов, секретарь комсомольской организации:

— Как тут у вас?

— Никак, плывет,— повторил Федосеев.

Маркелов склонился над бруствером, потянул за собой Шахутдинова; сам того не замечая, сильно стиснул его локоть.

Широкая, видимо резиновая, лодка пересекала лунную дорожку. В лодке было двое или трое.

— Разведка... Сейчас мы их,— вполголоса проговорил Маркелов.

— Руку пустите, товарищ лейтенант, больно, собью прицел,— шепнул Шахутдинов.

— Огонь!

Пули зашлепали по воде вокруг лодки. Полный ужаса крик пронесся над водой. Шахутдинов вставил новый диск. Никем не управляемая лодка поплыла вниз по течению. Со свистом стал выходить воздух из пробитых пулями резиновых баллонов. Зайцев одну за другой пускал по направлению к лодке осветительные ракеты. Два гитлеровца безжизненно свесились с бортов. Один из них упал в воду, лодка поплыла быстрее.

Река ожила. Замелькали трассирующие пули. Тяжело ударили минометы.

Бойцы снова разместились на дне окопа.

— Памятник-то, говоришь, и посейчас стоит? — после долгого молчания спросил Шахутдинов.

— Какой памятник? — удивленно отозвался Маркелов, решивший, что Шахутдинов обращается к нему.

— В нашей, значит, местности...— начал было объяснять Зайцев.

Но Маркелов уже не слушал. Пристально всматриваясь во что-то перед собой, он задумчиво проговорил:

— Коли ладно воевать будем — глядишь, кому-нибудь и из наших ребят памятник поставят после войны.

12

Старая Русса, Пола, Крестцы, Валдай — древние, застроенные невысокими каменными домами города; Ловать и Пола — неширокие, полноводные реки, что бегут близко и в одном направлении — к озеру Ильмень, но не сливаются; проселки, поросшие травой, болота, лесные ручьи с бурой, пахнущей прелью водой... Ветры тут дуют разные — с Балтийского моря, с больших озер,— и все одинаково шуршат песком, собирают в кучи и разбрасывают прошлогодние листья.

...Векшин спит, и в снах ему мерещатся несуразности: высокие дома, многолюдство, площадь, а на ней, на скверике, около фонтана,— неизвестное допотопное животное. Ног у животного шесть пар, и все толстые, как тумбы, а голова, как у бегемота. Милиционер в белом кителе, стоя в отдалении, тревожно свистит в металлический свисток. Потом на площадь какие-то парни выкатывают «сорокапятку» и начинают беглым огнем бронебойно-зажигательными снарядами палить по животному. Прохожие шарахаются в стороны...

Векшин пробуждается. Явь встречает его душным зноем в полутемном блиндаже. Заспанный, он выходит с биноклем в руке и смотрит на речку, раскинувшуюся внизу, под невысокой горой. Потом прокрадывается в поросшую кустарником лощинку.

Где-то за лесом действительно стреляет пушка. Шелест снарядов разносится рекой, разрывы их поднимают на воде рябь. Но нет ни многолюдной площади, ни неизвестного животного, ни прохожих, ни милиционера. Широкая, изрезанная причудливо изогнутыми траншеями, вся в воронках равнина залита слепящим солнечным светом. Позади траншей видны два пояса минных полей, огороженных березовыми и осиновыми вехами. Трава на них густая, нехоженая, а сами минные поля чем-то напоминают бездонные, поросшие зловещей пышной зеленью болотные трясины.

Векшин круто поворачивается, наводит бинокль на противоположный берег. Там, в побитом снарядами сосновом лесу, противник. Через реку доносятся удары топора.

«Блиндажи строит фашист»,— решает Векшин. Он вкладывает бинокль в футляр, ложится на траву, лицом вниз, и наблюдает за муравьями.

Муравьиная возня скоро ему надоедает. Он переворачивается, смотрит на небо. Внизу тишина, а там, в вышине, наверное, сильный ветер — белое, резко очерченное облачко, будто под парусом, быстро плывет к горизонту.

Неожиданно в воздухе возникает нарастающий громкий рокот. Над окопами, низко над землей, проносится звено штурмовиков. Секунда — и они уже над лесом. Слышны очереди крупнокалиберных пулеметов и выстрелы реактивных установок. В лесу — взрывы. Дым витками поднимается над деревьями. Векшин встает на ноги и видит, что бойцы выскочили из окопов и, оживленно переговариваясь, наблюдают за работой штурмовиков. Векшин знает, что фашистам сейчас не до стрельбы, но демаскировать окопы все же не следовало бы.

Он возвращается на командный пункт роты. Штурмовики скрылись из глаз, гул их становится едва слышным. Только теперь начинают стрелять немецкие автоматические скорострельные зенитные пушки.

Бойцы уже попрыгали назад, в траншеи.

— Здорово наши работают!

Солдаты улыбаются. Всех особенно веселит запоздалая, бесцельная трескотня зениток.

В траншее показывается Маркелов со свернутыми в трубочки газетами в обеих руках: круглолицый, со спадающим на лоб чубчиком, придающим ему мальчишеский, озорной вид. Он хлопает себя газетами по бедрам, и все его тело дрожит от безудержного заразительного смеха.

— Палят все, палят, а они уж, наверно, над аэродромом!

Маркелов — лучший в батальоне агитатор. Солдаты любят его за находчивость, острое словцо, за интимный, непринужденный тон во время политбеседы. Маркелов заметно подражает Балину: он таким же, как и Балин, озабоченным и в то же время машинальным движением вынимает из кармана табак и угощает солдат (ни Маркелов, ни комиссар не курят); ходит так же, как Балин,— неторопливо, покачивая плечами, а иногда даже окает. Свою веселость он старается сдерживать, но это ему не всегда удается.

— Куда? — спрашивает Векшин, искоса посматривая на газеты.

— К пулеметчикам,— отвечает Маркелов, вынимая из кармана жестяную банку с табаком.— А завтра после обеда к вам,— обращается он к обступившим его бойцам.

В углу на чурбаке сидит связист, рядовой Растеряев. Веревочками он привязал к уху трубку, чтоб не придерживать ее рукой; веревки перекрещиваются около рта, и кажется, что Растеряев ради смеха надел на себя собачий намордник. Растеряев не дремлет, хотя вместе с Векшиным не спал ночь, а с интересом слушает.

— Что там? — спрашивает Векшин.

— Так что... новая сестра.

— Какая сестра?

— Так что... нам неизвестная. Из полевого госпиталя. Говорят, к нам в батальон перевели.

Растеряев обычно все фразы начинает с ничего не означающих слов «так что». Векшин пробовал отучить его от этой привычки, но выяснилось, что в детстве, напуганный в лесу молнией, Растеряев сильно заикался, поэтому стал произносить любую фразу с этих слов, дающих ему время, чтобы подготовиться к произнесению дальнейшего. Заикание с годами прошло, а привычка осталась.

Старший лейтенант берет трубку, вслушивается в прерываемый зуммером разговор дежурных связистов.

— Прошла,— сообщает молодой крикливый голос.

— Из себя-то, спрашиваю, какова?—скороговоркой, видимо совестясь своего любопытства, осведомляется басок.

— При больших достоинствах женщина,— авторитетно оценивает третий.

— Эй, там! — обрывает беседу резкий, уверенный начальнический голос.— Прекратите болтовню. Одиннадцатого мне.

Одиннадцатый — это Векшин. Он нажимает клапан и откликается. Говорит Еремеев, комбат.

— К тебе сейчас медсестра придет, прививки делать. Вышли связного... Прививки всем без исключения! И последи, чтобы все вели себя достойно, никаких глупостей— отвыкли от женщин... — Комбат секунду помолчал, подышал в трубку.— Впрочем, не надо, не предупреждай своих людей. Сами должны понимать.

Векшин передает Растеряеву трубку и выходит из блиндажа. Это первая в батальоне женщина. Он не-

много взволнован. Ведь он и умыться-то имеет возможность не каждый день, и кажется ему, что и говорить с женщинами разучился.

Старший лейтенант достает из кармана гребешок, вынимает из кобуры запасную пистолетную обойму и, смотрясь в ее нижнюю блестящую пластинку, старательно причесывается. Черт возьми, ведь он, помнится, два или три дня назад мыл голову, но волосы почему-то слиплись и торчат во все стороны. Векшин прикрывает волосы пилоткой и вздыхает раза три подряд. Потом идет в соседний блиндаж и посылает Кунькина на командный пункт батальона.

— Лейтенанта медслужбы, сестру, сюда приведешь... Иди по центральной траншее, впереди; да не обнаружь себя, пониже наклоняйся. Храбрость свою в бою покажешь...

— Каку таку сестру? — повторив приказание, с веселым недоумением спрашивает Кунькин и, прежде чем уйти, делая вид, что не замечает улыбки командира роты, прихорашивается, наклонившись над котелком с водой.

Через полчаса в траншее показывается Кунькин. На его грубоватом, добродушном лице торжественность. Идет он неторопливо, непривычно мелкими шажками, часто оборачивается и предупреждает несвойственным ему кротким голосом: «Здесь ступенечка!.. Здесь снаряд шмякнулся, воронка!.. А тут налево!» Вслед за Кунькиным идет сестра, молодая, стройная женщина. Она с любопытством смотрит на блиндаж, на сосновый лес, раскинувшийся на противоположном берегу реки. Шествие замыкает новый в батальоне санинструктор, рыжеватый парень в стальном шлеме и, несмотря на жару, в плащ-палатке. Он часто поглядывает за реку, видимо опасаясь неожиданного огневого налета.

— По вашему приказанию лейтенанта медслужбы привел,— щелкнув каблуками, молодцевато выкинув в сторону руку и приложив ладонь к пилотке, докладывает Кунькин.

Векшин, не стесняясь, в упор глядит на сестру. Высокая, она одета в светло-серую, туго перетянутую ремнем гимнастерку и узкую синюю юбку. У нее мелкие, жемчужные, кажущиеся прозрачными зубы, большие, сильные руки, сквозь кожу которых просвечивают голубоватые

жилки, длинные темные ресницы, наполовину скрытые пышными волосами маленькие уши.

Очень жарко, и сестра, полуоткрыв рот, дышит тяжело, неровно. Векшин улавливает забытый уже запах духов и какого-то лекарства. Он гостеприимно указывает на блиндаж.

В блиндаже духота сначала не чувствуется. Пахнет глубинной землей, грибками, усеявшими бревна, и сыростью. В углу, на земляном возвышении, наложены доски, прикрытые свежей травой,— это постель. На траве лежит векшинская шинель. А на ней, около зеленой фронтовой петлицы, крупная зеленая лягушка. Человеческие голоса не пугают ее — злыми выпученными глазами она рассматривает людей.

Женщина вздрагивает, лицо ее болезненно морщится. Она хватает Векшина за рукав гимнастерки и, бессознательно загораживаясь им от лягушки, тянет его вверх по земляным осыпавшимся ступенькам, к выходу из блиндажа.

Куныкин, с интересом следя то за медсестрой, то за лягушкой, все тем же несвойственным ему кротким голосом поясняет:

— Лягва болотная, зеленая... Она не кусается, так только прыгает... Безвредное животное...

Векшин сквозь нагретую солнцем бумажную диагональ ощущает на своем теле горячую женскую руку. Потом вместе с Куныкиным начинает охоту за лягушкой. Растеряев не может отойти от телефонного аппарата; держась на согнутых локтях, он вытягивает ноги, брыкается, кричит, как на кошку: «Так что... брысь, стерва пучеглазая!» Лягушка прыгает с места на место, пока ее не вышвыривает вон из землянки кованный железом, редкостных размеров куныкинский сапог.

— А полагают, медики ничего не боятся,— улыбаясь, говорит Векшин.— Не любите?

— Боюсь,— сознается сестра и протягивает руку: — Давайте знакомиться: Виноградова Надя.

Она садится на траву и роется в своей оттопыренной полевой сумке. Санинструктор уходит в расположенный вдали пулеметный расчет.

— Есть хотите? — спрашивает Векшин после молчания.

— Хочу,— просто отвечает лейтенант медицинской службы,— и пить тоже... Скажите, в вашей роте есть боец Зайцев? — спрашивает она и поясняет: — Это мой земляк.

Они закусывают жареным, пойманным Кунькиным окуньком и пшенной кашей. Выпивают по большой жестяной кружке разварившегося, остывшего чая.

— Еще хотите?

— Спасибо, хватит,— отвечает сестра и облачается в белый халат.— Начнем.— Она вынимает шприц, склянку со спиртом, ворох ампул.— Снимите рубашку.

Векшин покорно стягивает гимнастерку. Ему немного совестно за свое по пояс обнаженное тело. Он терпеливо ждет, пока сестра протирает влажной ваткой место для укола и делает укол. Следующий — Кунькин. Рослый, здоровенный, он с опаской поглядывает на шприц, жмется, топчется на месте, потом говорит неуверенно:

— Я, товарищ медсестра, насчет щекотки боязливый...

— Ничего,— сухо обрывает его сестра.

В блиндаж поочередно заходят солдаты. Для Виноградовой — это боевые товарищи, и каждому из них сестра говорит:

— Будем знакомы. Виноградова.

Векшин встречает солдат у входа в блиндаж. Последним входит Зайцев. Лицо у него серьезное, раскосые смешливые глаза насторожены.

Увидев его, Надя кладет шприц. Одного только взгляда достаточно им для того, чтобы понять: теперь все будет совсем не так, как было раньше. И оба, обрадованные этим и взволнованные, заводят разговор о родных местах и общих знакомых.

Через десять минут Виноградова уходит во вторую роту.

А Зайцев, выбравшись из землянки, упругим прыжком взобрался на песчаный бруствер, пополз по опаленной пожарищем черной траве. Остановился у продырявленной снарядами саманной стенки, оставшейся от сарая, и глянул сквозь отверстие на окопы противника.

Впереди, словно из-под земли, слышались звуки губной гармоники. Зайцев прислушался к чужой веселой мелодии, попытался определить по звукам расположение вражеского окопа. В нескольких шагах от стенки, среди груды битого кирпича, раздались спорящие русские голоса.

«Боевое охранение... Расшумелись...» — сообразил Зайцев и, подняв комок земли, бросил им в кирпичи. Голоса смолкли, и Зайцев почувствовал на себе внимательный, изучающий взгляд. Над покрытыми грязью осколками кирпичей увидел он два серых немигающих глаза и погрозил пальцем. Глаза исчезли.

Зайцев осторожно перевернулся на спину, вытянулся на земле, прижавшись головой к податливой сырой стенке.

Назойливо гудел шмель. В мертвой траве не с чего ему было собирать взяток, потому, видно, и гудел он рассерженно. Носком сапога Зайцев отшвырнул мохнатого жучка. Гудение шмеля отдалилось, потом снова приблизилось.

«Не отогнать мне шмеля от стенки, а от себя—дум»,— решил Зайцев, поняв, что солгал он себе, а глаза солгали Наде, будто и для него все будет не так, как было раньше. Прошлое нахлынуло на солдата с новой силой. Как случилось, что женщина, которую он любил, снова вошла в его жизнь?

Пулеметная очередь прошлась над головой. Одна из пуль ударилась о камень и с противным визгом рикошетом отлетела вверх. Во вражеском расположении явственно послышались слова команды; одна за другой три мины взорвались в глубине нашей обороны.

Зайцев отполз в ход сообщения, присел на корточки...

Видно, правду говорят: топором не вырубить из души первую любовь, молотом не расколоть, огнем не сжечь...

13

Еремеев и его заместитель по политчасти Балин сидели на груде битого кирпича на наблюдательном пункте, в укрытии, сделанном под печкой сожженного дома, рассматривали журнал боевых действий и вполголоса спорили о том, как в дальнейшем следует его вести. Еремеев полагал, что в журнале надо отмечать лишь наиболее важные события в жизни части, а не заполнять его малозначительными, однообразными фактами. Балин же считал, что в журнале должна отразиться вся история воинской части и записывать надо, день за днем, каждый факт.

— Нет, ты посмотри,—говорил Еремеев посмеиваясь:— «18 июля 42 года — методический огонь тяжелых миноме-

тов. Батальон занят укреплением обороны...»; «21 июля — противник вел ожесточенный артмин- и пулеметный огонь...»; «26 июля — гитлеровцы с 8.00 до 21.30 вели методический артминогонь. Потерь нет...»

— Обобщать — это дело будущего, а сейчас именно такие записи и нужны,— возразил Балин.— Ты, Петр Степанович, не расценивай все с точки зрения сегодняшнего дня, загляни и в завтрашний день... Представь себе, через десяток лет кто-нибудь возьмет наш журнал и начнет листать. «А как же воевали эти сибирячки?» — подумает. Откуда же мы сейчас знаем, что ему покажется самым важным и интересным?

Еремеев улыбнулся каким-то своим мыслям и примирительно сказал:

— Пусть будет по-твоему.

Балин спрятал журнал в кожаную пухлую полевую сумку, вынул из кармана большие серебряные часы:

— Семь минут осталось, Петр Степанович.

Наблюдательный пункт, оборудованный в развалинах на высоком и обрывистом полуостровке, образованном крутым изгибом реки, вклинивался в расположение противника. Противоположный берег реки был занят гитлеровцами. Точно повторяя изгибы реки, змеилась по берегу дорога.

Через семь минут должно было начаться наступление, в котором батальон не участвовал. Он лишь обязан был поддерживать наступающих всеми огневыми средствами и снабжать их сообщениями о действиях и предполагаемых замыслах противника.

Поле боя было хорошо видно. Балин слегка волновался: смотреть на бой со стороны, все видеть и оставаться безучастным наблюдателем казалось ему нелепым. На решающем участке боя, на северной окраине села Большие Дубовицы, бойцы соседней дивизии будут наступать лицом к наблюдательному пункту. Прилаживая стереотрубу, ожидая первых залпов, Балин думал о прихоти войны, втиснувшей его свидетелем в середину боя. Чтобы отвлечься от своих мыслей, Балин достал из кармана гимнастерки полученное несколько дней назад письмо от дочери. Вынул из конверта карточку, протянул Еремееву.

— Твоя, Аркадий Сергеевич?.. Школьница? — с интересом рассматривая фотографию, спросил Еремеев.— Вижу, твоя: глаза такие же, и подбородок, и нос — все твое...

— Наташка, дочка,— горделиво подтвердил Балин.— Перед войной восьмой класс окончила, сейчас работает... В энергетический институт хочет поступать.

— Вот после войны...— Еремеев не договорил.

Лицо Балина, когда он вспомнил о дочери, изменилось. Перед Еремеевым стоял добродушный, озабоченный, немолодой человек, забывший обо всем.

— Трудно, комбат, с девчонками... В чьи-то руки достанется... Много ведь еще всяких пройдох да подлецов...

— Вот после войны...— снова начал и снова не договорил Еремеев.

Семь минут минуло. С лица Балина медленно сходило выражение добродушной озабоченности.

Бой начался с артиллерийских залпов.

Осколки перелетали через реку, и Балин, войдя в неглубокий, осыпавшийся окоп, внимательно оглядел в бинокль расположение батальона. Все солдаты были надежно укрыты.

Когда он вернулся на наблюдательный пункт, наша артиллерия уже перенесла огонь на дальний молодой лесок, а на усеянном обломками, взрытом снарядами поле, около крайних домиков села, стали рваться мины. В глубине поля, вдоль дороги, по траве двигались танки с красными звездами на бортах и стволах пушек. Мчались они по три в ряд и издали были похожи на тройки вороных коней. За ними неширокими разводами поднималась пыль.

За танками, в дыму и пыли, виднелись фигуры людей, в паузах между разрывами мин и снарядов слышалось негромкое, еще неуверенное «ура».

Балин приник к биноклю; в стереотрубу, не отрываясь, что-то шепча и подергивая плечами, смотрел Еремеев.

Танки скрылись в лощинке, потом появились снова. С ходу ворвались в село. Показалась пехота. В цепях наступавших рвутся мины. Оживают все новые и новые огневые точки гитлеровцев. Огонь усиливается. Вырывается одинокий голос: «За Родину!» Это крикнул, поднявшись из высокой травы, немолодой черноусый воин, судя по наплечному ремню — старшина или старший сержант сверхсрочной службы. Последний слог он не успел выкрикнуть: широко раскинув руки, упал в густую траву. Однако пехота поднялась, побежала, то сбиваясь в кучи, то рассыпаясь по полю.

За разрушенными артиллерией домами, в середине села, показались немецкие танки. Они подошли сюда по большаку из леса, близко подступившего к селу. С воем и скрежетом забороздили воздух болванки. Артиллерия с обеих сторон прекратила огонь, боясь поразить своих. Стало значительно тише и поэтому еще тревожнее. Выбрасывая клубы ядовитого, буровато-черного дыма, задымили два подбитых танка. Один из них был немецкий, выкрашенный серовато-рыжей краской, другой — приземистая «тридцатьчетверка».

Пехота лежала в поле, шагах в двухстах от околицы села.

Высокая, доходящая до колен трава на заливном лугу, опаленная огнем, исчезла, будто срезанная. Обнажилась серая, песчанистая земля. Стая ворон, гнездившихся на сбитых артиллерией ветлах, с тревожным карканьем летала над полем боя, то взмывая ввысь, спугнутая пулеметными очередями, то опускаясь, выискивая место, куда сесть. Танки, приданные наступающей дивизии, расстреляв боекомплект, один за другим возвращались в тыл.

Пехотинцы начали окапываться под убийственным кинжальным огнем пулеметов. Балин отчетливо видел, как то один, то другой из бойцов вздрагивал, переворачивался на бок или на спину и замирал. Настал момент, когда он со всей ясностью почувствовал, что не может более мириться со своей ролью безучастного свидетеля, что ни военные соображения, ни то, что его батальон ослабел и новые потери могут лишить его боеспособности, не оправдают его бездеятельность.

Балин резко опустил бинокль, ремешок больно вдавился в шею. Подошел к Еремееву, тронул его за плечо. Комбат обернулся. Лицо его, покрасневшее, с сузившимися колючими глазами, было искажено гневом. Они поняли друг друга без слов, и Балин почувствовал досаду, что не подошел к Еремееву раньше.

Еремеев схватил трубку телефона.

— Дрюков? Подготовь на всякий случай все плавсредства... Уже присмотрели? Ну вот, ну вот... Составь две группы из умеющих плавать... Да, да... Задача? Переправиться на тот берег, ударить с фланга, уничтожить пулеметы на северной окраине села... Хорошо... Хорошо, говорю, ты поведешь...

Разговор прервали. Еремеева вызвал командир бригады Бурлакин.

— Есть желание помочь соседу? — спросил Бурлакин своим глуховатым, сухим, спокойным голосом, и по тону, которым он произнес эти слова, Еремеев догадался, что Бурлакин понимает его настроение. Еремеев договорился об артиллерийской поддержке, попросил сообщить соседям о десанте.

Переправлялись на трех старых, брошенных хозяевами, протекающих лодках, на бревнах, пустых ящиках. Река была неширокой, но очень глубокой. Дрюков, зайдя по пояс в воду, размещал солдат. На его красивом, оливкового цвета лице с узкими губами и серыми небольшими глазами было выражение нетерпения, дерзости и азарта. Часто озираясь на противоположный берег, он, не стесняясь в выражениях, командовал слегка осипшим голосом.

— Пошли! — резко крикнул он и поплыл боком, загребая правой рукой, держа в левой, поднятой над водой, пистолет в кобуре и планшет.

Дрюков легко опередил всех. Оглядываясь, тяжело дыша, с тревожным, страстным и злым лицом он призывал людей торопиться. Он первым выбрался на крутой и скользкий глинистый берег, припал к земле; потом вернулся к воде.

— Вперед, братцы, вперед... Ура! — в паузе между разрывами снарядов и мин крикнул Дрюков и, опять поднявшись на берег, не нагибаясь, побежал по лугу.

Противник не заметил десанта, группы при переправе не потеряли ни одного человека. Они обрушились на скапливающихся для контратаки гитлеровцев. Фашисты попробовали занять круговую оборону, но было уже поздно. Ободренные поддержкой, поднялись в атаку бойцы наступающего батальона. «Ура!» — с новой, окрепшей силой понеслось над полем боя. Гитлеровцы, отстреливаясь, отступали. Бойцы ворвались в село.

Когда Балин спустился к реке, чтобы встретить возвращавшихся десантников, он увидел, что на противоположном берегу по дороге уже сновали связные, вскачь пронеслась запряженная парой походная кухня с облачком пара над котлом. Низко припав к лукам седел, проехали несколько всадников. У воды на подмытом, обрывистом спуске сидел какой-то солдатик, он снял гимнастер-

ку и сапоги, опустил ступни ног в воду, закурил. В прибрежном кустарнике слышался стук топора и удары лопат о камни.

— Никитенко, голубь, дай-ка бревно-то сюда, — донесся по воде громкий окрик. — И через минуту тот же голос: — Никитенко, биндюжник ты несуразный, сюда, говорю, бревно-то давай, заноси концом-то, заноси, неуклюжий ты человек!

В зарослях примятой к земле осоки появились люди. Балин узнал солдат своего батальона и среди них Дрюкова в порванной, с расстегнутым воротом, загрязненной гимнастерке. Увидев через реку комиссара, Дрюков замахал рукой, как бы обещая рассказать что-то интересное.

В лодки усадили раненых, в ящиках и на бревнах уложили одежду. Солдаты, кто держась за бревна и борта лодок, кто вплавь, ни за что не держась, начали переправляться. Сам Дрюков, не раздеваясь, оседлал круглое, свежевыструганное, с блестевшими на солнце капельками смолы бревно и, загребая доской, оторванной от ящика, поплыл позади солдат. Бревно было будто живое — оно норовило нырнуть в воду, выскользнуть из-под Дрюкова, и он с веселым, напряженным лицом изгибался ловким, статным телом, стараясь сохранить равновесие.

Когда солдаты миновали середину реки, на берег выбежал какой-то командир в выгоревшей, побелевшей гимнастерке.

— Товарищи, спасибо за выручку!.. Не забудем! — закричал он густым басом.

Солдаты оборачивались и благодарно смотрели на командира.

— Не за что! Одной Родине служим! — весело, с заметным волнением крикнул в ответ Балин и, подняв над головой руки, изобразил рукопожатие.

14

Никто толком не знал, почему в летнее время разлилась река. Одни полагали: от дождей, несильных, но продолжавшихся четверо суток подряд; другие высказывали догадку, что дожди лишь усилили разлив, а причина его в том, что где-то вверх по течению прорвало плотину; третьи, ссылаясь на карту, утверждали, что плотин на

реке нет, и за необычным ее поведением видели очередное неразгаданное коварство гитлеровцев.

Так или иначе, но почти весь район обороны батальона скрылся под водой, над поверхностью виднелись только колеблемые течением макушки кустов, кроны прибрежных ив, побитые пулями и осколками, обугленные развалины, дымоходы печей, сожженные танки и днища каких-то крупных металлических бочек, которых до наводнения никто не замечал.

Солдаты лежали на буграх, на бревенчатых настилах блиндажей, на броне обгоревших, не вывезенных из обороны танков.

На неширокого лугу между разлившейся рекой и затопленным оврагом Еремеев с группой бойцов пытался отстоять от воды несколько блиндажей. Бойцы спешно преграждали земляной перемычкой ходы сообщения, возводили вдоль берега дамбу, снимали связь.

Сначала все, то и дело отрываясь от работы, с опаской поглядывали в сторону противника: внезапный минометный или ружейно-пулеметный огонь мог застать солдат врасплох и нанес бы большой урон. Но гитлеровцы вели себя не по-обычному спокойно, не стреляли. Как донесли наблюдатели, часть обороны противника тоже затопила вода.

Солдаты саперными лопатками взрезали дерн и ходко накидывали насыпи. Насыпи быстро росли, огибая полукольцом возвышенность.

Еремеев перелез через дамбу и, прислонившись к стволу засохшего, лишенного коры старого тополя, долго смотрел на расстилающуюся перед ним водную гладь. Легкий ветерок гнал по воде рябь; по течению — медленно у берега и стремительно по стрежню — плыли обломки, бревна, щепки. Вода была мутная, желтоватая. За дамбой слышались озабоченные, деловитые голоса, шуршала земля. «Стараются!» — с неясным, похожим на нежность чувством подумал Петр Степанович о солдатах, и ему захотелось хоть на минуту забыть, что он их командир, обойти всех, пожать руки и пообещать самое лучшее — скорую победу и мирную, полную глубочайшего смысла жизнь.

Но до победы — Еремеев хорошо знал это — оставались еще долгие месяцы, и не мог он пока ничего обещать своим солдатам, кроме окопной слякоти, свиста

пуль, воя мин, смрадного дыма, тридцатикилометровых изнурительных маршей, атак и контратак.

Еремеев подошел вплотную к дамбе. Увидев вернувшегося из штаба бригады старшего лейтенанта Векшина, он замахал ему рукой, подзывая к себе. Векшин только что в одежде переплыл через разлившийся ручей и с полкилометра прошел по пояс в воде. Громко дыша, он выбрался на сухое место и направился к комбату.

— Что делать будем, инженер? — спросил Еремеев, слегка улыбаясь. Он хорошо знал, что сейчас не поможет и самый дельный совет.

Хмурясь, листая в памяти страницы институтских учебников, Векшин заговорил об условиях фильтрации и каком-то таинственном уклоне кривой депрессии. Работавшие поблизости солдаты с интересом прислушивались к его словам и усмешливо переглядывались. Заметив эти переглядывания, Векшин оборвал свои ученые рассуждения и, поплевав на ладони, взявшись за лопату, прикрикнул:

— А ну, давай, ребята, жми!

Поднялся сильный ветер. Снова пошел дождь. Вода зашумела, забурлила. Прилетевший из занятого противником темневшего на горизонте леса одинокий снаряд разорвался невдалеке от дамбы. Осколки и комья грязи долго шлепались в воду. По реке, то затихая, то вновь усиливаясь, прошел гул...

Еремеева позвали в блиндаж, к телефону. Командующий артиллерией спросил, укрыты ли солдаты и можно ли открыть огонь по обороне противника. Петр Степанович, опасаясь ответного обстрела, попросил немного подождать. После этого он послал связного узнать, прибывает ли вода. Связной доложил, что да, прибывает, на палец за полчаса. Услышав крики и шум, Еремеев вышел наружу.

Со стороны реки вода подступила к дамбе и остановилась, но от оврага она незаметно, по траве, надвигалась к центру луга. Всем стало ясно, что луг и блиндажи на нем не отстоять.

Солдаты бросили работу. Опираясь на лопаты, кто с усталым безразличием, кто с интересом, они смотрели по сторонам. Ручей пробился к блиндажу, из которого только что вышел Еремеев, и с шумом и звоном обрушился на земляные, усыпанные мелкими камнями ступени. Бой-

цы побежали спасать оружие и вещи. Минут через пятнадцать блиндажи затопило.

Еремеев приказал Мурашкину вести солдат через овраг к опушке соснового леса и сам вместе с Векшиным и Мизюркиным стал расставлять по буграм пулеметные расчеты. Они долго ходили по воде, увязая в грязи, поддерживая друг друга.

— Ты понимаешь, инженер (только так именовал в этот день комбат Векшина): в одних местах избыток воды, в других — недостаток... — неожиданно ворчливо заговорил Еремеев. Он остановился на неудобном, топком, низменном месте и в воде подтянул рукой голенища увязавших в грязи сапог.

Векшину было не до разговоров. Лицо его посинело, губы дрожали от холода.

— Тут ручной пулемет поставим. — Он указал на крупные камни, наваленные на перекрытии затопленного дзота.

— Здесь для станкового хорошая позиция, — сухо проговорил Еремеев.

Они присели на камни, закурили. Подошел Балин, сел рядом.

— Сыро?

— Точно... Сыро.

Балин отстегнул от ремня баклажку, протянул Векшину. Все выпили по нескольку глотков. Водка согрела, оживила. Балин посидел с минуту в задумчивости, встряхнул головой, словно силясь припомнить что-то забытое, молча поднялся и пошел к батальону, в лес. Долго слышалось, как хлюпала под ногами Балина вода.

Расставив по местам расчеты двух станковых, четырех ручных пулеметов и наблюдателей, Еремеев, Векшин и Мизюркин направились к разбитому танку, где был установлен телефон. Провод лежал в воде, и поэтому слышимость была плохой. Еремеев кричал в микрофон:

— ...всех вывел, кого можно... Огоньку дайте... Огоньку, докладываю, дайте... Да, да, огоньку!

И прерванная на затопленном участке война возобновилась. В тылу рассерженно заревели реактивные минометы. Снаряды с тяжелым пыхтением, перегоняя друг друга, выкидывая завитки белого дыма, пронеслись в небе и замолотили, забарабанили за передним краем.

Гитлеровцы открыли ответный огонь из шестиствольных минометов. Дым сизыми полосами стал расходиться над водой. Сверкая белыми животами, поплыли по воде оглушенные рыбины.

Мизюркин, хлебнувший из балинской баклажки и поэтому почувствовавший себя в присутствии начальства свободно и непринужденно, разговорился:

— Я, товарищ капитан и товарищ старший лейтенант, так полагаю: раздолбать бы нам фашиста, а там все закрутится-завертится! У нас в Сибири, скажем, воды сколько полагается — ни много, ни мало. А в вашу сухую местность, может, отсюда трубу проведут... Очень даже просто: выложат кирпичную трубу и пустят воду... Гвоздь-причина всего — равномерность нужна...

Еремеев, держа перед глазами большой десятикратный бинокль, одобрительно крякнул.

— Да ты у меня мыслитель! Ну что ж, так и надо. Смотри вперед. Что бы в жизни ни случилось — тяжко ли будет, совсем ли плохо, — всегда смотри вперед...

И сам Еремеев сквозь стекла бинокля смотрел вперед, туда, где среди развалин мелькали в воде фигурки вражеских солдат.

15

Погода была нелетная — туман и бескапельный, моросящий дождь. Еремеев разрешил в отдалении от расположенного на отдых батальона развести огонек.

Вокруг костерка, на берегу говорливого овражного ручья, собрались бойцы. На поваленной березе присели Куныкин, Федосеев, Шахутдинов, Мизюркин, напротив них на большом мшистом валуне, поджав под себя ноги, пристроился Зайцев. Сухощавый, кряжистый, в рыжей выцветшей плащ-палатке, с нахлобученным на голову капюшоном, он чем-то напоминал крупного краба, вылезшего на берег из морской пучины.

Зеленая макушка березы лежала в ручье, и вода бурлила, пенилась и звенела, пробиваясь сквозь листья и ветки. Хворост плохо горел на влажном воздухе, едкий дым в предвечернем безветрии то столбом поднимался ввысь, то стелился по дну оврага, щипал глаза, понуждая солдат жмуриться.

На мокрой траве не разоспишься — потому люди коротали время за солдатскими байками, выжидали, пока

усталость не свалит с ног и станет безразличным, мокрая ли, сухая ли земля.

Глядя безотрывно в огонь, скрипучим, словно каким-то обиженным, голосом Зайцев повел рассказ про своего деда. Говорил он, как всегда, очень серьезно, и ни голос его, ни выражение лица не позволяли усомниться в подлинности событий.

Солдаты знали заранее: не обойдется в новой зайцевской истории без большой, вдребезги разбитой любви, будет и бесшабашное вранье. Наиболее проницательные догадывались, что приоткрывает он в своих рассказах и уголок собственной души.

— ...А предки наши с Урала, — вел свой рассказ Зайцев. — Дед мой кряжистый был мужчина, силу имел, служил в коннице. Приехал он в родные места на побывку, посватал девушку Катю. А девушка Катя, говорили, не красавица была, да глаза имела чистые, косы — до коленок, голос ласковый. На сговоре выпили, вышли на крылечко провожать служивого. Поклонился дед невестиным старикам в ноги, Кате особо, сказал на прощание: «Помни, Катя, про слово свое...» — Зайцев поклонился, коснувшись лбом камня, поросшего молодым кудрявым мхом, и на лице его отразилась горечь прощания, хорошо знакомая и памятная солдатам. — В то время кампания открылась: братьев славян от турка вызволяли. Вместе с полком приехал дед в город Сливну. Завязались бои. Тут и показал мой дед небывалое геройство. В разведке ли, в дозоре ли, в боевом ли охранении — всюду службу нес отлично, а в бою — впереди всех, шашкой-дончихой старается, дорожку промеж турок пробивает... — Поднявшись на ноги, Зайцев принял воинственный вид, крутыми взмахами руки изобразил ратные подвиги деда и, не удержавшись на камне, сполз вниз. Снова взгромоздившись на валун, откинув капюшон плащ-палатки, он оглянулся на товарищей и, убедившись, что все слушают его очень внимательно, заговорил громче, увереннее: — За короткое время заслужил дед три Георгия, стал о четвертом подумывать, чтоб с девушкой Катей свидеться... Георгиевских кавалеров, как военные действия кончались, отпускали на побывку, — пояснил Зайцев. — Тут случай представился: в бою турки полкового командира окружили. Дед мой налетел вихрем, семерых турок порубил. Остальные хотели дать бежка, да тут дедов конь

оступился. Турок один налетел да кривой своей саблей — трах! — Зайцев покачал головой, примолк на минуту, словно одолели его тяжкие семейные воспоминания. Солдаты сочувственно переглянулись. — Дедова голова скатилась на грудь, по самые плечи срубленная; хлынула кровь... — Зайцев взялся за голову, будто удостоверясь, на месте ли она, и заговорил торопливо, скороговоркой, как об обычном: — Но одна жила в целости осталась. Обхватил дед голову руками — и карьером в лазарет. Дышать не может, видеть-слышать не может, да конь сам догадался, куда скакать, — умный был. Въехал конь в операционную палатку, сполз дед с седла на стол. Хирург поглядел на него, покачал головой. «Долгая конвульсия», — сказал ученое слово, а сам пошел к умывальнику руки мыть. — Зайцев искоса опасливо глянул в сторону Куныкина, на лице которого подозрительность давно уже сменилась негодованием. — А сестричка, в белой косынке с крестиком, говорит: «Жалко мне тебя, геройский солдатик». Дед ответить не может, так он кулак показал и мигнул три раза. Сестричка — в обморок. Хирург — маленький такой, кругленький и в роговых очках — подбежал, дал сестричке нашатырного спирта понюхать, деду жилы шелковой ниткой сшил, шею коллодиумом залил, перевязал... «Неужели жив?» — спрашивает. А дед в нервном расстройстве, ответить не может, так он пальцем себя по шее пощелкал. Хирург кричит: «Несите скорее для геройского солдата двести пятьдесят граммов водки, а на закуску банку консервов — судака в томате!» И что же вы думаете? Ожил дед. У сестрички извинения за кулак попросил. «Никак, — говорит, — невозможно мне было иначе показать, что жив я...»

Зайцев, гордый за своего деда, обвел солдат торжествующим, радостным взором, избегая встречаться лишь со взглядом Куныкина. Куныкин поднялся с березки и шагнул к камню. Мизюркин и Шахутдинов, улыбчиво переглянувшись, придержали его за полы плащ-палатки. Тогда Куныкин, возмущенный и покрасневший, стал зло ругать Зайцева за вранье. Смысл его ругани был в том, что не станет настоящий парень морочить враньем головы уставших после марша людей. Куныкина успокоили, и он, подойдя вплотную к костру, стал греть руки, показывая этим, что только огонек удерживает его вблизи от дрянного человечишки — Григория Зайцева. Возму-

щение Куныкина, видимо, отрезвило Зайцева, и младший сержант продолжал, оправдываясь, готовый и на уступки:

— Так рассказывают. Может, конечно, и приврали... После ранения уволили деда из армии. Приезжает он в родные места. А ему говорят, что девушка Катя слово не сдержала, вышла за старого лавочника-кровососа. Выпил дед водки, а в ночь вышел со двора. Ворвался он к лавочнику, зарубил его, а суженой своей говорит: «Прошел я, о тебе думая, через смертные муки, смерть меня не взяла. Пойду я теперь, стало быть, на каторгу. Спасибо, Катя». И пошел из дома, голову опустил и заплакал на женскую любовь...

Зайцев замолк, глядя в огонек, задумался всерьез... И странное дело, должно быть, окончание рассказа Куныкину понравилось: он положил руку на плечо Зайцева и беззлобно проговорил:

— Давай, что ли, спать...

Солдаты выбрались из оврага.

По полянке, меж кустов можжевельника, брел Расторгуев и играл на баяне. За ним молчаливо вышагивали шесть или семь солдат. Зайцев с товарищами присоединился к ним.

Несколько раз прошлись они по полянке из конца в конец. Так, бывало, в деревне ходили они парнями за гармонистом. Только не было сейчас деревенской улицы, не мелькали огоньки в окнах, не слышалось девичьего смеха.

Сумерки сгущались. Дождь перестал. Ракеты, взлетавшие над передним краем, казались в тумане огромными шарами. Глухо доносились взрывы. Слышались привычные окрики: «Стой! Кто идет? Пропуск!»

На ночевку устроились в наскоро сооруженном из еловых веток шалаше. Тесно сгрудившись, солдаты легли на ворох мокрых веток. Долго молчали. Потом Куныкин сонно попросил:

— Зайцев, а ну, давай еще чего расскажи. — И, спохватившись, строго добавил: — Только не ври.

16

Ночь была неспокойной. То завязывалась перестрелка, то все затихало, и лишь по шорохам можно было угадать, что собралось на небольшом участке земли множество бодрствующих людей.

Векшин вместе с Куныкиным вылез из траншеи. Они отправились по болотцу искать удобное место для нового наблюдательного пункта и позиции для снайперов. Недавние сильные дожди заполнили водой пересохшее было болотце.

Неожиданно раздался глухой негромкий взрыв. Векшин подбежал к Куныкину. Тот стоял на одной ноге, как аист, и вполголоса непристойно ругался. Было непонятно, что именно могло взорваться под его ногой — для противопехотной мины взрыв был слишком слабым.

— Может, осколком царапнуло? — спросил Векшин.

Куныкин ощупал ногу и неуверенно ответил, что нет, не царапнуло. Но Векшин знал, что сгоряча он мог не заметить раны, и отослал его в медпункт.

Ходить одному по переднему краю не полагалось, но возвращаться Векшину не хотелось.

Он долго шел, задумавшись. Потом кубарем скатился с какого-то проклятого бугра и больно ударился о дерево. Потирая ушибленную коленку, он поспешно соображал: да, днем он внимательно осмотрел всю местность и готов ручаться, что деревьев в нашей обороне не было. Значит, он должен быть сейчас на ничейной полосе. Тут шутки плохи: до фашистов рукой подать.

Векшин сделал несколько шагов в сторону от дерева. Смрад заставил его остановиться около какой-то доски. Вглядевшись, он сообразил, что доска — оторванная дверь, а рядом трупы. Стараясь не дышать, он ступил на дверь, поднял с земли валявшуюся тут же винтовку и ощупал ее. Оружие было немецкого образца: значит, он на нейтральной полосе, но не рядом с окопами противника, потому что вблизи от них гитлеровцы убрали бы трупы.

Старший лейтенант забрел в заброшенное укрытие, нахлобучив на голову плащ-накидку, закурил, прилег на кучу хвороста. Огонек папиросы выхватил из тьмы край подгнившего бревенчатого наката, два толстых, покрытых плесенью стояка.

Курил он жадно, с наслаждением и чувствовал, что какая-то негаданная и нежданная волна бодрости захлестнула его.

Хорошо, думал Векшин. Хорошо потому, что на небе хоть и тускло, но светит месяц. Хорошо потому, что в кармане есть сухари и махорка, потому, что он верит в

самое лучшее и ждет этого лучшего для Родины и для себя. Хорошо потому, что он ценит жизнь не только на лыжной прогулке, на дружеской вечеринке, за интересной книгой и умной беседой. Нет, ему и здесь, на нейтральной полосе, в двух шагах от врага и смерти, дорога жизнь.

Конечно, на людях было бы лучше, чем в одиночестве, в тепле и уюте удобнее, чем в заброшенном, сыром блиндаже, но ведь кругом расстилалась родная земля, которую наши предки, одетые в посконные длинные рубахи, испокон веков возделывали, поливали потом, за которую дрались насмерть. И нет на свете высшей доблести, чем воевать за родную землю!

Векшин с пистолетом в руке вышел из укрытия, пригнулся под пулеметным обстрелом, прислушался.

Пулемету откликнулся другой. Минуту они полаяли вместе, словно цепные псы на прохожего человека. В стороне закричал кто-то страшным звериным голосом. И слышалась в этом протяжном «а-а!» лишь смертная тоска. «Оттулялся по земле», — с острым чувством жалости подумал старший лейтенант.

То ли шорох, то ли ощущение, что кто-то наблюдает за ним, заставило Векшина приостановиться. И в то же мгновение на него набросились двое. Один ударил чем-то тяжелым по голове, другой схватил поперек тела. Сначала старший лейтенант подумал, что, может быть, это свои приняли его за врага, но, борясь с ними и вырываясь, он разглядел, что это фашисты, и понял, что ему пришел конец.

Один из фашистов стал обшаривать его гимнастерку. И только теперь Векшин вспомнил, что пистолет уже давно в его руке, и сразу же ощутил его в сжатых пальцах. «Как же это я забыл?» — было первой мыслью. «Не упустить мгновения, не ошибиться, сделать все, как надо. Пистолет на предохранителе, — значит, надо ударить ногой в живот того, кто шарит по одежде, и выстрелить в фашиста, который держит наведенный автомат». И он уже выстрелил в одного из гитлеровцев и взмахнул ногой. Но удар пришелся в темноту, а сам Векшин потерял равновесие и опустился на одно колено. Целое мгновение длилась недвижимость. Гитлеровцы, вероятно, оправлялись от неожиданности. Но вот один из фашистов, упав на землю, захрипел, значит, был ранен; другой обхватил

Векшина за горло и пригнул к земле. Было так больно, в голове так стучало, что Векшин уже стал подумывать о смерти. Полузадохнувшийся, видя перед собой красные круги и ничего больше, он вдруг почувствовал, что пальцы на его шее слегка ослабели, и понял, что гитлеровец тянется за пистолетом. Дальнейшее не осмысливалось Векшиным и осталось в его сознании в виде каких-то обрывков: вот он отбежал в сторону и семь раз нажал на спуск пистолета... Поднялся солдат, которого старший лейтенант считал убитым... Пять или шесть темных фигур бежит на него... автоматные очереди... метнулся в сторону... бежит. И радость победы, жизни охватывает его, придает силы. Несколько ракет осветили окрестность. И он узнал укрытие, из которого выходил полчаса назад... «Все!» — вслух выговорил Векшин, прыгая в траншею.

...Прошло пятнадцать минут, и он уже докладывает комбату о происшествии. На командном пункте светло и много народу, все товарищи. Блиндаж качается, и все смотрят на Векшина. Чьи-то мягкие, теплые руки перевязывают ему шею.

Комбат говорит очень громко:

— К сожалению, приходится повторять, что ни при каких обстоятельствах никто, а тем более офицер, не должен ходить по переднему краю без сопровождающего...

Векшин ложится на нижний этаж двухъярусных нар. Ощупывает руки и ноги — все в порядке, только болят шея и язык. К нему подходит медсестра Надя Виноградова и подает наполовину наполненную кружку.

— Выпейте лекарство... Его надо залпом пить, — добавляет она вполголоса.

Векшин выпивает. Ну и крепкая! Надя улыбается. Векшин тоже. Она садится на край нар. Векшин нечаянно прикасается к ее полной, теплой руке. Она не отнимает ее, наклоняется над ним:

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо... Очень хорошо.

Горячность, с которой он это произносит, заставляет Надю улыбнуться. Оглянувшись по сторонам, не слушает ли кто, она тихо говорит:

— У вас глаза зеленые-зеленые... А вы такой неосторожный...

В блиндаже шумно. Люди приходят и уходят. Векшин насилу разобрал слова Нади.

— А у вас глаза синие-синие... Теперь я буду осторожнее...

Надя пристально и недоверчиво смотрит на него, раздумывая, не произнесла ли она каких-либо слов, которые можно расценить, как чересчур ласковые... Ох, эти мужчины: одно не совсем осторожное слово — и они уже вообразят черт знает что! Надя подчеркнуто холодно произносит:

— Ну, отдыхайте... — и отходит в сторону.

Слышится голос Еремеева:

— Наступает праздник... Завтра мы будем слушать праздничный доклад... Заведите-ка машину.

Кто-то возится с патефоном. Пластинка шипит. Векшину мерещится широкая река, залитая солнцем. Волны. Лодки. Красиво. Новая пластинка. Низкий и знойный женский голос. А в песне — шелест листвы, и жаворонок, и полянка в лесу, вся в цветах, и знакомая лишь по песням тройка с бубенчиками.

17

Канун праздника — двадцать пятой годовщины Октября — прошел неспокойно. С раннего утра противник вел такой огонь, что нельзя было поднять голову. Демонстрируя атаку, на переднем крае появились два легких танка. Они остановились перед нейтральной полосой, постреляли из пулеметов, а когда наша артиллерия открыла по ним огонь, поспешно развернувшись, ушли.

Задавшись целью лишить наших людей покоя и сорвать праздник, немецкие минометчики то и дело обрушивали на передний край сотни мин, не причинявших, впрочем, вреда хорошо укрытым людям.

В тылу батальона, в холмистом сосновом бору, готовили праздничный обед. Старший повар Писаренко, в белом колпаке и надетой на гимнастерку полотняной куртке, сидя под столетней сосной-двойчаткой, готовил котлеты из мясного фарша, лежащего на тщательно выскобленной доске. Делал он их мастерски, двумя длинными с узкими лезвиями ножами, не прикасаясь к мясу руками. Собравшиеся вокруг бойцы транспортного взвода с почтительным удивлением смотрели, как Писаренко отрубал

комок фарша, подбрасывал его вверх, перекидывал с ножа на нож, придавая комку форму котлеты и нанося на нее пересекающуюся насечку, и через секунду, готовую к поджариванию, бросал котлету на брезент, на горку размолотых сухарей.

— Это что... Когда я в железнодорожном ресторане работал, приходилось самые деликатные блюда соображать: индейку в брусничном варенье или, скажем, перепелов с абрикосовым желе. Большие начальники ссорились между собой, переманивали, выходит, меня. А почему переманивали? Значит, смысл был... Что для повара главное? Для повара главное — мысль, гордость и чтоб все у тебя вертелось... — рассказывал Писаренко своим многочисленным слушателям.

Среди бойцов транспортного взвода, толпившихся у сосны-двойчатки, был и Зайцев, отпросившийся в тыл для починки сапог. Понаблюдав за мельканием ножей в руках старшего повара, он притворно-заискивающе сказал:

— Ловко ты их... Превзошел науку.

Писаренко хмуро покосился на Зайцева и продолжал свою работу.

Стрельнув в сторону бойцов глазами, Зайцев добавил:

— Только котлета у тебя получается без форса, наивная котлета...

— Это почему же? — не выдержал Писаренко.

— Обжать ее надо, — пояснил Зайцев, — а то как поджаришь — она форму потеряет, хлипкой получится.

— Тебя самого обжать надо... Иди отсюда, — строго посоветовал Писаренко.

Зайцев, решив, что со старшим поваром ссориться не следует, отошел к дымящейся кухне, где боец Пронин огромным черпаком мешал пахнущие мясом и лавровым листом щи.

— Пассировка как, получилась? — вдыхая ароматы кухни, спросил Зайцев.

Пронин, соскочив с кухни и приложив к уху согнутую трубкой ладонь, озабоченно переспросил:

— Как вы сказали?

Увидев, что Писаренко, положив на доску ножи, поднялся на ноги и прислушивается, Зайцев поспешил отойти за деревья. Его окликнул батальонный сапожник Сидоренков. Сняв сапоги, отдав их Сидоренкову и растолко-

вав ему, что надо починить, Зайцев прилег на сырую землю, покрытую, как арена цирка, опилками, необычайно толстым слоем хвои, пружинившей под тяжестью человека, и, закинув руки за голову, стал смотреть в побелевшее осеннее небо. На вершине толстой, смолистой сосны он увидел лесного зверька. Распустив хвост, безразлично-плутовато посматривая на людей, зверек запасал на зиму продукты. Зайцев кинул в зверька шишкой, и тот ловко перемахнул на соседнее дерево.

С утра у младшего сержанта было особое, праздничное настроение, но он боялся, что праздник впервые в его жизни пройдет, как обычный, будничный фронтовой день. Вспомнилось, как отмечали этот праздник в поселке, как с утра ароматы готовящихся праздничных яств разносились по улице, как нарядные парни и девушки собирались у клуба...

В поставленном на торец ящике из-под махорки, на котором сидел Сидоренков, Зайцев увидел гармонь. Вытащил ее, присел, опершись о спину Сидоренкова, на краешек ящика, заиграл «Подгорную» — единственную мелодию, которую выучился упрощенно играть. Гармонь была дрянная, старая, с грубо нашлепанными на красные выцветшие мехи заплатками.

Ты, Подгорна, ты, Подгорна,—
Широкая улица...—

скрипучим, не приспособленным для песен голосом затянул Зайцев.

— Ты лучше не пой, а играть пойди в овражек, к ручейку, — посоветовал Сидоренков, ловко и привычно вшивая в задник заплатку.

— Ну, а если душа у меня просит? — хмуро спросил Зайцев.

Сидоренков, не торопясь, положил на землю сапог, рядом с ним аккуратно разложил свой нехитрый инструмент, взял из рук Зайцева гармонь. Сидоренков был немолод, мешковат, лицо у него было желтое, сморщенное и невыразительное, но голос звонкий, молодой, сильный:

Ходи, хата, ходи, печь —
Хозяину негде лечь...

На гармонь, как ночные бабочки на огонек, потянулись бойцы, обступили гармониста...

— Воздух! — зычно предупредил часовой.

Девятка «юнкерсов» разворачивалась над лесом. Ведущий включил сирену. Солдаты разбежались, попадали на землю. Наступившую было тишину разорвал грохот, гул от падающих деревьев и треск ссеченных осколками веток. Кто-то громко стонал. Раненая обозная лошадь, оборвав повод, прыгала на трех ногах и ржала. «Юнкерсы» пошли на второй заход.

Зайцев лежал в неглубокой яме, привалившись боком к куче кем-то очень давно заготовленных, полусгнивших жердей. Приподнявшись, увидел, что ящик, на котором только что сидел, отбросило в сторону, а рядом валялась гармонь. Он поднял гармонь, прижав ее к бедру, поспешно юркнул в яму.

Мелкие осколки в двух местах пробили мехи. Он зажал отверстия ладонью и, прижав гармонь к подбородку, заиграл:

Ты, Подгорна, ты, Подгорна,—
Широкая улица...

Из кустов и ям высунулись всклокоченные головы. Все удивленно смотрели на Зайцева. С поляны кто-то недобрым голосом крикнул:

— Брось ты, тут люди умирают... Стрелять надо, а не в гармонь играть!

Самолеты сбросили еще несколько бомб и улетели бомбить прилегающее к бору урочище.

Сидоренков наскоро закончил починку сапог и принялся за гармонь.

— Ишь ты, разнесчастная... Третий раз тебя осколками сечет... — говорил он, обращаясь к инструменту.

Зайцев надел сапоги и лесной дорогой пошел в свою роту. На опушке его окликнули часовые, но пропуска не спросили. Вместо этого низкорослый сержант, с бледным лицом и бесцветными, белесыми, как мочалка, волосами, выбивавшимися из-под нахлобученной на голову пилотки, приветливо сказал ему:

— С наступающим!

Зайцев так же приветливо ответил сержанту и, пройдя длинную, обшитую плетнем траншею, завернул в дзот, к пулеметчикам.

Командир пулеметного расчета старшина Артамонов, бывший милиционер, подтянутый, щеголеватый, чисто вы-

бритый, всегда спокойный, спросил, почему он, Зайцев, хмурый.

— Вы поймите мою душу, — подойдя вплотную к старшине и пытливо глядя в его глаза, сказал Зайцев,— всю жизнь справляли мы Октябрьскую годовщину, водку пили, песни пели, а тут немец то бомбит, то обстреливает. Фашист не хочет, чтоб я праздник справлял, а я желаю справлять... Дайте стрельнуть... — неожиданно заключил он.

Артамонов передвинул прицел станкового пулемета, вставил новую ленту. Зайцев взялся за рукоятки, нажал на спусковой рычаг. Пулемет оглушительно застучал, тесный дзот заполнился дымом.

— Перегреешь! Короткими очередями бей! — закричал Артамонов, но Зайцев не слушал его. Он выпустил бы всю ленту по вражеским окопам, если бы Артамонов не оттолкнул его.

Зайцев вышел из дзота. Пора было возвращаться в роту и становиться на пост.

Во взводную землянку он вернулся только ночью. Никто не спал. Солдаты сидели вокруг стола на катушках от телефонного кабеля и на земле.

Землянку по-праздничному убрали, посыпали песком, на стол постелили чистую бумагу, на земляной стене повесили вырезанный из журнала, украшенный ветками и полевыми травами портрет Зои Космодемьянской. Лампу, сделанную из гильзы, заправили бензином с солью, она фыркала и угрожающе гудела, но землянку освещала ярко.

Большинство солдат, заполнивших землянку, были из других подразделений, и Зайцев не сразу разобрался, что все это значит, пока не увидел среди них капитана Балина.

Балин сидел за низеньким столом, в руках он держал принятый по радио и перепечатанный на машинке только что прочитанный им в землянке текст праздничного доклада.

По возбужденным лицам солдат Зайцев понял, что доклад обрадовал их.

Балин простился с бойцами; ухватившись за сучок в бревенчатом настиле, ловко перемахнул через сидящих у порога и вышел, оставив во взводе листки папиросной бумаги. Куныкин взял их и, склонившись к лампе, рискуя

спалить недавно отпущенные щетинистые усы, заново стал читать.

Читал он очень громко, отдельные фразы почти выкрикивал, делал иногда неправильные ударения, и тогда солдаты хором поправляли его.

Зайцев тихонько, чтоб не помешать, протискался в угол, присел на чей-то котелок.

Он слушал, и перед его глазами возникли знакомые, сверстники с золотого прииска, Прасковья, жена, — черные ее, любящие глаза, цвета осени, завитые в мелкие колечки волосы, строгие тонкие ресницы, зовущие губы. Но не такие, наверное, теперь, Прасковья, парни с прииска, инженеры. Ведь не только солдаты на фронте, но и люди в тылу стали другими.

Так же, как и прежде, осенний ветер гонит по горным склонам желтые листья, бурлит разбухшая от дождей речка, хрустит под ногами тонкий ледок. Так же чист и прохладен осенний воздух, мало в нем запахов, лишь запах увядания да близкого человеческого жилья. Все осталось таким же, как и было. А люди были другими.

Ранними утрами женщины, выгоняя в стадо коров, видно, спрашивают друг у друга, нет ли писем от родных фронтовиков.

Кунықин положил на стол листки, оглядел собравшихся в землянке солдат, буднично сказал:

— Вот и все.

Бойцы разобрали оружие и разошлись по своим подразделениям.

Зайцев забрался на нары, положил голову на широкую грудь Куныкина.

— Вот и праздник прошел! — задумчиво прошептал Куныкин, опустив свою тяжелую руку на голову Зайцева и скупым движением пригладив его всклокоченные волосы.

...Балин, обойдя все подразделения, пошел в свой блиндаж. У входа он помедлил, глядя на посветлевшее холодное небо, густо усыпанное звездами, на тусклый свет ракет, взлетающих над передним краем. Балин думал о том же, о чем думал и младший сержант Зайцев: «В окопах, под обстрелом, встретили люди праздник. Они не имели возможности даже спокойно посидеть в кругу друзей. Но запомнят они его навсегда и будут, не щадя сил,

бороться за то, чтобы вся жизнь была праздником, большим и радостным».

Где-то очень далеко, за лесом, за сожженной деревней и широким невспаханным полем, прокукарекал петух, проскрипел колодезный журавель, залаяла собака. Звуки эти, забытые, мирные, больно отозвались в груди Балина.

— Скоро, теперь уже скоро! — вслух проговорил капитан, спускаясь по земляным ступенькам в блиндаж.

18

Векшин ждал зимы, как ждут ее горожане, — вот проснется он однажды, выглянет в окно и увидит, что на крышах домов и на асфальте мостовой и тротуаров лежит снег. Оказалось, что зима начинается с заморозков и инея; потом выпадает дождь с крупой; мокрая крупа; неуверенный первый снежок, который сразу же тает; снег, который лежит по ночам, а днем исчезает, и лишь после всего этого начинает валиться настоящий пушистый снег, лед сковывает дорожные колеи и лужи, ветки деревьев сгибаются под тяжестью снега — приходит зима.

Пополненный и отдохнувший батальон Еремеева освободил пять населенных пунктов и, ослабев, занял оборону. Гитлеровцы развернули контрнаступление.

День и ночь и еще день поредевшая рота Векшина защищала изрытый снарядами участок земли, ограниченный с одной стороны замерзшим болотом, с другой — еловым буреломом.

Месяцы, проведенные на переднем крае, изменили Векшина, как в другой обстановке могут изменить лишь годы. Это уже не был молодой офицер, которому Балин вынужден был объяснять, в чем заключается ответственность командира за своих подчиненных. Векшин узнал чувство солдатской, активной ненависти к врагу, свыкся с опасностью как с неприятным, но естественным состоянием. Даже походку, прежде пружинистую, с раскачиванием, он сменил на новую и передвигался теперь, низко склонив голову, глядя под ноги, петляя от валяющихся на пути бревен к заснеженному, покрытому вялой осокой болотцу, от кустика к дереву, с тем чтобы ни на авось пущенная пулеметная очередь, ни неожиданный огневой налет не смогли застать его врасплох, на открытом месте.

Он и внешне изменился — возмужал, отпустил усы, стал командовать резким и властным голосом, приучился пользоваться и щеголять непонятным для непосвященных телефонным фронтовым жаргоном...

К исходу второго дня боя Векшин не чувствовал ни голода, ни усталости, хотя давно не ел и должен был очень устать. Он словно забыл о себе, потерял представление о времени, поглощенный одной мыслью: удержаться. Стрельба понемногу стихала. «Скоро, видимо, удастся накормить роту», — решил Векшин и невольно проглотил несколько раз слюну, подумав о котелке каши. В это время с наблюдательного пункта передали, что идут танки. «Кажется, этого рота уже не выдержит», — со свойственным чрезмерно усталому человеку быстрым переходом к признанию безысходности положения оценил сложившуюся обстановку Векшин.

Прижавшись к стене траншеи, он вглядывался в клубы дыма, стараясь разглядеть и сосчитать танки.

Скрежет и гудение приближались, в дыму уже угадывался первый танк. Он задержался перед яминой, нырнул в нее и сразу же очутился совсем рядом. Танк двигался, не стреляя, рыча мотором, блестя стеклом фары, вздрагивая стволом орудия. И Векшин крикнул громко, зычно:

— Танки! Приготовь гранаты!

Но танк резко метнулся в сторону, намереваясь, видимо, зайдя с левого фланга, пройти вдоль траншеи. Все сразу же сообразили, что это многим грозит гибелью: не промерзший еще основательно песчанистый грунт не выдержит веса танка, стены глубокой траншеи обвалятся, похоронив под собой людей.

Векшин кинулся было на левый фланг своего участка, но его опередили. Зайцев с двумя связками гранат вылез из траншеи. Припадая на левую ногу, он пробежал несколько шагов и упал в заполненную водой и покрытую тоненьким слоем льда воронку. А когда танк приблизился, Зайцев, приподнявшись, бросил связку гранат под гусеницу. Полыхнуло пламя, дым скрыл из глаз и танк и одинокого солдата, лежащего на краю воронки. Потом танк выдвинулся из дыма, подполз к траншее. И снова полыхнуло пламя, танк завертелся на месте, лязгая поврежденной гусеницей, и, накренившись набок, стал, петляя, отходить.

По другим танкам открыла огонь артиллерия. Тяжелый снаряд угодил в башню одного из них. Раздался скрежет металла. По стальному корпусу пробежал голубоватый нерешительный огонек, что-то глухо взорвалось внутри — и черные клубы дыма победно вырвались из осевшей, теперь уже беспомощной груды металла.

Открылся люк, один за другим выскочили два гитлеровца в темно-серых грязных комбинезонах. Один из них, низко пригнувшись, побежал, шарахаясь от близких разрывов, и тут же упал, сраженный пулями; другой, подняв левую, видимо, силясь поднять и окровавленную правую руку, заспешил к траншее сдаваться в плен.

В дыму и грохоте танки развернулись и поспешили уйти за три расположенных вблизи друг от друга, поросших кустарником кургана.

Дышать было трудно. Едкий дым, запах жженой резины и краски плотно соединились в ядовитую смесь. И не было уже белого снега на поле боя — была серая, вся в обломках и каких-то лохмотьях хлябь.

Куныкин бережно опустил на дно траншеи завернутого в плащ-палатку Зайцева. Младший сержант был без сознания; осунувшееся, местами обожженное скуластое лицо его стало серым, глаза плотно прикрыты.

Зайцеву наскоро перевязали окровавленную ногу и грудь. Завернув в полушубок, взяв на руки, прижав к себе, как ребенка, Куныкин, крупно, размашисто шагая, понес его в медсанроту.

Ударили реактивные минометы. За курганами с обвальным грохотом стали рваться снаряды. И вслед за этим наступила тишина.

Ветер уносил, тесно прижимая к земле, клубы дыма. Сгустилась темнота. За курганами что-то горело, багровые языки пламени освещали стройные вершины курганов.

На правом фланге, чтобы не дать противнику погасить пожар, открыли настильный огонь пулеметчики. Трассирующие пули мелькали над землей, жужжали, как пчелы.

19

В полотняной, с двойными стенками зимней палатке, замаскированной сухими дубовыми и еловыми ветками, на топчане, весь в бинтах, лежал Зайцев.

Из раскрытой железной печурки падал тусклый, колеблющийся розоватый свет на стены палатки, на завернутых в зеленые шерстяные одеяла раненых, на сестру — бледную, с длинными, обернутыми вокруг головы косами высокую девушку, молчаливо, в глубокой задумчивости склонившуюся над печуркой.

Сухие березовые чурки трещали в печке по-домашнему спокойно и уютно. Смолистый дымок смешивался с запахом лекарств. Стрельба слышалась очень далеко, но даже и она звучала умиротворенно, не сурово. Раненый лейтенант в бреду атаковал со своим взводом вражеский дот. Он то вызывал на дот огонь артиллерии, то приказывал закидать его гранатами, то негромко кричал «ура». Бормотание лейтенанта не тревожило и не волновало. Оно, как и отдаленная стрельба и треск березовых чурок, нагоняло сон.

Но Зайцев не мог заснуть. Болела нога, не давала покоя резь в животе. Лежа на спине, Зайцев смотрел на стенку палатки, в то место, где была невидимая ночью небольшая, величиной с гривенник, сквозная дырка. На рассвете через эту дырку раньше всего пробивалась предутренняя сумрачная муть. Зайцеву почему-то думалось, что если уж врачи не смогут помочь и ему суждено умереть, то умрет он непременно ночью, и поэтому, приходя в себя, он почти непрерывно смотрел на стенку палатки. Увидев круглую, с зубчатыми краями дырку, он успокаивался. Значит, еще день будет жить.

— Что вы смотрите в одну точку?

Зайцев не заметил, как к нему подошла сестра. Голос у нее был высокий, бархатистый, он напомнил Зайцеву другой, хорошо знакомый ему голос.

Младший сержант собрался было с силами, чтобы объяснить сестре, почему он смотрит на стенку, но сообразил, что она, как и всякий здоровый человек, понять этого не сможет и примет его объяснение за бред. Поэтому он промолчал.

— Вам заснуть надо. Сейчас я введу снотворное.

Зайцев пристальней посмотрел на сестру и понял, что она напоминала ему мать. Когда мать была молодой, у нее был такой же голос, такие же длинные, загнутые на концах, тяжелые ресницы. У сестры, как и у матери, один из передних зубов имел от постоянного перекусыва-

ния ниток при шитье щербатинку. Только глаза и волосы у матери были совсем не такие.

Сестра приготовила шприц, кольнула в оголенную руку. Спустя недолгое время боль отхлынула от ноги, по телу пополз холодок, сами собой смежились веки. И уже можно было бы заснуть, резкой боли не было, но Зайцеву захотелось воспользоваться передышкой и припомнить что-нибудь приятное из своей жизни.

И он припомнил: речка Кандома, вся в солнечных бликах, быстрая, говорливая. В высоких каменистых берегах переливаются блестки слюды, прожилки колчедана и гнезда кварца. Пышная прибрежная трава скрадывает шум шагов, ласкает голые ступни. По вьющейся вдоль реки горной дороге едет горец и поет что-то однообразное, красивое и трогательное. «О-э!» — кричит он на свою маленькую, мосластую лошаденку. Лошадь встряхивает головой, соглашаясь бежать быстрее, и колокольчик, подвязанный к ее шее, заглушает песню горца. Он, Зайцев, двенадцатилетний мальчишка, смотрит вверх, на дорогу, потом оборачивается к воде, во всю силу кричит «О-э!» и головой вниз прыгает в воду. Вынырнул. Низкий, с длинными черными волосами горец смотрит на него, машет кнутовищем и откликается. «О-э!» — несется над рекой. «О-э!» — повторяют горы.

Потом Григорий идет домой. Во дворе мать кормит просом кур.

— Где шлялся? — несердито спрашивает она.

— На речке.

— То-то на речке... а к свинарнику кто дверцу приделает?

— Гришка...

Мать берет его за мокрые волосы, прижимает голову к своей груди, вздыхает, целует в глаза и отталкивает.

— Иди, озорник... Опять, слышь, к дяде Трофиму в огород лазил? — Мать еще раз вздыхает и говорит шепотом, нежно: — Что-то тебя в жизни ждет, дите глупое, озорное... Один ведь ты у меня...

Проснулся Зайцев поздним утром. Палатку пересекает золотистый сноп, пробившийся через дырку в полотнище. В нем видны редкие суетящиеся пылинки.

Около Зайцева сидит сестра в белой с красным крестиком косынке. Он узнает Надю Виноградову. Напротив нее — ротный командир Векшин. Они переговариваются

знаками, не замечая, что он проснулся. Сквозь полуприкрытые веки Зайцев зорко наблюдает за ними. И у Нади Виноградовой и у старшего лейтенанта Векшина серьезные лица. С такими лицами сидят у постелей больных, в выздоровление которых не верят. Зайцев открывает глаза и, сам того не замечая, чуть слышно стонет. Надя наклоняется над ним, но Зайцев смотрит на старшего лейтенанта Векшина.

— Танки не смяли наших? — спрашивает он.

— Нет, нет, Гриша... Мы все тебе жизнью обязаны... Командир бригады представил тебя к ордену Ленина, — торопится сообщить самое важное Векшин.

Зайцев молча смотрит на офицера. На его лице появляется слабая, едва приметная улыбка, он благодарит глазами и слабым кивком головы. Потом переводит взгляд на медсестру. Надя догадывается по этому взгляду, что сейчас он скажет что-то о ней, о прошлом. Не сказать этого сейчас нельзя — так почему-то кажется ей.

— Земляки мы с ней, вместе росли, — как бы для себя, ни к кому не обращаясь, произносит младший сержант. — А потом я ее полюбил... Она красивая, сейчас чуть похуже стала... И веселилась надо мной... Ну, а потом замуж вышла, а я женился на ее двоюродной сестре — родичами стали... Так все и кончилось.

— Не надо, Гриша, родной, не надо... — попросила Надя.

Векшин не все понимает, чувствует неловкость и хочет выйти из палатки.

— Посидите, товарищ старший лейтенант, — просит Зайцев чуть сконфуженным голосом.

Надя поднимает голову. Ее омытые слезами глаза блестят, они сейчас кроткие и печальные.

— Гриша, ты ведь теперь не сердишься на меня?

— За что мне сердиться? Нет, Надежда... Умру я? Прасковью жалко, она хорошая, душа у нее чистая.

Теперь-то он твердо знает, что никакая другая женщина не сможет заставить его забыть жену. Если он останется жить, как станет любить свою Прасковью, как внимателен будет к ней и ласков!

— Не умрешь ты... не умрешь, Гриша! — говорит Надя, и голос ее срывается. Как ни владеет она собой, но чувствуется по ее голосу, что положение Зайцева она

считает безнадежным. Зайцев понимает это, глаза его темнеют, суровеют.

— Жене пропиши все, как было: что не бесполезный, мол, человек, не трус, за чужие спины не прятался... Пропиши, что кланяется, мол, ей Григорий земным поклоном за все, что она хорошего делала, и прощения просит... А дочурке, мол, радости желает, и пускай она меня за отца помнит... Своих-то у нас не было... А мать пусть успокоит, чтоб не убивалась...

Зайцев закрывает глаза, на щеках выступает жаркий румянец, капельки пота появляются на лбу.

— Эх, дожить бы... А потом в Сибирь — золото мыть... Золото-то нужно будет, как война кончится, очень нужно... А трава на лугу мягкая, высокая, косить ее на увалах неловко, сразу косу о камни поломаешь... — в беспамятстве, невнятно выговаривает младший сержант.

Векшин поднимается, выходит из палатки и идет опушкой леса по извилистой, протоптанной в глубоком снегу тропинке.

Снег блестит так, что больно смотреть. В снеговом уборе безжизненно стоят березы, осины, дубы. Возвышающийся над молодым леском старый широкоствольный дуб не сбросил с себя листвы. Снег густо облепил толстые и крепкие темно-зеленые и желтые листья, но и его тяжесть не может оторвать их, уже засохших, от веток. Это зимний дуб, или дубица, как его называют в народе.

...Снова придя в себя, Григорий Зайцев без аппетита съел несколько ложек куриного бульона, выпил полчашки клюквенного киселя. В лесу, за стенками палатки, послышались звуки баяна. Лейтенант с перебитыми ногами, лежащий около входа, попросил сестру привести баяниста, пусть поиграет. Сестра вопросительно оглядела раненых и, выйдя на порог, звонко крикнула:

— Эй, родной, подойди-ка сюда!

Баянист подошел. Сестра пошепталась с ним, и курносый белобрысый парень с веселыми глазами, безуспешно стараясь придать лицу выражение сочувствия к страданиям, осторожно шагнул в палатку. Сестра усадила его на табурет, возле печурки, и парень заиграл.

Тоска неразгибаемым обручем охватила грудь Зайцева. Он лежал, не в силах пошевелиться, разбитый, обессиленный, а песня, знакомая с детства, призывала к жизни, к счастью, бередила душу, манила побегать боси-

ком по траве, сощурившись, поглядеть на красное солнышко, прислушаться к шелесту зеленых листьев, вдохнуть запах колосящихся хлебов.

— А сибирскую нашу «Подгорную» можешь?—спросил Зайцев, когда баянист окончил играть и покосился па выход.

— Не, я архангельский, — ответил солдат, — вы насвистите.

Раненый лейтенант насвистел мелодию, и баянист, взяв несколько неуверенных аккордов, заиграл «Подгорную».

Простецкая песня взволновала Зайцева, и он, почувствовав, что по лицу потекли жгучие слезинки, призакрылся одеялом. Сестра подошла, откинула одеяло, нахмурилась и сделала знак баянисту, чтоб уходил, не волновал тяжелораненых. Солдат с виноватым и недоумевающим лицом вышел из палатки.

К вечеру Зайцеву стало совсем худо, силы окончательно покинули его, мысли словно бы отдалились, стали какими-то чужими. Казалось ему, что снова и снова наползает на него пахнущий бензином и горелым машинным маслом танк, но приподняться и кинуть в него гранату уже не было сил. Потом он подумал, что и так уже подшиблен и лучше пожертвовать собой ему, чем кому-нибудь из здоровых ребят. Зайцев рванулся. Чьи-то сильные руки уложили его на постель. Потом свет стал меркнуть, воздуха не хватало... И вдруг в неожиданной световой вспышке Зайцев увидел Пашу, жену. Она стояла под горной кривой сосенкой и тянулась к нему. С мыслью, что если бы Паша, только она, родная, была ближе, рядом, то она бы помогла, спасла его, Григорий Зайцев надолго потерял сознание.

20

Еремеев был мрачен. Он сидел на завалинке ветхой лесной сторожки и смотрел, как на просеке солдаты рыли могилу для начштаба отдельного батальона старшего лейтенанта Дрюкова.

Два часа назад вместе с Дрюковым, Балиным и несколькими солдатами Еремеев осматривал минные поля и укрепления.

Беспросветно застлавшая небо туча била в землю

крупными каплями. Дождь смыл остатки чистого снега, грязная студенистая масса хлюпала под ногами. Еремеев, прыгая через лужи, шагал вслед за Мизюркиным, глядя в спину бойца, на ручейки, сбегающие по прорезиненной ткани плащ-палатки. На повороте противотанкового рва, по которому они шли, Дрюков задержался, откинул капюшон плаща и долго прислушивался: вблизи дождевые капли падали на что-то твердое, слегка дребезжащее под ударами. Дрюков выглянул наружу и на мокром лугу, среди прошлогодней блеклой травы, увидел лопатку с коротким, вымытым дождем черенком. Он поморщился и, ни слова никому не сказав, одним прыжком взобрался наверх, чтобы поднять инструмент... Тонко пропела пуля, за ней вторая, и замершие на месте Еремеев и Балин увидели, как Дрюков, опустившись на колени, грудью вперед упал на грязную землю.

Тело зацепили ремнями, подволокли к краю рва, опустили на дно. Балин откинул на Дрюкове плащ, расстегнул шинель и френч, приложил ухо к груди. Ему мешали карманные часы Дрюкова. Он вынул их из брючного кармана, положил на бурый, громоздкий валун. Сердце Дрюкова уже не билось. Все стояли молча, глядя на покрывающееся восковым налетом мальчишеское, отважное, славное лицо. Было слышно, как на камне тикали большие, с черным циферблатом часы. Они тикали беспечно и равнодушно, а их владелец лежал с недоумевающим, неживым лицом.

Балин резко выпрямился, снял шапку. Его движение повторили остальные.

Еремеев выглянул из рва, пытаясь разглядеть позицию снайпера. Пуля цокнула совсем близко, свист ее болезненным звоном отозвался в голове Еремеева; пролети она сантиметра на полтора пониже — и хоронили бы его вместе с Дрюковым.

Прогремел негромкий прощальный салют, на могиле установили деревянный трехгранный, тщательно выструганный столбик с надписью: «Дрюков Степан Тимофеевич, член ВКП (б), старший лейтенант, 1919—1943». Прибывший из политотдела бригады инструктор унес, бережно завернув в целлофан, пробитый пулей и окровавленный партийный билет. Могилу прикрыли дерном.

Еремеев, вернувшись на старое место, на завалинку домика лесника, брошенного хозяевами, положил на ко-

лони планшет и написал коротенькое горячее письмо матери погибшего, учительнице из Томска. Отдав письмо Мизюркину, он приказал отнести его старшему писарю, чтоб тот аккуратно переписал.

И долго еще Еремеев не мог успокоиться. Дрюков, всегда веселый, умный, волевой командир, погиб самой страшной для советского воина смертью — случайной, и это особенно волновало Еремеева. Он раскрыл планшет, в руки попалась карточка — Дрюков, Балин и он, Еремеев, стоят на краю большой, заполненной талой водой воронки. На обороте рукой Дрюкова написано: «Деревня Налючи, северо-западная окраина, 1942 год». Непрошеная слезинка набежала на глаза. Еремеев огляделся по сторонам, смахнул ее тыльной стороной ладони, подумал о себе: «Крепись, старик, война без жертв не бывает» — и вошел в домик.

В единственной комнате было оживленно. Офицеры теснились на лавках и подоконниках, ожидая, когда начнется собрание, посвященное вопросам укрепления активной обороны на участке батальона и подготовки к наступательным операциям.

Еремеев сел к дощатому ящику, заменявшему стол, закурил, стал всматриваться в лица командиров. Тех, с кем он начал создавать батальон, оставалось уже немного. В углу, привалившись к стене, сидит старший лейтенант Шкурин, приземистый, с рябоватым, умным крестьянским лицом. Поймав взгляд комбата и, видимо, поняв его мысли, он вместе с ним скользит взглядом по собравшимся. На подоконнике, свесив ноги в кирзовых сапогах с широкими прямыми голенищами, примостился командир второй стрелковой роты Федорченко, рослый, черноволосый. Передние зубы у него стальные, они сверкают холодным металлическим блеском. Рядом Надя Виноградова — в щегольской серой гимнастерке, румяная, пышущая здоровьем, глаза у нее блестят, — ей, должно быть, приятно, что командиры нет-нет да и поглядывают на нее искоса. Виноградову, по ее просьбе, перевели в строевую часть из полевого госпиталя. Еремеев старается не смотреть на нее. Рядом с ней сидит Мышанов. Он мелким, бисерным почерком пишет что-то карандашом на листке полевой книжки. На лавке тесно, и, заканчивая строку, Мышанов легонько толкает Виноградову в бок, то и дело извиняется и недовольно косит

глазами на свою соседку. Она не делает никаких попыток немного подвинуться и дать человеку возможность работать. У Мышанова осунувшееся, бледное, нездоровое лицо, он, кажется, серьезно болен, но ложиться в госпиталь не желает. «К чему это самопожертвование? Надо поговорить о нем с комиссаром», — думает Еремеев и снова смотрит на командиров.

В комнату торопливо входит Балин. Он здоровается с командирами и садится рядом с Еремеевым. Совещание начинается. О состоянии активной обороны и готовности к наступательным операциям докладывает новый начальник штаба старший лейтенант Векшин. Офицеры разворачивают карты, шуршит бумага, поскрипывают карандаши.

Новый начальник штаба щеголяет точным военным языком. Даже в тех случаях, когда мысль можно выразить в нескольких простых и общепринятых словах, он употребляет замысловатые профессиональные выражения, поминутно вводит в речь фразы вроде: «Как я вам уже имел честь докладывать...», «В связи со сказанным становится очевидным...»

Еремеев слегка улыбается: ему хорошо знакомо это увлечение, давным-давно и он так же старался показать себя до мозга костей кадровым строевиком. Но когда он стал им действительно, то начал говорить просто и скромно.

Командиры высказывались деловито и немногословно, чувствовалось, что все они думают о наступлении, ждут его на своем участке, считают его жизненно необходимым.

— Полчасика можно отдохнуть: редко все вместе собираемся, — произнес Еремеев, довольный тем, что совещание закончилось так быстро.

Балин мигнул дневальному. В комнату вошел Расторгуев с баяном. Для него освободили место на подоконнике.

Расторгуев, усевшись, опустил вниз голову, словно принюхиваясь к мехам. Он подбирал, что заиграть, и старался угадать настроение командиров. Потом, резко откинув голову и отсутствующим взглядом упершись в одну точку — на щербинку в глиняной печи, завел «На сопках Маньчжурии». Закончив, сжал мехи, понюхал их, отбросил голову и заиграл «Коробейники».

И зазвучала в лесу подхваченная грубыми, простуженными голосами командиров, незамысловатая старая песня. Подперев голову согнутой в локте рукой, зажмурившись, пел капитан Балин; забывшись, безотрывно глядя в лицо Нади Виноградовой, пел Еремеев, несколько дней назад ставший майором; отбивая такт ногой, пел Мурашкин. Только Федорченко, не обладавший музыкальным слухом и боящийся поэтому испортить песню, оглядывая сияющими глазами товарищей, лишь беззвучно открывал рот.

Песня вырывалась сквозь разбитое окно лесной сторожки, неслась по лесу, к окопам.

Потом капитан Балин, тихонько поднявшись, вышел наружу и прошел сквозь заросли папоротника в лес. Он спустился в овраг, перепрыгнул через ручей, направился зыбким берегом к виднеющемуся меж деревьев просвету. Вынул из кармана часы с черным циферблатом. «Надо послать их матери Дрюкова», — подумал он и припомнил, как по пути на фронт, когда поезд подъезжал к Омску, волновался Дрюков: «Получила ли мать телеграмму, придет ли она на вокзал?» Выйдя из вагона на мощенный крупными квадратными камнями перрон, Балин увидел Дрюкова под руку с еще не старой, очень красивой и нарядной женщиной. Трудно было поверить, что это мать и сын, — так молодо выглядела мать старшего лейтенанта. Не выпуская руки сына, наклоняясь вперед, она всматривалась в дорогое ей лицо любящими глазами. Когда Балин проходил мимо, она поглядела на него внимательно, просяще. Видимо, Дрюков объяснил ей, кто был Балин, и материнский взгляд как бы говорил: «Посмотрите на моего красавца сына; я горжусь им и очень прошу вас — сберегите его, если это от вас хоть сколько-нибудь зависит!» Балин тогда почтительно поклонился ей, отвечая мысленно: «Все будет хорошо. Я верю, что вы дождетесь сына».

А сейчас вместе с письмом от Еремеева он отправит в память о сыне часы, и плечи моложавой женщины забьются в неудержимых рыданиях. Враз постаревшая, она подолгу сквозь застилающую глаза влажную пелену станет смотреть на часы, которые были с сыном в минуту его гибели. А перед смертью она, быть может, попросит положить их рядом с собой и завести пружину, чтоб слышать частое, равнодушное тиканье.

— Все кончено, — проговорил Балин, провожая остановившимся, тяжелым взглядом караван сморщенных бурых, желтых, красных и золотых листьев, плывущих по воде.

Припомнилось Балину и то, как несколько дней назад Дрюков разбирал немецкую прыгающую мину. В прошлом студент-историк, Дрюков, по наблюдениям Балина, имел склонность к технике. В свободное время он подолгу возился с оружием. В недавних боях батальон с успехом дважды применил движущиеся противотанковые мины, управление которыми осуществлялось особым, придуманным Дрюковым способом. Но в исканиях Дрюкова, опытного строевика, по мнению Балина, было много мальчишества, а порой он без нужды рисковал жизнью.

В день, о котором вспомнил Балин, Дрюков, лежа около штабной землянки на разостланной в траве шинели, высыпал из металлического стакана, вставленного в корпус мины, блестящие некрупные шарики и подсчитывал их, отмечая, чтобы не сбиться, десятки и сотни спичками.

— Триста шестьдесят три шарика. Интересно — почему именно столько, товарищ капитан? — Подняв голову, Дрюков вопросительно взглянул на Балина.

— Ты, Степан, поосторожнее с этой дрянью, — строго посоветовал Балин. — Как школьник, себя ведешь.

Дрюков не обиделся, улыбнулся.

— Мысль у меня одна есть... хорошая мысль!

— Ну, ну... А если у тебя эта гадость взорвется?!

— Не взорвется... Мне еще долго жить. Пройду и через эту войну, а потом буду историей заниматься, — мечтательно ответил Дрюков, и на смуглом лице его появилась самоуверенная улыбка.

«Да, другие будут заниматься историей», — подумал Балин и, вынув из кармана папиросу, неумело разжег ее и стал глотать горький, туманящий голову дымок.

21

К весне 1943 года война на отдельных участках Северо-Западного фронта временно приняла позиционный характер, на других участках — в глухих болотистых лесах, вдали от населенных пунктов, — шли крупные бои часто не за какой-либо тактически выгодный рубеж, а на истребление.

Солдаты еремеевского батальона привыкли измерять советскую землю не только километрами и десятками километров, но и метрами. Они на собственном опыте убедились, как дорого обходится иногда отдельный взятый ими окоп или высотка, сколько крови приходится за них пролить.

Солдат и командиров, начавших службу в сибирском поселке, оставалось в батальоне немного, но и вновь прибывшие знали по рассказам историю своей части, ее путь, победы, прежних командиров.

Пришел приказ сдать оборону новой части и следовать к железной дороге. На военном языке это называлось переменой дислокации.

Построились в глубоком овраге. Каждый старался охватить взглядом растянувшуюся батальонную колонну. Посмеивались над тем, что все изменились, отвыкли ходить в полный рост и в строю.

В эшелоны бригада грузилась ночами на лесистом прогоне между двумя полустанками.

Засвистел паровоз, зазвенели буфера, поезд тронулся. Солдатам неизвестно было, в какой пункт он направляется, но все хорошо знали, что едут к новым боям.

Эшелон миновал крупную станцию и остановился у семафора, когда Векшина вызвали в большой пульмановский вагон на партийное собрание. Он шел по крупному желтому песку вдоль поезда, и ему казалось, что солдаты смотрят на него с любопытством: многие знали, что старшего лейтенанта Векшина в числе других командиров и бойцов будут сейчас принимать в кандидаты партии.

Засвистел старший кондуктор, поезд тронулся. Векшин побежал вдоль состава, догнал пульмановский вагон, вспрыгнул на железную лесенку. Стоящий в дверях Еремеев подал ему руку, помог влезть в вагон. Комбат улыбался, глядя на Векшина, угадывая его состояние и вспоминая, как совсем недавно в жарко натопленной, дымной землянке его самого принимали в партию.

В тот день крупные волны с грохотом и стоном бились о прибрежные камни и где-то вдали, в свинцовой, колеблющейся мути, полыхали бледно-розовые зарницы. Совсем недавно это было, но сколько событий произошло с тех пор, сколько сдано жизненных экзаменов, как все изменилось. И вот теперь он стоит, улыбаясь, рядом со сво-

им ближайшим помощником, которому мог бы дать рекомендацию и в которого верил как в честного, преданного Родине человека.

У Балина, сидящего в президиуме, тоже потеплели глаза. Балина принимали в партию в Свердловске в тридцать четвертом году, второго ноября, на партсобрании рабфака. Когда он вышел из переполненного зала и направился в общежитие, выпал первый снег. И тот ласковый пушистый снежок запомнился ему на всю жизнь.

Мышанов, еще более похудевший, с нездоровым румянцем на щеках, с подчеркнутой официальностью открыл собрание, сообщил повестку дня и строго посмотрел на людей, которых принимали в партию. Мышанов был очень мягким, добрым человеком и, как многие добрые люди, не любил, когда другие замечали его доброту. Кроме того, он хорошо знал, что, вступая в партию, люди всегда волнуются, понимал, что и нельзя не волноваться, и не считал для себя возможным ничем, даже улыбкой, отступить от официальной формы ведения собрания.

Коммунисты сидели на нарах, стояли, прислонившись к стенкам вагона, изредка шепотом переговаривались.

Векшин облокотился на доску, закрывающую выход из вагона, и смотрел в одну точку, на стол, прикрытый куском кумача.

Голос Мышанова, читавшего заявления и анкеты, иногда тонул в стуке колес, в шуме встречных поездов, в паровозных гудках — и тогда все отталкивались от стен, наклоняли головы, вслушивались.

Послышался раскатистый грохот. «Воздух!» — закричали часовые на тормозах. В наступившей паузе Еремеев попросил слова.

— Товарищи, если состав остановится, собрание придется прервать. Командирам тогда немедленно вернуться к своим подразделениям.

И он снова прислонился к косяку двери, не обращая больше внимания на бомбежку. Поезд слегка притормозил, потом резко дернулся, ускорил ход. Коммунисты, нахмурившись, так же как и Еремеев, старались не замечать воя сирен и шума.

Поезд нырнул в тоннель, стало темно, дым из паровозной трубы заполнил вагон. Когда дневной свет снова

ударил в дверь и небольшие прямоугольные окошки под потолком, грохот стал уже глухим и отдаленным.

— Расскажите вашу биографию, — услышал Векшин голос Мышанова.

Векшин замешкался. Что мог он рассказать, кроме того, как и где воевал? Торжественность обстановки и пристальное внимание серьезных, бывалых людей мешали ему говорить о том, как он учился в школе, выпускал стенные газеты, работал в совете пионерского отряда, поступил в институт, стал комсомольцем, сделал первый в своей жизни доклад на конференции по изучению истории партии, сдавал экзамены. Во всем этом он ни капли не отличался от многих тысяч девушек и парней.

И Векшин смог лишь сказать:

— Отец мой — инженер. Я окончил четыре курса института. Комсомолец. Остальное, товарищи, вам известно: в батальоне я с дней формирования.

— Что вы думаете делать после окончания войны? — спросил Балин, глядя поверх головы Векшина через настежь раздвинутую дверь на проплывающие мимо вагона заросли недавно распустившегося ольшаника и с видимым наслаждением вдыхая свежий весенний аромат, пробивающийся сквозь запах жженого угля и горелого металла.

— Работать по специальности, осваивать новую технику.

...Все подавшие заявления были приняты кандидатами в члены партии.

На станции Векшин, еще на ходу, выпрыгнул из вагона, прошел в конец перрона, присел на низенькую чугунную ограду.

За пристанционными крашеными домиками и протянувшимся до горизонта зазеленевшим полем садилось солнце. Вдали слышалось частое хлопанье зениток. Дымные шары расползались в темнеющем, стылом небе.

Подошла Надя Виноградова. Высокие каблуки ее хромовых, с короткими голенищами сапожек звонко стучали по асфальту перрона. Она поправила выбившийся из-под синего берета локон, протянула руку.

— Поздравляю. Я рада за вас.

Вышли промяться и освежиться командиры рот Шкурин и Федорченко. Они тоже пожали руку Векшину, весело посматривая на него.

Около паровоза появился солдат в длиннополой кавалерийской шинели. Он поднял вверх трубу, и она запела призывно, бодряще и, как показалось Векшину, празднично:

— По вагонам!

22

Отдохнувший, пополненный батальон снова на войне. Он прибыл на новый участок в дни большого наступления и почти сразу же, через двое суток после выгрузки из вагона, вступил в бой.

Армия продвигалась на запад — продвигалась четко, слаженно и планомерно, осуществляя сложные тактические маневры, применяя новые виды вооружения. Штабы умело и тщательно разрабатывали взаимодействие разных родов оружия...

С каждым километром, с каждым освобожденным селением люди, несмотря на усталость и недосыпание, на сбитые в кровь в долгих переходах ноги, становились все жизнерадостнее потому, что была близка победа. Правда, чтоб завоевать ее, нужно было пройти линии дотов, дзотов, завалов, надолб, траншей и окопов, минированные леса, укрепленные районы, водные рубежи.

Песни за многие месяцы активной обороны, маршей и боев местного значения Еремееву доводилось слышать чаще всего в виде мурлыканья или насвистывания, предназначенного только для себя. А Еремеев любил песню и скучал без нее. Потому он первым в батальоне и отметил, что на войне запели — и запели так, как не всегда певалось и в мирной жизни. Начинал песню обычно сержант Расторгуев. Заводил он ее на привале перед костерком, если удавалось его разжечь, присев на снарядный ящик или порожнее, перевернутое вверх дном ведро, глядя безотрывно в огонек, положив голову на плечо, подыгрывая себе на баяне. Начинал он с грустной, протяжной, потом переходил к более веселым.

И тогда Куныкин начинал нетерпеливо сучить ногами. Хмелея от музыки, с горящими глазами, он вылезал на середину круга, жмурился в игривой повадке и поводил плечом, хрипел Расторгуеву: «Ту, знаешь, для души!» Его безбровое, с крупными чертами, добродушное лицо в пляске принимало раздумчивое выражение, будто решал он арифметическую задачу. Подогревая себя зыч-

ными, отчаянными вскриками: «Шибче! Потрудись, родненький!» — он кружился и приседал до тех пор, пока Расторгуев изможденно не опускал на колени свой баян и не просил попить. Ему подносили в пилотке водицы, а Кунькин ласково и укоризненно произносил:

— Слаб ты, ёрник, но талант имеешь.

«Ёрник» было излюбленным куныкинским ругательным словом.

На веселье часто приходил майор Еремеев. Он ложился поодаль на травку, вынимал из кармана трубку, щелкал блестящей металлической крышкой и, перекидываясь с боку на бок, шарил по карманам спички. Приходил и Векшин. И начинались долгие, неторопливые беседы о войне, о том, какими люди станут после победы и что будут делать, восстановив хозяйство, о роли науки и техники в будущем обществе, о современной стратегии, русской удали, историческом предвидении и многом другом.

После веселья и шума наступали грусть и воспоминания. Воспоминания приходили, казалось, в одной, одинаковой для них последовательности, и Векшин догадывался, что Еремеев думает о детстве, и сам вспоминал свое: пионерский отряд, каток, мальчишеские игры и Наташу — девочку с наивными синими чистыми глазами, косичками и синим, под цвет глаз, бантом. «Да-а!» — говорил Еремеев протяжно, и знали оба: это о детстве. Потом думалось о женщине, и тогда Векшин говорил: «Война!», потому что ему больше сказать было нечего. А Еремеев разжигал потухшую трубку и думал об умершей Юлии, ясноокой своей казачке, о том, как накануне смерти протянула она к нему похудевшие, желтые руки, попросила прерывающимся, жалобным голосом: «Не дошла я с тобой, Петя... Ты другую-то подожди приводить... годочка три хоть подожди!» Хотел было тогда Петр Степанович обещать, что если даже и случится с ней что-нибудь, то другой у него не будет, но Юлия сказала раздраженно: «Глупый ты... Не говори ничего, ведь жизнь все по-своему делает». Думал Еремеев о сыне, двенадцатилетнем Петьке, крепыше и озорнике.

Чем-то Еремеев напоминал Векшину Якова Ильича, школьного учителя. Но Яков Ильич был намного старше, порывист, страстен. Еремеев много спокойнее, говорил мало, отрывисто, не увлекаясь, ровно столько, сколько необходимо, чтобы точно выразить мысль, нередко дви-

жением бровей заменяя целые словесные сочетания. Главное же — Яков Ильич жил в каком-то своем мире, иногда далеком от действительной жизни. Его можно было с интересом слушать. Но верить всему, что он говорил, было трудно. Еремеев говорил только то, в чем действительно был уверен, на него всегда и во всем можно было положиться.

Векшина, довольно стойкого на болезнь и усталость, удивляла еремеевская выносливость. Бывало, после боя или марша, когда ноги уже не держали людей, Еремеев приглашал Векшина на партию в шахматы:

— Прошлый раз ты опять хлопка дал... Заходи после ужина отыграться.

Как-то на марше, когда Еремеев и Векшин, уклоняясь от пыли, шли в стороне от батальона, вдоль разбитого шоссе, заваленного всевозможным утилем войны, они увидели поле прошлогодней, неубранной, сыпавшейся, примятой к земле пшеницы с побуревшими стеблями и свернувшимися в кольца колосками. Редким зеленым побегам трудно было пробиться сквозь путаницу стеблей и колосьев.

Лицо комбата страдальчески передернулось.

— Хлебороб я,—объяснил Еремеев.—Тяжко смотреть. Война окончится, попытаюсь вернуться назад, к земле... Зовет земля... Тебе, горожанину, этого не понять. И нет прибора, который бы измерял наши привязанности.

— Да, сердце линейкой не измеришь, товарищ майор, круглое оно,—согласился Векшин.—Его, чтоб понять, слушать надо с закрытыми глазами. А я в последнее время вот о чем раздумывать стал. Тогда, на партсобрании, я сказал, что хочу после войны работать по специальности, а сейчас, думается мне, скучноватая у меня специальность, не развернешься... Я ведь силенку в себе почувствовал... Ошибаюсь я?

— Очень ошибаешься... очень,—отозвался Еремеев.— Как только закончится война, мы тотчас же прежними станем.

Во многом Векшин по молодости лет и недостатку жизненного опыта самостоятельно разобраться не мог. Еремеевские советы были всегда трезвы и лаконично сводили сложное к очень простому.

В батальоне воевал рядовой Федосеев, в довоенные годы пекарь, тихий и услужливый человек. Неспокойным

и непогожим днем Векшин проверял огневые позиции пулеметчиков. Противник вел методический минометный и пулеметный огонь. Векшин, пригнувшись, перебегал к землянке. Навстречу попался Федосеев. Он шел с коробкой пулеметных лент в руке, даже не наклонив голову, не обращая внимания на свист пуль и близкие разрывы. Пулеметная очередь, пронесшаяся низко над головой, повалила Векшина наземь. Приподнявшись, стирая с лица грязь, он увидел, что Федосеев идет прежней своей неторопливой походкой, скособочив под тяжестью коробки плечи.

— Ложись! — крикнул старший лейтенант.

Федосеев послушно лег.

«Что с ним?»—раздумывал Векшин. Вечером, встретившись с комбатом, он рассказал ему о Федосееве.

— Ну и что тебе тут непонятно?—удивился Еремеев.—Волю потерял... Пошлем его на три дня в обоз, на лоно природы.

Через три дня, вернувшись на передний край, Федосеев повел себя так же, как и все солдаты.

Изредка, когда позволяла обстановка, в штаб приходили Надя Виноградова и ее новая подруга, санинструктор, скромная и застенчивая девушка с длинными черными косами и смуглым, всегда как будто печальным лицом. Из больших жестяных кружек пили бурый, перекипевший чай, заводили старые, обносившиеся пластинки, а иногда и танцевали.

Майор Еремеев выходил из своего блиндажа, становился на пороге, сжимая в зубах свою неизменную коротенькую с блестящей металлической крышкой трубку. И все замечали, что на Надю Виноградову он глядеть избегает и, когда говорит с ней, смотрит в сторону или в землю.

Завидя комбата, Надя подходила к нему и, опуская глаза, чуть краснея, приглашала танцевать.

Еремеев, большой, широкоплечий, властный, конфузился, и странно было видеть на его мужественном лице замешательство и смущение.

Балин в таких случаях приходил на выручку командиру. Шуткой он отвлекал внимание собравшихся от комбата, а оставшись с ним наедине, заводил разговор о том, что Виноградова умница, красавица и будет замечательной женой.

Еремеев поднимал глаза от карты и молча грозил своему заместителю пальцем, давая понять, что вести на эту тему разговор не хочет. Если же Балин не унимался, Еремеев обхватывал его за плечи и по-мальчишески спрашивал:

— Живота или смерти?

Балин, хохоча, отбивался, но всегда оказывался лежащим на обеих лопатках и просил «живота»...

23

Поздней осенью, участвуя в наступлении, батальон задержался в небольшом, сплошь строенном из белого камня городке, где с цепкостью обреченных держались гитлеровцы. Продвижению батальона мешали три дома, превращенные фашистами в крепости. Первый — двухэтажный особняк, с которого война снесла крышу и, непонятно каким образом, сунула в оконный проем верхнего этажа телеграфный столб, гроздью изоляторов и обрывками проводов наружу, удалось занять после короткой, но кровопролитной схватки. Два других ощетинились. Гитлеровцы свирепо палили из всех дырок и щелей.

Векшин по приказу комбата составил из стрелков, пулеметчиков и двух артиллерийских противотанковых расчетов, приданных батальону, штурмовую группу и направил ее по битому кирпичу в обход квартала. Оставшимся стрелкам и пулеметчикам он приказал огнем из всех средств отвлекать внимание противника.

Прибежал связной и доложил, что комбат ранен и немедля требует его, старшего лейтенанта Векшина, на командный пункт.

— Доложи, что, как только завершим операцию—приду,—ответил Векшин.

Через пятнадцать минут связной прибежал снова. По проступавшей среди камней и обломков тропинке Векшин побежал за солдатом.

Командный пункт разместился в глубоком, сводчатом подвале, озаренном мощным, гудящим светильником. Еремеев, накрытый шинелью, лежал на досках, в углу. Два санитара неподвижно стояли рядом. Возле Еремеева сидела Надя Виноградова, без шапки, с перевязанным, окровавленным лицом. Она жадно курила и, рукою отма-

хивая от комбата дым, смотрела перед собой неподвижным взглядом.

Еремеев глянул на Векшина, на светильник, на санитаров, скосил глаза в сторону Нади и прерывисто, трудно заговорил:

— Балина взяли в бригаду... говорят, там он сейчас нужнее... На левом фланге немцы просочились, окружили блиндаж Федорченко, он не сдался, стрелял до последнего патрона... И когда!—с душевной мукой выговорил Еремеев.—Когда войне скоро конец!.. Принимай батальон, на левый фланг пошли автоматчиков и разведчиков... И сам туда... А семье Федорченко напиши, жена у него, сыновья... старшему десять, зовут Мишей... А младшего не помню, как зовут.

Еремеев закрыл глаза, плотно сжал зубы. Вспоминал ли он, как зовут младшего сынишку Федорченко, или думал о батальоне? Надя наклонилась над ним, что-то зашептала ему на ухо.

— Куда вас ранило, Петр Степанович? — спросил Векшин.

— В руку их,—низким, сиплым голосом, кашлянув, проговорил санитар.

— В правую,—поспешно добавил другой, и оба они, взглянув друг на друга и на молчаливо смотревшую на них Надю Виноградову, опустили головы.

— В руку,—медленно и строго подтвердил Еремеев.— Дай мне закурить... оторвало руку.

Векшин осторожно поднял две накрывавшие комбата шинели. Правую руку майора Еремеева оторвало по локоть. В подвале было очень холодно, и вокруг мокрых от крови бинтов клубился пар.

Вбежал связной, доложил, что санитарная машина прибыла и ждет за развалинами.

Санитары подняли Еремеева. Он хотел было идти сам, но качнулся; его уложили на носилки, понесли вверх по лестнице. Векшин осторожно обнял за плечи Надю, повел ее вслед за носилками. Она с трудом переставляла ноги, смотрела перед собой невидящим взглядом.

— Как же это все?—услышал Векшин ее шепот.

Носилки с Еремеевым подвесили в машине на крюки, напротив него уложили Надю Виноградову.

Шофер, высунувшись наружу, тревожно прислушивался к свисту мин, искоса поглядывал в глубь машины.

Надо было прощаться. Горячий комок подступил к горлу, и Векшин почувствовал, что он не может сейчас просто выйти из машины и просто помахать ей вслед.

— Я с ним буду, попрошусь в один госпиталь,—громко проговорила Надя, угадав чувства Векшина.

— Спасибо, родная! — отозвался Векшин и поцеловал ее в бинты, закрывавшие лоб, в холодные, запекшиеся губы.

Еремеев приподнял голову, прислонился к стенке. Он слабо улыбался.

— Ты держись, Володька... А мы еще встретимся после войны... Поедешь отдыхать, разыщешь меня где-нибудь на Волге — и встретимся... А вот с Федорченко больше не встретимся.—Еремеев положил на подушку голову, тяжело, с хрипом в горле вздохнул, закрыл глаза, добавил по-командирски твердо, будто и не был тяжело ранен:—Иди, помни о левом фланге...

— Непременно встретимся! — глядя на Еремеева, пытаясь отвлечь его от тяжелых мыслей, весело воскликнула Надя.

Векшин поцеловал Еремеева, выпрыгнул из машины, хотел обернуться, посмотреть, как будет она пробираться среди воронок и развалин, но не обернулся. Надо было торопиться, его ждали неотложные дела.

Он побежал на левый фланг, отдал нужные приказания, потом вернулся на командный пункт.

Здесь его поджидал Мышанов. Он вышел на середину подвала и остановился. Они крепко пожали друг другу руки.

— Ну что ж, теперь мы с тобой будем здесь одни командовать! — проговорил Мышанов.

Векшин молча взял его за руку и подвел к большой, поставленной на днище бочке, на которой лежала оставленная Еремеевым боевая карта, испещренная зубчатыми овалами, стрелками и ромбиками.

24

Госпиталь был расположен на окраине крупного города. Окна палаты выходили на замерзшее большое озеро. По утрам, ожидая завтрака, раненые подолгу смотрели на заснеженный простор. По целине было протоптано множество тропинок, все вместе они напоминали гигант-

скую паутину, свитую на белом, слегка подсиненном полотне. По тропинкам шли на работу люди, все они очень торопились по утрам.

В палате самым старшим по военному званию был подполковник Ачба, абхазец по национальности, командовавший кавалерийским полком в прославленном и часто упоминаемом в сводках Совинформбюро корпусе. Ачбе было тридцать девять или сорок лет, желтоватое, горбоносое лицо его всегда казалось задумчивым и строгим. Характер же подполковник имел веселый и жизнерадостный.

Следующим в ряду был Алферов, летчик, тяжело раненный и в ноги, и в руки, и в грудь. У него было восемнадцать или девятнадцать ран, но держался он бодро. Алферов мечтал после излечения снова попасть в авиационную часть, очень боялся, что его мечта не сбудется, и, не вполне доверяя врачам, целые дни рылся в медицинских книгах, пытаясь найти какой-то особенно успешный и быстрый метод лечения, в существовании которого он не сомневался.

Рядом с Алферовым занимал койку партизан по фамилии Сашко, прибывший на самолете из белорусских лесов. В дальнем от двери углу лежал Петр Степанович Еремеев. В белой рубахе, посвежевший и пополневший, он, так же как и Алферов, целые дни проводил за книгами. Тумбочка, стоящая около его койки, была заложена книгами. Еремеева интересовали две области: военное дело и сельское хозяйство. Половина тумбочки была отведена под труды Вильямса, Мичурина, Лысенко, разрозненные номера «Советской агрономии» и «Колхозного производства», другую половину занимали «Курс стрельбы войсковой артиллерии», «Наставление по полевой службе штабов», номера «Военного вестника».

В этом же госпитале лечилась и Надя Виноградова. Она сдержала слово, данное старшему лейтенанту Векшину, и добивалась отправки в эвакогоспитали, в которые отправляли Еремеева.

Майор уже почти совсем поправился, и Надя стала навещать его реже, но думала о нем почти непрерывно.

Сидела ли она за вышивкой, слушала ли музыку в клубе, лежала ли на койке, в своей излюбленной позе, закинув за голову руки, мысли ее то и дело возвращались к Еремееву. Она отгоняла от себя эти мысли, сердилась

то на себя, то на Еремеева, но все было напрасно. Оставалось одно, признаться, что она любит майора. Но, раздумывая, борясь с собой, она пришла к мысли, что если это любовь, то она последняя в ее жизни. «Больше этого не будет. Будь осторожней, не ошибись!» — подсказывал ей внутренний голос. И трудно ей было признаться себе в любви к Еремееву. Да и за что было его любить, этого молчаливого человека, прожившего уже большую жизнь и совсем не необычного?!

Ей было жалко его. Она знала его сильным и властным; теперь же, когда он лишился руки, он казался неуверенным в себе, растерявшимся. Не любить бы ей его, а просто быть рядом, помочь прийти в себя, в трудную минуту подставить плечо.

Вспоминались предвоенные годы. Гриша Зайцев, замужество, Степан. Та ее любовь была радостной, как молодой сад в пору буйного цветения. Эта — если все-таки она любила Еремеева — робкой и нерешительной: так после жаркого и засушливого лета вторично цветет осенью черемуха.

Не нуждалась она ни в частых встречах, ни в сбивчивых огневых объяснениях. Только бы знать ей, что он, этот ничем, по ее мнению, не выдающийся, немолодой суровый человек, близко и чуточку думает о ней.

Первый раз она встретилась с Еремеевым на фронте, в заболоченном лесу, ранней весной. В госпитале, в палате Нади, больной солдат метался в жару и просил кислого. Кислого хотели и другие раненые. В свободное от дежурства время Надя выпросила у хозяйки избы, в которой жила, плетеную корзиночку, пошла на болото, долго бродила среди вздрагивающих под ногами кочек, прикрытых хрупким подтаявшим снегом, потом напала на ягодное место. Перезимовавшие крупные ягоды клюквы лежали в прогалинах прямо на освободившейся ото льда студеной воде, и она зашла по колено в воду. Корзиночка быстро заполнилась доверху. Надя выбралась на сравнительно сухое место, подмяла под себя куст можжевельника и села, чтобы переобуться.

За этим занятием и застал ее Еремеев. Он шел вместе со своим ординарцем, курносым и полнощеким Мизюркиным, в штаб бригады. Надя помнила, как удивленно вскинул Петр Степанович свои густые черные брови. «Вы кто такая?» — подозрительно оглядывая ее, спросил он. Надя

назвалась, обиженно протянула документы, и, когда она переобулась, они пошли вместе. Почему, интересно, Еремеев ждал, пока она переобуется: хотел ли с ней познакомиться или сомневался в подлинности документов, желал до конца убедиться в том, что неизвестная женщина — действительно лейтенант Советской Армии?

Они вышли на берег реки. Река разлилась, и по ней плыли льдины. Еремеев, Надя и Мизюркин остановились на берегу, смотрели, как льдины, сталкиваясь и налезая друг на друга, стремительно бежали по вздувшейся, бурливой воде. От мелькания льдин немного кружилась голова, но река в половодье манила к себе, почему-то волновала, пробуждала необычные мысли. На некрупной, круглой льдине среди грязной, почерневшей соломы и навоза копошилось что-то живое. «Зайчишка!» — весело вскрикнул Мизюркин и, загораясь охотничьим азартом, взялся было за автомат. «Чего зря стрелять? Ты же его достать не сумеешь»,—сказал Еремеев. Он расторопно огляделся, поднял с земли длинную сухую жердь, придержал около ледяной кромки одну из проплывавших мимо льдин.

Зайчишка, увидев людей и глядя на них красными, обезумевшими от страха глазами, забегал по соломе, запищал жалобно, не боясь людей, а ожидая от них помощи. Еремеев жердью направил вниз по течению льдину, столкнул ее с той, на которой плыл зверек. Зайчишка заметался, не решаясь прыгать. Упираясь жердью в льдину, Еремеев пробежал несколько шагов вниз по течению. И зайчишка прыгнул на льдину, оттуда на еремеевский сапог — и метнулся к лесу.

Потом все трое они долго смеялись, и Надя с удовольствием подумала, что этот суровый, с седыми волосами капитан не стал бы возиться с зайцем, если бы на берегу не было ее. Видимо, и Мизюркин это понял, потому что он поглядывал то на своего начальника, то на Надю лукаво и недоумевающе. «До свидания, лейтенант»,—сказал ей на прощание Еремеев и бережно сжал ее руку своими толстыми, сильными пальцами. «Прощайте»,—ответила Надя и побежала к своим раненым. «Если он посмотрит мне вслед, то я все разузнаю о нем, а если не посмотрит, то не буду»,—подумала тогда Надя и обернулась. Нет, Еремеев не смотрел на нее, он шел берегом,

опустив голову, и слушал то, о чем оживленно ему говорил Мизюркин.

Ночью, прислушиваясь к бредовым, сонным выкрикам раненых, Надя неожиданно для себя припомнила подробности этого маленького происшествия. «А все-таки я, если будет возможность, разузнаю, что собой представляет этот капитан»,—решила тогда Надя и улыбнулась своим мыслям.

Быстро, как река в половодье, пронеслись фронтовые дни. Теперь тот самый человек, о котором она думала в госпитальной палате, близко, в этом большом четырехэтажном здании. Их отделяют два этажа и два длинных коридора. Человек этот стал боевым товарищем, который понимает ее с полуслова, внимателен к ней и смотрит на нее со странным, волнующим ее и—если признаться самой себе — понятным ей выражением. Интересно, думает ли он о том, что через два-три дня она должна выписаться из госпиталя и ехать домой?

Соседки по палате, немолодой женщины, майора-хирурга, контуженной во время бомбежки, не было, она пошла в клуб. Надя взяла с тумбочки маленькое круглое зеркальце. Повязку с ее головы сняли, на лбу виднелись два небольших шрама. Наде казалось, что они придают ей черты какой-то нехорошей бывалости, и она нетерпеливо ждала, когда кожа на шрамах огрубеет, чтобы можно было ее припудривать.

В комнату постучали. Вошел Петр Степанович. Он еще не вполне окреп, и походка у него была медленной и нерешительной. Еремеев не присел, а заходил по комнате, упорно глядя в паркетный, составленный из крупных ромбов пол.

— Вот вы и уезжаете... Можно здесь выкурить папиросу?

— Можно.

Еремеев вынул из кармана полосатой пижамы папиросу. Надя из коробки, лежащей на тумбочке, достала спичку и, держа ее двумя пальцами за самый кончик, зажгла. Прикуривая, Петр Степанович посмотрел ей в глаза, и этот тревожный, нерешительный взгляд взволновал ее. «Вот сейчас...» — тревожно забилось сердце. Она забыла про зажженную спичку и, почувствовав острую боль в пальцах, вскрикнув, бросила ее на пол. Петр Степанович взял своей левой рукой ее руку, стал дуть на

пальцы. Была трогательна и немного смешна какая-то робкая неловкость и угловатость в его внимании.

— Надя, я пришел к вам, чтобы сказать... — где-то, словно в стороне, услышала Надя прерывающийся голос, и ей захотелось отдалить это объяснение, пролежать, не отвечая ничего, хоть одну ночь, наедине со своими мыслями, без сна, положив под голову руки и глядя в тускло белеющий потолок. «Вот и настала эта минута... настала... и надо отвечать...» — думала она, краснея и опуская глаза.

...На другой день вечером подполковник Ачба, поднимая единственный в палате стакан с ароматным густым вином, присланным подполковнику из Грузии, опасливо косясь на дверь и ногой задвигая в угол, за тумбочки, стоявшую на полу порожнюю бутылку, говорил:

— Сам хотел предложение сделать, да майор опередил. Повезло тебе, майор... За большое человеческое счастье пью, за вас, мои дорогие, кто нашел счастье на военных дорогах.

Летчик Алферов, осторожно прижав к забинтованной груди гитару, рванул струны, заиграл белорусскую плясовую.

Партизан Сашко не выдержал: правой рукой придерживая левую, раненную, выбил ногами замысловатую дробь и, огибая койки, прошелся по палате вприсядку.

Надя сияющими, искристыми глазами смотрела на Еремеева. Теперь для полного счастья ей не хватало только одного: победы.

25

Капитан Векшин, командир отдельного стрелкового батальона, перепрыгнул через кювет, заполненный талой стоячей водой, над которой кружилось облачко мошкары, забрался на старую невысокую ветвистую грушу и в массивный десятикратный бинокль стал рассматривать город, именуемый на карте Зеехаузеном. Вьющееся серой змейкой шоссе, подойдя к городу, сужалось, скрывалось за острокрышими домами и в центре города появлялось вновь, расходясь в виде буквы «у» в разные стороны. На площади, образованной стыком трех дорог, возвышалась строенная из бледно-розового кирпича, с узкими окнами кирка. Ровные ряды двухэтажных домов

подступали близко к свинцово отблескивающему в лучах восходящего солнца озеру, теряющемуся за горизонтом.

Был он безлюден и молчалив, этот небольшой городок, лишь на западной окраине наметанный глаз Векшина различил неясное вороватое движение и около кирки усмотрел замаскированную батарею.

Глянув в противоположную сторону, увидев, что с шоссе сводят лошадей, Векшин удовлетворенно отметил, что приданный батальону дивизион догнал пехоту. По другую сторону шоссе, из лощинки, доносилось фырканье танковых моторов.

Связи со штабом бригады не было, приказ о наступлении еще не был получен, но Векшин после короткого совещания со своим заместителем Мышановым, командиром дивизиона Глазуновым, высоким, черноусым, в роговых очках капитаном, и командиром танковой роты Стацюком, молодцеватым старшим лейтенантом в синем комбинезоне, решил с ходу, на свой страх начинать наступление.

Общий для всех приказ Родины — кончать с фашистами — давал право наступать даже без прямого приказания начальства, тем более что с минуты на минуту должны были подойти главные силы бригады и наши истребители кружились над городом.

Векшин повис на сучке, поболтал ногами, выбирая, куда опуститься, спрыгнул с деревца.

Офицеры, собравшись в придорожном кустарнике, расселись на мокрой земле; шурша картами, немногословно обсудили план наступления и разошлись по своим подразделениям сообщить солдатам боевой приказ. И хоть они не сговаривались между собой, но каждый сказал солдатам в заключение, что с фашизмом пора кончать.

Пока радисты, развернувшие в неглубоком, наскоро отрытом и сразу же заполнившемся водой окопчике рацию, выстукивали текст боевого донесения, Векшин вместе с Мышановым обходил поредевшие в недавних упорных боях подразделения.

— Настали дни, о которых мы с вами думали под Москвой, Старой Руссой, Малой Вишерой, Псковом, думали на маршах и в обороне,—говорил Мышанов солдатам.—Великая Отечественная война подходит к концу. Огненное кольцо вокруг Берлина сжимается...

Бой был жестоким. Артиллеристы, на руках выкатив пушки в боевые порядки пехоты для стрельбы прямой

наводкой, в упор расстреливали огневые точки противника. Пехота продвигалась неторопливо, выбирая надежные укрытия для перебежек и ведения огня, но уверенно и безостановочно. Приземистые красавцы «тридцатьчетверки» уже ворвались на окраинную улицу и утюжили выставленную гитлеровцами в полевой бой батарею автоматических зенитных пушек.

Налетели вражеские самолеты. Гитлеровцы, не считаясь с мирным населением, стали бомбить подступы к городу и его окраины. Вместе с Куныкиным Векшин забежал в облицованный зелеными изразцами особняк; бегло оглядели они пестрое крикливое убранство комнат и по железной с частыми перекладинами лесенке спустились в глубокий подвал, пропитанный запахом кислого вина.

Луч куныкинской черепашки, любопытствуя, бегал между бочек, ящиков и всевозможного хлама, пока в темном углу не наткнулся на группу притаившихся женщин.

— Гут морген, фрау, — похвастался своими познаниями в чужеземном языке Куныкин. Женщины одна за другой робко ответили и поспешно добавили:

— Гитлер капут.

При выходе из дома, в палисаднике, огороженном чугунной литой оградой, произошла неприятность. Векшин лежал на мокрой земле и старался понять, что случилось. Хотелось смочить рот водой, все кругом плыло, падало куда-то. Он выпростал из-под себя руку и потянулся ощупать грудь. Шинель была порвана, пальцы запутались в клочьях сукна. Векшин сообразил, что он оглушен разорвавшейся вблизи от палисадника некрупной бомбой.

Рядом ничком, раскинув руки и ноги, лежал Куныкин. Векшин потянул его за ногу. Куныкин поднялся, диковато оглядываясь, отряхнулся и, ничего перед собой не видя, пошел прямо на ограду.

Подбежал лейтенант Мишин, недавно назначенный командиром роты, совсем еще молоденький шустрый паренек из Вологды.

— Нате-ка, освежитесь,—налегая на «о», проговорил он и протянул Векшину алюминиевую баклажку.

Капитан без охоты отведал пряного, обжигающего гортань напитка и передал баклажку Куныкину.

Купыкин, хлебнув пару глотков, сразу же ожил, пришел в себя. Грозя массивным, четырехугольным кулаком в гудящее моторами небо, рассудительно проговорил:

— Ну как с такими психами воевать!!! Своих уже бомбят... Никакой возможности нет воевать...

А в небе завязался воздушный бой. Самолеты догоняли друг друга, падали в пике, ревели моторы. Пехотинцы, и не стараясь разобраться в шумной неразберихе, привычно ждали, когда одна из машин выкинет ленту черного дыма, окутается клубами и с грохотом врежется в землю. Только тогда и можно будет понять: радоваться надо или горевать. И точно: один из самолетов взревел, повалился на крыло, окутался дымом и еще в воздухе начал разваливаться на части. Различив черные кресты на плоскостях, солдаты радостно закричали.

Пехота повела уличные бои. Из окон нескольких окраинных домов жители уже выбросили белые простыни.

Заглушая могучим ревом артиллерийские раскаты, на шоссе показались тяжелые танки и самоходки.

Векшин, лежа на куче битого кирпича в оконном проеме полуподвального этажа, разговаривал по телефону с Мишиным, рота которого блокировала четырехэтажное большое здание. В подвал, на командный пункт батальона, перешагивая через кучи щебня, вошли новый командир бригады подполковник Фочкин, пожилой человек с одутловатым бледным лицом, его заместитель по политчасти Симоненко и несколько офицеров штаба. Полковник Бурлакин был переведен на должность командира гвардейской дивизии.

Векшин сполз с кирпичей на замусоренный цементный пол.

— Сколько у вас людей под ружьем?

Векшин ответил.

— Овладевайте четырехэтажным домом и выходите во второй эшелон... Всему личному составу — благодарность... Представьте немедленно списки на тех, кого следует наградить орденами и медалями. Вам лично — тоже благодарность, — отрывисто сообщил Фочкин.

— Служу Советскому Союзу!

Из слухового окна на крышу белого дома вылезли бойцы. Векшин, глядя на них в бинокль, узнал Мизюркина, Суханова и Федосеева. Потом к ним присоединился Мышанов с длинным свертком в руке. Он развернул его,

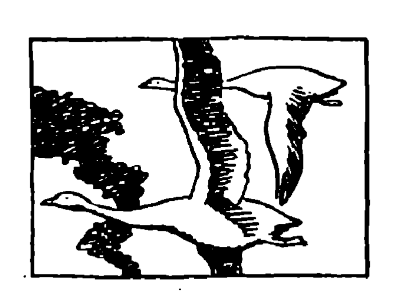
и в просвете между бурыми грозовыми тучами заструилось алое полотнище. Знамя укрепили на сломленной радиоантенне. Оно заплескалось радостно, победно, торжественно. Четыре советских человека стояли рядом, не прячась от пуль, и ладонями вытирали выступивший на их лицах смешанный с пеплом и гарью пот.

А по улице уже шли тяжелые танки. Вздрагивала под ними брусчатка мостовой, осыпались кирпичи с разбитых стен, мелко дрожали выкинутые из окон белые простыни.

Зарядил частый, с градом дождь. Блеснула неяркая, небольшая молния, послышался глухой, по-домашнему спокойный раскат.

Танки вступили на городскую площадь. Их было шесть. Они развернулись — по два на улицу, выходящую на площадь, — и застыли. Стрельба стихла. Ветер и дождь развеяли дым и пыль. Из-за края грозовой тучи пробились лучи весеннего солнца.

Прогремел одинокий орудийный выстрел. Артиллеристы, сделавшие его, еще не знали, что он — последний на этом участке фронта...



ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОВЕСТЬ



Глава первая*



1

Ветер был тяжелый, до отказа наполненный влагой, дымом, запахами увядания и гниения. Он зычно дул в непроглядной тьме реки в сторону несжатого ржаного поля.

В беззвездном небе смутно улавливались ошметья разорванных ветром туч. И ничего, кроме завывания ветра, шороха листьев да чавканья грязи, не было слышно. И хотелось посидеть в сухом месте у огонька, послушать спокойный человеческий говорок...

Они двигались по высокому берегу реки, то и дело оскальзываясь, спотыкаясь о кочки и мелкий кустарник, вытягивая вперед руки, чтобы не наткнуться на неожиданное препятствие. По отлогому склону спустились в овраг, по колено в грязи перебрались через ручей. А когда поднялись на взгорок, оказалось, что линия фронта невдалеке. Она легко угадывалась по пулеметным очередям и частому взблеску ракет.

По-прежнему в трех шагах трудно было что-либо разглядеть, хотя глаза, привыкшие к темноте, уже стали различать перспективу пространства.

Первухин, пропустив мимо себя вновь прибывших, привычным движением нащупал кобуру: пистолет и две запасные обоймы на месте. Новиков был не в пилотке, как все остальные, а в меховой ушанке, и силуэт его с неправдоподобно крупной головой проступал из туманной мути. На ходу он забирал правее всех, рискуя оступиться и свалиться с крутого берега вниз, на узкую прибрежную полоску.

Перед ходом сообщения их неожиданно окликнул часовой, и все остановились, пропуская вперед Первухина. До штаба батальона отсюда было шагов пятьдесят, не больше.

* Повесть печатается с сокращениями.

Штаб — это врытый в крутой берег довольно просторный блиндаж. Блиндаж как блиндаж, посреди — стол. У обитой досками стены — двухэтажные нары. Возле двери — печурка. Дымоход сделан с расчетом, чтобы дым стелился по реке. (Однако это не вполне оправдалось: большая часть дыма остается в блиндаже, к нему притерпелись.) Над головой четыре наката из бревен и слой камней, утрамбованных землей и покрытых сверху дерном. Издали в бинокли и стереотрубы виден лишь бугор.

В штабе — командир отдельного батальона Еремеев. Мускулистый, светловолосый, широкоскулый, с глубоко сидящими глазами тридцатипятилетний человек. Напротив него, за столом, комиссар Балин — худощавый, с крупным носом, узкоплечий. И еще в блиндаже Якимец, врач, красавец и, по фронтовым понятиям, щеголь — в серой, старательно отглаженной гимнастерке, в новеньком, хрустящем снаряжении и хромовых сапогах. Загадочно, как удавалось ему сохранять сапоги в чистоте. Вокруг грязь непролазная, а у него сапоги горят черным пламенем!

На столе ведерный самовар старинной тульской работы, с блестящим ликом, украшенным многочисленными медалями. Начальство пьет чай из жестяных консервных банок. Жесть сильно нагревается, но все же из них пить чай удобнее, чем из крышек котелков. Пьют важно и степенно, вприкуску. Рядом с самоваром на столе штык, чтобы колоть сахар.

Еремеев, а за ним Балин и Якимец смотрят на восхищенного Первухина.

— Откуда это у вас, товарищ капитан? — с радостным удивлением спрашивает Первухин.

— Что «откуда»? — делает вид, будто не понял вопроса, Еремеев и многозначительно косится на Балина и Якимца. Те охотно вступают в игру.

— О чем ты? — говорит Якимец.

— Что тебя, старший лейтенант, так озадачило? — поддакивает Балин.

— Чудо современной техники! — указывает на самовар Первухин и отстраняется, чтобы прибывшие также могли полюбоваться самоваром: «Вот ведь, черт возьми, как домовито мы воюем!» — И поет?

— Послушай! — отвечает Еремеев, жестом призывая к тишине.

Все замирают. Самовар поет. Как встарь, как в родном доме, как в мирной жизни!

— Ишь скотина! — одобрительно отзывается Первухин.

— Вещь! — подводит итог комиссар Балин. — Нравится?.. — И добавляет другим голосом, служебным и немного извиняющимся: — Садитесь, товарищи... Вот тут на нары садитесь.

— Стало быть, прибыло пополнение офицерского корпуса, — не то спрашивает, не то просто отмечает это событие Еремеев.

Первухин встает, подтверждает.

— Ну, пейте чай, — предлагает Еремеев и наливает кипятку в стоящие на столе кружки. — Пейте чай из самовара. Берите сахар и пейте, пока не согреетесь...

— В земле раскопали этот аппарат, — поясняет Якимец. — Рыли новый блиндаж для санчасти. Лопатой зацепили, думали — камень, а потом видим — металлический блеск. Медведев, санитар — ты знаешь его, — как закричит: «Осторожно, чует моя душа, неразорвавшийся стопятидесятимиллиметровый снаряд». Я подошел, вижу, штуковина в тряпицу завернута, а рядом другая. «Как же, говорю, в тряпку-то неразорвавшийся снаряд завязали? Не иначе здесь археологическая находка. Окапывай со всех сторон и вынимай на свет». Вот и вынули два самовара, другой — чуть поменьше — мы санчасти оставили... Видимо, зарыла их в землю какая-нибудь горемычная колхозница.

Еремеев и Балин расспрашивают новых командиров о прежней службе, а Первухин тем временем пьет чай. Если пить чай не каждодневно, то в полной мере ощущаешь его вкус. Тогда он заметно бодрит, прибавляет сил. Свет лампы падает на лицо Первухина. Интересно, узнал ли его Новиков? Вот он смотрит на него, потом равнодушно переводит взгляд и говорит, что родился в Белоруссии в тринадцатом году. Узнал ли? Первухин ставит на стол пустую банку и свертывает папиросу.

— Ничего ужасного не произойдет, если ты часок-другой отдохнешь, — прерывая свои вопросы, вполголоса, совсем по-домашнему говорит Еремеев.

— Хотел еще в боевое охранение сходить, — отвечает Первухин, — посмотреть, как там дела. Утречком посплю.

Он плюет на окурок, надевает каску и выбирается на

поверхность. Моросит дождь. Вдали постреливают. Мины ложатся километрах в двух, на вытоптанном танками, несжатом поле, озаряя при разрывах окрестности неживым, колеблющимся светом. Картина обычная: поле с побуревшей примятой рожью, гребень дальнего леса, черные печи, оставшиеся от домов, обугленные мертвые деревья, кучи пережженной земли. В момент разрыва все это проступает довольно отчетливо, потом принимает багровый оттенок, тускнеет и исчезает с неправдоподобной быстротой — будто ничего не было.

Первухин прыгает в ход сообщения, поднимает воротник шинели, идет быстро, чтобы согреться.

В конце концов не так уж важно, узнал ли его Новиков. При случае и сам Первухин напомнит ему о себе. Просто так, ради интереса напомнит.

В боевом охранении Первухин пробыл почти до рассвета, наблюдая за обороной гитлеровцев и обсуждая с разведчиками, как бы осмотреть скрытый за изгибом реки участок. Река, ее берега просматривались лишь до изгиба и метрах в ста за ним. Фашисты это, несомненно, учли и как-то использовали. Не могли они не воспользоваться этим выгодным участком для своих целей. И надо было во что бы то ни стало проверить это...

В штаб Первухин вернулся засветло. Перед тем как нырнуть в крытую траншею, заканчивающуюся входом в блиндаж, оглянулся.

Река дымилась... Сквозь клочья тумана поблескивала свинцовая вода. За рекой длинными размеренными очередями стучал пулемет. Все остальное, способное вести огонь, молчало.

Еремеев и Балин спали... В углу, около печурки, сидел солдат-связист. Привязав к уху телефонную трубку, он задумчиво разгребал угли. Первухин вынул кисет. Они свернули по папиросе и молча выкурили их.

Потом Первухин снял сапоги, положил их в угол на нары, чтобы не искать в случае тревоги, и улегся, накрывшись шинелью.

За минувшие сутки он здорово устал, но заснул не сразу. Все-таки встреча с Новиковым взволновала его, заставила вспомнить то, что забылось, откатилось куда-то в сторону.

2

Здесь, на фронте, не сразу поймешь, что раньше было важным, а что — сущей безделицей. Прежде, к примеру, не чувствовали с такой очевидностью прочности нитей, связывающих отдельных людей и отдельные семьи в народ с его единой судьбой. Строили на длительные сроки личные и семейные планы. Смотрели далеко вперед, не отводя места ни несчастью, ни случайностям.

Но это ли важно?

Все ведь было иначе...

Были общие радости и общие огорчения, надежды, планы, мечты, заботы, маленькие и большие ссоры, примирения, разлуки, прощания... Была семья: отец, мать, сестра...

Были две комнаты, в каждой по два окна с синими сатиновыми шторами, с простецкими венскими стульями, двумя креслами с высокими спинками, с кожаным уютным диваном, расстроенным пианино немецкой работы, стенными часами с хриплым боем, двухнедельного завода, и много книг.

Были хорошие слова о благородстве, честности, служении народу, никому не казавшиеся ходульными и выспренними.

Была первая любовь, оставившая в сердце пустоту да холодок, неприятный, как озноб.

Все было, все...

По утрам первой вставала мать. Она одевалась и шла на кухню. В передней одна половица, только одна, скрипела затяжно и пронзительно. Мать всегда попадала на нее и всегда после этого замедляла шаги, досадуя: никто в семье не спал ни минуты лишней, и кому же, как не ей, охранять семейный покой?

Потом струя воды била в раковину. Мать разжигала примус, готовила завтрак, накрывала на стол.

Так начинался будничный день.

Анатолий вставал вместе с отцом. Завтракали молча, только мать иногда говорила за завтраком. О том, что Ляле надо купить зимнее пальто с приличным воротником. О том, что Толя чересчур увлекается коньками и этим глупым боксом, было бы лучше, если бы почаще думал о вступительных экзаменах в институт. О том, что хорошо бы с осени заготовить мешка три картофеля (чу-

лан подходящий есть) — не придется так часто ходить на рынок и безбожно переплачивать. И еще неплохо бы нашинковать бочку капусты. О том, что отцу надо в конце концов поехать в санаторий подлечить сердце. В Кисловодск. В этот курорт особенно верила мать. Правда, она никогда не была там, как и вообще на курортах, но кто-то ее убедил, что Кисловодск хорош для сердечников.

Позавтракав, отец и Анатолий собирались: отец — на работу, Анатолий — в школу. В это время вставала Лялька, в школу ей надо было на полчаса позже. Над Лялькой непременно подшучивали — или отец, или Анатолий, а иногда и оба вместе. Так уж было заведено. За Ляльку вступалась мать. Лялька же молча садилась за стол, хмурилась, но как-то не всерьез, готовая вот-вот рассмеяться.

Мать успевала выглянуть на улицу и, вернувшись, сообщала, какая погода и что кому следует надеть.

А еще полноправным членом семьи был старый, коричневый, с густой проседью сеттер Дым. Покончив со своим завтраком, он растягивался в передней, напротив входной двери, и всем приходилось перешагивать через него, рискуя наступить на виляющий хвост. Дым дожидался, когда все разойдутся и хозяйка выведет его на прогулку. Все бурчали на собаку за то, что она разлеглась на самом ходу, но никто не гнал, терпеливо перешагивая через нее.

Были вечера, когда каждый занимался своим делом. И только впоследствии Анатолий понял, что в те вечера каждый чувствовал, знал, о чем думает другой член семьи, какое у него настроение, что тревожит его и что радует.

Были чудесные дачные дни, походы за грибами и ягодами.

Отец, Сергей Сергеевич, был инженер. Он занимался пластическими массами. Это была новая и загадочная область. Кроме хрупких гребешков и таких же граммофонных пластинок из пластмасс в те времена почти ничего путного не делали, но сведущие люди уже тогда говорили, что область эта очень важная и что пластмассам принадлежит будущее.

Часто в семье бывали гости: товарищи Анатолия, подруги Ляльки, сослуживцы отца, родственники. Гостям подавались чай, хлеб и масло. Больше ничего. Отец считал, что в будние дни гостей надо угощать тем, что со-

ставляет обычную пищу семьи. Пыжиться и разыгрывать из себя аристократов нечего... Исключений ни для кого не делалось, даже для давнего друга отца Степана Никитича Прохорова, в прошлом профессионального революционера, занимавшего в тридцатые годы важный государственный пост.

Сергей Сергеевич сдружился со Степаном Никитичем на Севере, куда угодил студентом за участие в марксистском кружке. Степан Никитич был крупный человек, с нескладной фигурой, сутулый, очень сильный физически. Ходил он, слегка косолапя, носил темные косоворотки, подпоясанные красным шнурком — по тем временам это был вполне допустимый и для государственного деятеля наряд, — и очень много курил. Надо было иметь действительно крепкий организм, чтобы столько курить. За разговором он почти не выпускал папиросу изо рта, разжигая от выкуренной папиросы новую.

...Пять или десять минут понадобилось Анатолию Первухину, чтобы бегло припомнить годы детства. Ему захотелось перебрать в памяти и последующее, попытаться еще раз осмыслить события, решить, как вести себя с Новиковым... Ведь с ним, с Новиковым, было связано очень неприятное событие в жизни Анатолия. Но Первухин был слишком утомлен за день и большую половину ночи. Ему пришлось много мотаться по обороне, ходить в штаб бригады, отстоящей от переднего края на восемь километров. И поэтому Первухин заснул, не припомнив того, что хотелось припомнить, и не приняв никаких решений.

Разбудили его на рассвете, и ему показалось, что он совсем не спал. Просто влез на нары, снял сапоги и только накрылся шинелью, как его тут же стали трясти за плечо. Сержант Зайцев извиняющимся голосом сказал, что командир роты старший лейтенант Герасимов послал за ним.

— Дзот противник возвел на возвышенности аккурат супротив мыска, где валяется битый кирпич и всякий мусор. А как воздвиг, нам неизвестно и непонятно: ни стука топоров не слышно было, ни того, чтобы землю рыли и бревна таскали...

— Прозевали! — упрекнул сержанта Первухин и сел на нарах, растирая ладонями заспанное лицо.

— «Аккурат супротив мыска»... — передразнил сержанта Зайцева и Первухина командир батальона. — Про-

зевали... — Еремеев поднялся и точно так же, как Первухин, принялся растирать руками лицо. — При добросовестной работе разведчиков не должно быть таких неожиданностей. А работу разведчиков кто должен организовать? Штаб обязан организовать... Надо посмотреть, что там немец за ночь воздвиг.

3

Хоть и длинна осенняя ночь, хоть и свирепствовал ночной ветер, скрадывал звуки, все же было загадкой, как сумели гитлеровцы от наступления темноты до рассвета соорудить дзот на склоне кургана, отделенного от нашей обороны рекой не шире каких-нибудь тридцати пяти — сорока метров... Правда, замаскировали они его неудачно, и амбразура, обшитая досками, выделялась на фоне пожухлой травы. В бинокль было видно и черное колечко с приливом наверху — ствол пулемета с мушкой.

Еремеев, Первухин и командир роты Герасимов из глубины траншеи поочередно внимательно осмотрели дзот. Для наблюдений за врагом в бруствере траншеи был укреплен старый чугунок с двумя небольшими отверстиями в днище. Через чугунок этот, как видно, давно уже выкинутый за непригодностью безвестной крестьянкой из сожженной деревни, и наблюдали, не опасаясь привлечь внимание фашистских пулеметчиков.

— Раза три они, правда, из пулеметов принимались палить. Я еще подумал, что бы это могло их встревожить, никаких таких дел в эту ночь на переднем крае у нас нет. А они под пулеметный треск, видать, гвозди и заколачивали, — вполголоса вспоминал Герасимов.

— Ловко, а? — покачал головой Еремеев.

— Ловко, — сердито согласился Герасимов.

Первухин хмуро подтвердил:

— Ловко.

— А может, они на живую нитку... Позвольте доложить: в одном историческом сочинении я читал, как при царе Грозном Казань брали... Город целый, Свияжск прозывается, в разобранном виде по Волге перевезли, чтобы, значит... — начал было стоящий позади командиров сержант Зайцев. Однако про взятие Казани он рассказать не успел. Все же вражеский пулеметчик, уловив движение в траншее или услышав голоса, пустил из дзота длин-

ную очередь. Пули взметнули землю на бруствере. Одна срикошетировала о камень, взвилась вверх и запела — тоненько, гнусаво. Всем пришлось присесть на дно траншеи.

— О казанском взятии — это интересно. Но ты потом об этом, — рассеянно сказал Еремеев. — Думается мне, начштаба, у артиллеристов огня следует попросить, авось не откажут. Опиши им обстановочку. Уж очень нахально дзот этот торчит, да и на открытом месте...

Первухин прошел на командный пункт роты, связался с артиллеристами, сообщил координаты нового дзота, потом вернулся в штаб батальона.

Артиллеристы обещали помочь. Скоро зашелестят над головой снаряды. На слух покажется, что они догоняют один другого. Снаряды будут взрываться на склоне кургана. Ожидая эти привычные звуки, Первухин сел на нары, прислонился к стене. Артиллеристы мешкали. Как видно, уточняли данные. Первухину хотелось спать. И хотелось еще подумать о прошлом.

...Была Катя, быстрая, кареглазая Катя. Парашютистка и общественница. Она переселилась в Москву из Ярославля, в десятом классе они учились вместе и вместе поступили в институт. Так уж вышло.

Анатолий считал, что глупо в ранней молодости связывать свою судьбу, следовало подождать хотя бы до первых неопекаемых жизненных шагов. А еще лучше дождаться заката молодости, лет тридцати — тогда и этот возраст казался почтенным.

Все эти соображения отступали, когда Первухин видел Катю, говорил с ней, сидел рядом, думал о ней. Все в ней привлекало, звало. У нее было правильное лицо, тонкие, красиво очерченные губы, пышные волосы. Волосы у Кати были удивительные — искрящиеся, светло-каштановые, а на лоб спадала совсем русая прядь. Эта прядь придавала лицу Кати шаловливое, задорное выражение. После того как Катя поступила в институт, она перекрасила волосы в золотистый цвет. И стала еще красивее. Катя просто исправила неверный, фальшивый мазок природы, и не знавший ее прежде никогда бы не поверил, что волосы у нее были иного цвета. С Катей было легко и просто. Казалось нелепым потерять ее.

Они вместе возвращались из института, вместе занимались в библиотеке, иногда сидели рядом на лекциях.

Как-то осенним вечером, после кино, они присели на скамейке в безлюдном скверике.

Катя, доверчиво положив руку ему на плечо, говорила о только что просмотренной картине. По мнению Анатолия, фильм был дрянной, а Катя так восхищалась им, что ему не хотелось огорчать ее. А вскоре Анатолий и вовсе перестал слушать девушку: голос ее то отдалялся, то приближался, туманя сознание. Он следил за вспыхивающими в глазах Кати огоньками.

— Ты славная, Катя, очень славная, самая славная, — сказал Первухин. — С тобой хорошо. — И привлек девушку к себе.

Катя не удивилась и не отстранилась. Она огляделась по сторонам и, закрыв глаза, подставила губы.

А неделю спустя так все обернулось, что вспоминать горько. Да и нужно ли вспоминать... Пришлось тогда Анатолию институт оставить. И все из-за глупости Кати и вот этого Новикова...

...Наконец над блиндажом зашелестели снаряды. Звук их отчетливо слышался в землянке. И тотчас же, сотрясая землю, раздались взрывы. Первухин поспешил к выходу. По дороге он думал, что ему еще придется вернуться к своим размышлениям. Вспомнить надо много. Ведь человек, что нагромождал на него нелепые обвинения, — это Новиков, лейтенант, которого он привел из штаба бригады, назначенный командиром взвода. Первухин узнал его еще в строевом отделе штаба бригады, узнал сразу, не видя лица, как только Новиков прерывисто заговорил, растягивая гласные звуки. Голос этот врезался в память Первухина. Новиков, видимо, не сделал карьеры, что-то помешало ему.

...Еремеев и Герасимов, пригнувшись, чтобы не попасть под осколки, стояли в траншее и, высовываясь после разрывов, наблюдали, как ложатся снаряды. Невдалеке от них младший лейтенант артиллерист Чертовских корректировал огонь. Топорща свои молодецкие усы, артиллерист высоким голосом яростно выкрикивал в телефонную трубку поправки. Из соседних траншей также смотрели за работой артиллеристов.

Немецкий дзот окутался непроглядным облаком дыма и пыли. Младший лейтенант Чертовских все же что-то разглядел, крикнул в телефонную трубку. Через минуту залпом грохнули еще три выстрела. Над облаками клубя-

щегося дыма взлетели бревна. Одно из них упало в реку, скрылось под водой, потом показалось на поверхности и быстро поплыло по течению.

В ответ ударила артиллерия противника. Началась артиллерийская дуэль.

А день занимался — обычный сумрачный осенний день, каких уже много было позади.

4

Первухин вернулся в штаб и стал заканчивать схему обороны, которую давно надо было представить в штаб бригады. Возвратился и командир батальона Еремеев. Через плечо Первухина, дыша ему в затылок, он долго рассматривал схему, потом сказал:

— Бюрократом тебя не назовешь, но копаться любишь. От чернильной работы отлыниваешь, старший лейтенант... А между прочим, о схеме этой мне каждодневно напоминают, а я долдоню одно и то же: «Нынче начштаба, старший лейтенант Первухин, самолично привезет, уже лошадь подседланную ему подвели, чтоб ускорить это дело...» А правду сказать: на бумаге здорово все получается — хоть в учебник по тактике...

— Что на бумаге, то и на местности, — отозвался Первухин. — Внезапного удара можно не опасаться... Вот только почему, товарищ капитан, им вздумалось дзот на самом берегу ладить? Я так полагаю: либо новое начальство прибыло — рвение проявляет, либо пополнение надо размещать...

— Не думаю, чтобы большое пополнение сюда прислали, — покачал головой Еремеев. — Все на юг идет...

— А у нас по-прежнему тихий фронт?

Еремеев кивнул было головой в знак согласия, но тут же поднял голову, прислушиваясь. По окружности часто забарабанили крупные мины. В блиндаже казалось, будто усовершенствованной «бабой» вколачивают в землю многочисленные сваи. Не обычной, а именно усовершенствованной, потому что мины ложились очень густо. Одна из мин взорвалась на накате блиндажа. Лампа слегка подпрыгнула и погасла. По блиндажу пополз светлый, видимый в сумраке дым.

Первухин принялся искать спички, шаря по заваленному бумагами столу. Найдя, зажег лампу.

— У нас вот этак, по-всякому, — дождавшись, когда в блиндаже стало светло, вернулся к прерванному разговору Еремеев. Потом он сел на пол возле телефона и стал звонить в подразделения, чтобы выяснить, нет ли потерь от внезапного налета. Людских потерь, кажется, не было. Ранило лишь в живот и ногу одну из лошадей полевой кухни. Еремеев распорядился, чтобы составили комиссию, осмотрели лошадь, и если окажется, что ранение серьезное, то прирезать ее на котлеты. — Учти, — говорил кому-то Еремеев, — лошадей у нас лишних нет, не хватает у нас лошадей... Верить-то верю, но предупреждаю. — Последнее слово Еремеев произнес раздельно, собеседник не мог не понять, что в случае обмана его ждет суровое возмездие.

Первухин тем временем кончил работу над схемой. Сложив ее и старательно запечатав, он вышел из блиндажа и приказал связному к вечеру непременно доставить в штаб бригады. После этого поправил снаряжение и взял каску:

— Я в роту Герасимова.

Он приостановился у порога, ожидая, не скажет ли чего Еремеев. Тот ничего не сказал. Первухин вышел.

Над водой еще стелился дым, пахло гарью. Из траншеи, тянувшейся вдоль берега реки, доносилась ружейная стрельба.

— В чем дело, братцы? — поинтересовался, проходя мимо, Первухин.

— Мы так полагаем: высокий чин по ихним окопам ходит, нашу оборону надзирает, выглядывает в разных местах. В черной шинельке, фуражка с золотым козырьком. По осанке видать — начальник, — простуженным голосом ответил один из солдат, досылая в патронник патрон и старательно прицеливаясь. — Робок стал, сукин сын, один козырек виден, а то все выглядывал, — выстрелив, добавил солдат.

— Ты наперед угадай, где высунется, — посоветовал Первухин. — Дай-ка я попробую...

— Разрешите мне самому, товарищ старший лейтенант. Пристрелялся я, да и охота мне этот золотой козырек подпортить ему...

Первухин глянул в хмурое, со впалыми щеками лицо солдата и пошел дальше:

— Ну, старайся!..

Командир роты Герасимов возле командного пункта разговаривал с двумя сержантами, командирами отделений. Они говорили вполголоса. Один из сержантов кивнул в сторону болота, расположенного в стыке между частями, на нейтральной полосе. Первухин понял, что речь идет об огневой точке, для которой выбирается место.

Герасимов был хорошим командиром. Это знали все в батальоне. Говорил он почти всегда очень спокойно: приказания отдавал таким тоном, будто советовался, советовался так, словно сидел с другом за чашкой чая. В этом он, кажется, подражал командиру батальона Еремееву, с которым давно служил. Но подражание настолько укоренилось в нем, что стало присуще ему, вошло в характер. Все, что говорил и делал Герасимов, было серьезно и основательно.

Увидев Первухина, Герасимов глазами указал на блиндаж и кивнул головой в знак того, что скоро освободится. По каким-то приметам Герасимов сумел определить, что Первухин заглянул к нему без определенного дела, просто так.

Первухин входит, усаживается. Замечает на столе домино и начинает машинально перебирать кости.

— Забьем «козла», — предлагает он Герасимову, вернувшемуся в блиндаж в сопровождении политрука роты Абросимова и артиллерийского младшего лейтенанта.

Берут кости. У Первухина партнером — Абросимов, тщедушный, белобрысый, у Герасимова — младший лейтенант с молодецкими усиками и редкостной сибирской фамилией Чертовских.

За игрой говорят о резиновой лодке, которую вчера упустили немцы и поймали наши саперы. Думали, что лодка заминирована, а оказалось, что нет, в ней нашли кисет с табаком и коробку спичек нашего производства. Вспомнили о только что разрушенном артиллерией дзоте, о том, что пора бы получить зимнее обмундирование, о том, что долго еще, по всей видимости, придется просидеть на этом участке и надо бы всерьез подготовиться к отоплению блиндажей и заготовить сухих дров. Потом кто-то передал, что из штаба армии вышел слух, будто собираются ввести погоны, но только скорее всего, это неосновательный треп...

Потом Первухин спросил у Герасимова:

— Как твой новый командир взвода, Женя?

Герасимов пожал плечами в знак того, что еще не составил мнения:

— Кто ж его знает? Ни в бою с ним не был, ни водку вместе не пил... Спит вот только бескультурно: храпит, как циркулярная пила.

По существу вопроса ответил Абросимов:

— Бывалый. Обвыкнет, станет хорошим командиром... Только бы с солдатами ему попроще держаться, меньше бы себя, когда не надо, начальником показывать.

— А где он сейчас?

— Знакомится с обороной.

Новиков появился спустя полчаса, перед ужином. Поздоровался, снял каску и автомат, вытер пот с лица.

— Прогулялся? — спросил Первухин, всматриваясь.

Блиндаж был слабо освещен, и лицо собеседника он видел плохо.

— Да. Теперь над картой немного посижу — и тогда картина будет полностью ясна.

— Быстрый. Мы уж больше полгода никак полной картины не составим... Зовут-то тебя как? — продолжал Первухин, с силой ударяя костяшкой по столу. Так уж было принято в батальоне — во всю силу стучать костяшками. И столы в блиндажах ладились с учетом этого...

— Лейтенант Новиков, — с недоумением в голосе доложил Новиков.

— А когда девушку целовал, как она тебя называла?

— Девушка Митей называла, — без улыбки отозвался Новиков.

— Не теряйся. Так и выкладывай: дескать, девушка говорила: «Не надо, Митенька, ты на войну уйдешь, а что я мамаше скажу...» — вступил в разговор Чертовских, но шутка повисла в воздухе.

— Хочу я тебе, Митя, предложить... — после молчания заговорил Первухин. — Хочу я тебе предложить в боевое охранение сходить, оно у нас около развалин часовни. Просидишь ты денек в дзоте и разберешься, как оборона противника построена, как служба организована... Оттуда все видно и наблюдать удобно... Траншеи, правда, к дзоту нет, ну мы с тобой в темноте через лужок перебежим, авось не подстрелят... Как, Женя, отпустишь его?

— Пусть сходит, — равнодушно согласился Герасимов. — Это ему на пользу. Для толкового командира по-

учительно денек в боевом охранении просидеть. Толковый командир много для себя полезных выводов сделает.

— Давай сходим, — поддержал и Новиков.

«Кажется, с интересом отнесся, не трус, — мельком подумал Первухин. — Или просто не знает еще, как это на брюхе под огнем ползать?»

Глава вторая

1

Переговорив по телефону с Еремеевым и сообщив ему, что задержится в боевом охранении, Первухин похлопал Новикова по плечу. Они вышли с командного пункта роты в момент, когда окончательно угас дневной свет, но темнота еще не сгустилась.

Им предстояло пройти ходом сообщения до поворота реки, подняться на всхолмье и, достигнув разрушенной деревни, переползти или перебежать (в зависимости от обстановки) открытый луг. Боевое охранение располагалось среди груды камней, составлявших некогда фундамент часовни. Рядом с ней струился родниковый ручеек, петлявший по лугу и затем по оврагу скатывающийся к реке. Остатки часовни вклинивались в нейтральную полосу, а в полутора десятках шагов от них проходила вражеская траншея. В дзот боевого охранения обычно проникали только с наступлением темноты.

Вода в ручейке была чистая и редкостно вкусная. Населения в прифронтовой полосе не было, но бойцы говорили, будто до войны вода родника славилась целебными свойствами, а верующие, приходившие сюда издалека и жаждавшие исцеления или исполнения заветных желаний, считали ее святой. Как-то Первухин прихватил с собой в штаб котелок и две бутылки этой воды. Вскипятили чай, и Еремеев, большой любитель чаепития, одобрил воду, сказав, что ему только однажды в своей жизни приходилось пить такую родниковую воду у подножия знаменитых Жигулей. Впрочем, он тут же настрого предупредил, чтобы воды больше из родника не брали, не подавали дурной пример, а то неизбежно будут потери личного состава. Так что теперь водой баловались лишь солдаты боевого охранения.

...В ходе сообщения Первухин чуть поотстал, чтобы поправить сбившийся носок, Новиков тоже задержался, сказал:

— Скучно мне как-то вчерашней ночью было — и местность незнакомая, а ганс где-то поблизости, и сопровождающий попался злой, погруженный в свои воспоминания... С непривычки-то было мне не по себе, щекотно как-то...

Оказывается, этот человек все помнил, что-то уловил, о чем-то догадался. Больше они ни о чем не говорили, идти было трудно, темно и скользко, дождь хлестал в лицо. Значит, Новиков все-таки думал о нем, волновался.

А может, и в самом деле в управлении человеческим организмом участвуют какие-то микротоки? Наверное, они, эти проклятые микротоки, способны выдавать самые сокровенные мысли и намерения. Недавно в штабе об этом говорил лейтенант связист Тыркалов: «Тебя здесь, на переднем крае, чокнула пуля, а за тысячу километров через несколько секунд мамаша руками всплеснула, головой в шитье уткнулась, по сыночку разрыдалась. И никакой тут загадки нет, а есть настройка сознания на одну волну с родным человеком».

Врач Якимец с ним спорил: «Самая настоящая чертовщина. До войны за такое в богостроительстве обвиняли бы... Никаких тайн в человеческом организме нет, все известно до последней косточки...»

Первухин подумал, что следует сделать вид, будто он не понял слов Новикова, но не сдержался:

— Ты, дорогой лейтенант, тех вон военных опасайся, которые зеленые френчи носят и на пряжках у которых «с нами бог» выбито, а не тех, что в одинаковом с тобой обмундировании ходят. Жизнь у тебя, видать, заковыристая, раз ты на своих с опаской оглядываешься. Трудно тебе, лейтенант, воевать будет: и вперед смотри, и сзади остерегайся, так вот и верти головой, как ворона на заборе.

— Что ж одного меня жалеть? Воевать-то всем нелегко, да надо. К дисциплинке же я издавна приучен, приказания выполняю беспрекословно.

Они дошли до излучины реки и остановились. Здесь надо было выбираться из хода сообщения, но для этого еще недостаточно стемнело. Следовало подождать, пока окончательно погаснут сумерки.

Гитлеровцы то и дело посылали сюда осветительные ракеты. «Рановато вступила эта пиротехника, — видно, ночь будет беспокойная», — отметил про себя Первухин.

Прочертив дугу, ракеты падали, угасая, рядом с ходом сообщения. Стержни ракет еще подолгу тлели неярким красноватым светом.

Они стояли рядом — два командира в одинаковых шинелях с металлическими пуговицами, обтянутыми зеленым материалом, в одинаковых касках и снаряжении.

Разговаривали вполголоса: по ходу сообщения то и дело проходили бойцы, сменившиеся и заступающие на посты. А они оба не хотели, чтобы другие уловили смысл их слов.

— Жалеть-то я тебя, лейтенант, не собираюсь. Я вдов жалею да сирот тех, кто на войне погиб, и тех, кто еще погибнет... Чудно как-то: стоим мы с тобой — такие разные — в траншейке, с пистолетиками, а позади нас Россия — обширная страна...

— Правильно ты сказал: позади — обширная страна. И нет у нее в трудный час никого, кроме нас... Вот и выходит, что самое время нам мелкие недоразумения забыть...

Странное дело: еще недавно мимо этих двух командиров равнодушно проходили бойцы, а теперь... Старший сержант с термосом за плечами остановился поодаль и напряженно всматривается в две застывшие фигуры. К нему присоединился боец с забинтованной шеей, возвращающийся, по всей видимости, из медсанроты, в свое подразделение.

Оба командира все еще молчат, и в их позах давно уже нет ничего угрожающего. Но старший сержант и боец все оглядываются и оглядываются на них.

2

Оба наконец успокоились, оба решили, что ссориться глупо. В конце-то концов, какими бы они ни были разными, но сейчас они почти что братья, и судьба у них может оказаться родственной: взорвись поблизости, в так называемой зоне абсолютного поражения, снаряд или мина — и лежать им рядышком. Кости их так перемешаются, что не определишь, кто из мертвых Первухин, а кто Новиков.

Это была просто вспышка. Что там ни говори, а на переднем крае и в самом деле нервы у людей предельно напряжены, и потому так внезапно выходят они из себя.

— Вроде стемнело, лейтенант, и стрельбы нет — мож-

но идти. — Первухин сказал это доброжелательно и спокойно. Они вылезли из траншеи и пошли к видневшимся неподалеку печам.

Дул холодный ветер. В небе разгорались первые звезды. И хотя, кроме свиста ветра, иные звуки явственно не доносились, чувствовалось по каким-то неуловимым приметам, что на берегу реки, в поле и на опушке дальнего леса очень много людей, и все, каждый по-своему, готовятся к ночи.

Когда Первухин и Новиков, пригибаясь, прошли полпути к печам, разом с двух направлений застучали пулеметы. Сноп трассирующих пуль мелькнул перед глазами, оба упали на землю. Спустя полминуты пулеметчик перевел огонь к печам, но Первухин и Новиков не решались сразу подняться на ноги. И не зря: пулеметчик повел стволом в обратном направлении, пули прошли низко над их головами.

Первухин присматривался, стараясь разобраться в намерениях пулеметчика.

Иное чувствовал Новиков: он впервые был под обстрелом на открытом месте. Только что состоявшийся разговор не оставил следа в его сознании. Главным сейчас для Новикова была опасность. Она, как, впрочем, и всякого новичка, потрясла его, заставила тяжело дышать, вздула вены на висках, вынудила лихорадочно искать глазами надежное укрытие на случай нового обстрела. Опасность распластала его, заставила вцепиться ногтями в землю.

Для него это был тот экзамен на выдержку и самообладание, который неизбежен для фронтовика и который выдерживали далеко не все.

Первухин что-то говорил, но Новиков не слышал, подавленный возникшим перед ним зрелищем, звенящим потоком огня, что летел и летел в темноту, необходимостью идти вперед через этот ад.

Ударил наш станковый пулемет — пули проходили точно над головой, и Новиков никак не мог определить, на какой высоте они пролетают и не заденут ли его.

Неожиданно все стихло, только в ушах стоял звон.

Они полежали еще, ожидая, не возобновится ли обстрел. Потом Первухин предложил:

— Еще минуты две — и перебежками к печкам. А там лисьи норы нарыты. Передышку сделаем. Идет?

— Стреляют очень... Ну, как знаешь, старший лейтенант.

Они поднялись и побежали по холмистой бесстрастной земле.

3

К лисьим норам — ямам, наспех отрытым солдатами при наступлении на краю полуосыпавшегося противотанкового рва, они добежали под возобновившимся обстрелом. Прижавшись плечом к плечу, уселись на холодном, слегка влажном песке.

— Беспокойная какая-то ночь, лейтенант. Придется нам тут еще немного переждать, не отказываться же от дела...

— Обождем. Как говорится: тише едешь... — отозвался Новиков, поднимая воротник шинели и поудобнее устраиваясь.

Стрельба усилилась. К треску пулеметов добавились разрывы крупнокалиберных мин. Они стали падать за печами, вблизи от траншеи, из которой недавно выбрались Первухин и Новиков. Ракеты колеблющимся красноватым светом озаряли печи, груды свеженакопанной земли, мертвые, без сучьев и листьев, деревья, чудом уцелевшие от огня, уничтожившего усадьбу.

— Все красное и мертвое. Будто не на грешной земле мы, а где-нибудь на Марсе, — задумчиво произнес Первухин, выглядывая наружу.

— Черт его знает как там, на Марсе, — равнодушно проговорил Новиков. — Плевать мне на всю вселенную, здесь бы поутихло.

— Думаешь, полетят когда-нибудь люди на Марс или Луну? Циолковский вон мечтал...

Мин падало все больше.

— Либо мстит нам ганс за дзот, либо что-то замышляет, — вслух раздумывал Первухин. — Надо поскорее добраться к телефону... Но только на артподготовку это не похоже. Должно быть, просто разозлился за дзот, вот и поливает...

— Ведь ночного боя ганс не любит? — не то утвердительно, не то вопросительно сказал Новиков.

— Ты не всему верь, что тебе говорят. Ганс старается все делать так, как нельзя предположить. Он ведь не дурак, ганс.

— А боеприпасы не бережет?

— Нет у него недостатка в боеприпасах. Видишь, кидает и кидает — голову трудно высунуть.

— Вижу. Кидает и кидает, — тихим, сонным голосом повторил Новиков.

Первухину было знакомо это: в минуты бездеятельного ожидания опасностей клонит ко сну, и трудно бороться с этим — мускулы обкладывает словно ватой, хочется забыться хоть на минуту.

Новиков поежился, дробно заклацал зубами и откинулся к песчаной стенке норы. Глянув на него при свете разрыва мины, Первухин тотчас же почувствовал и собственную усталость. Он знал, что это заразительное ощущение — сонливость и, чтобы не поддаваться ей, продолжал говорить:

— Ты женат, Митя?

— Женат. И сыну три года. А ты?

— Не женат, так крутил с одной... а характер как у жены? Не пилит по пустякам? За выпивку не набрасывается? На чужих мужиков не заглядывается? От хозяйства не отлынивает?

— Характер у моей жены обычный, пилит только за мужские провинности — по хозяйству чего не сделаешь, в кино не сводишь, на чужую тетку покосишься... А хозяйство любит.

— Значит, хорошая женка?

— Сынишка хороший, смышленый... А жена как жена.

— Холодно ты о ней. Скучно ей, наверное, с тобой было: человек ты молчаливый, замкнутый, вряд ли ты жене много внимания уделял.

Новиков выглянул, чтобы разглядеть, где разорвалась очередная мина, потом, вернувшись на прежнее место, устало заговорил:

— Зря ты личную злобу ко мне питаешь.

— Ну это как сказать...

— Как ни говори... У меня у самого потом нелегкие испытания были, но я ни на кого не злюсь...

— В человека бы тебе поверить.

— А ты веришь в человека?

Первухин махнул рукой в сторону наших траншей:

— В этих людей верю. Да и как же в них не верить?.. Ну, пошли, — оборвал он себя. — Кажется, поутихло.

— Пойдем.

Шагая среди камней и бревен, они подошли к ручью.

Первухин подосадовал, что не взял с собой посудины. Он мимоходом зачерпнул воды пилоткой, но привкус пота и гари лишил воду вкуса.

4

Дзот, предназначенный для боевого охранения, был гордостью Первухина — он стоил ему больших усилий, тщательных многодневных наблюдений и напряженной работы мысли. Его удалось выстроить незаметно для гитлеровцев, хотя враг находился так близко, что отчетливо слышны были и вздох и чих.

Чтобы скрыто вырыть котлован, накрыть его бревнами и камнями, использовались и перестрелки, и специальные заглушающие шум обстрелы, и многие другие приемы. Работали только в ненастные ночи, не использовав ни единого гвоздя, не выкинув на поверхность ни одной лопаты свежей глубинной земли. При всем этом не обошлось и без потерь.

Гитлеровцы не подозревали о существовании дзота.

Сооружение это, расположенное на взгорке, среди развалин часовни и вблизи от сожженного танка, вмещало шесть человек с оружием. Из дзота хорошо просматривались передовые позиции противника. Выстроен он был настолько основательно и продуманно, что в нем — при амбразуре, надежно замаскированной и прикрытой рамкой с небольшим толстым стеклом для наблюдения, — можно было безбоязненно негромко разговаривать, перезаряжать оружие, докладывать по телефону обстановку, коротать ночи за милой солдатскому сердцу беседой о прежней жизни.

Первухин и Новиков застали в дзоте трех разведчиков — Мизюркина, Шаповалова и Седых. Всех их Первухин знал.

Найдя в углу котелок с водой, Первухин напился, потом передал котелок Новикову.

— Ну, как водица? — спросил он, следя, как жадно пьет лейтенант.

— Водица? — удивленно переспросил Новиков.

Один из разведчиков разъяснил, что вода эта славится на всю бригаду, но Новиков в ответ только пожал плечами:

— Водопроводная лучше. Чище и лучше.

Выслушав данные наблюдений за последние сутки и распорядившись по телефону, чтобы из ближайших окопов изредка пускали осветительные ракеты, Первухин стал показывать Новикову укрепления противника. На дневку Новикову предстояло остаться в дзоте и осмотреть все более основательно. Разведчики сгрудились за их спинами и словоохотливо дополняли разъяснения своего начальника штаба.

— Замечаешь, каска движется? Это часовой идет по траншее. Почему именно часовой? Потому, что идет медленно. Видишь в глубине обороны кучи сухих веток? Это у них танки закопаны в землю и замаскированы, два средних танка...

— Три, товарищ старший лейтенант, — уточнил кто-то из разведчиков, — позавчера третий поставили, мы во вчерашнем донесении написали...

— А тут левее — обратил внимание? — свет блеснул, там у них большой блиндаж...

— Только что выходил по нужде ихний офицер, — должно, командир взвода... Мы его давно приметили — рослый мужчина, в очках и голос внушительный, будто в бочку говорит... — докладывал другой разведчик.

Закончив объяснения, Первухин присел в углу на бревно; под шинелью, чтобы не осветить амбразуру, закурил. Из окопов перестали взлетать ракеты, — видимо, не хотели больше расходовать. Первухин мешкал: в блиндаже было тепло и сухо, да и разведчики, все трое, — молодые, бывалые парни, крепко сдружившиеся и понимающие друг друга с полуслова, — нравились ему, приятно было побыть с ними, запросто поговорить.

Разведчики стали расспрашивать о новостях: как с зимним обмундированием, что в сводках, скоро ли прибудет лавочка военторга и в каком состоянии прифронтовые дороги, — нет ли, мол, надежды на улучшение снабжения? Первухин, как мог, ответил на вопросы. После этого помолчали. Первухин знал: теперь, чтобы отогнать подступающий сон, солдаты один за другим начнут рассказывать... Все что угодно: о себе, о девушках, о первых днях службы. Не раз уже приходилось Первухину проводить ночные часы в этом дзоте за неторопливым разговором. Случалось иногда услышать и занимательное...

Первухин ничего не сказал о Новикове, но солдаты сами поняли, что новый командир недавно на фронте и

что добраться до дзота ему было нелегко. Видимо, именно поэтому разведчики и стали вспоминать, как они сами попали на передовую и как обвыкали.

Глава третья

1

В обороне часы отдыха у Первухина обыкновенно начинались после завтрака. По ночам ему редко приходилось спать: надо было предостерегать людей от случайной беды, следить за тем, как проверяются посты, имеющие особенно важное значение, наблюдать за работами, которые велись в темноте на переднем крае. Да и начальство любило требовать всякого рода сведения, отчеты и объяснения по ночам. Если бы даже обстановка и предоставила ночью возможность поспать, все равно пришлось бы каждые полчаса, а то и чаще, отвечать на телефонные вызовы.

Ранним утром, когда затихла обычная ночная стрельба и в стылом воздухе издалека доносилось петушиное пение, собачий лай и скрип колодцев, Первухин проверял и подписывал строевую записку и другие документы, которые посылались в вышестоящий штаб. Вслед за тем обычно привозили завтрак, и для Первухина наступали часы отдыха. После длительного ненастья выдался безоблачный, ясный денек, и Первухин решил выбраться из траншеи наверх, на лужок. Если не подниматься на ноги и без нужды не двигаться, то вражеские наблюдатели могут и не заметить его. Полежать же на солнышке было заманчиво: в блиндажах сыро, затекали ноги, и всегда душно от самодельных светильников и махорочного дыма. Да и в укромном месте его стали бы отыскивать только по серьезному делу.

С собой Первухин захватил газету и письмо. Его принесли ночью, и еще прежде, чем он взглянул на обратный адрес, по почерку Первухин определил, что письмо от Кати. Вспоминать о Кате было неприятно, ничего хорошего он от нее не ожидал, и потому, наверное, прежде у него не нашлось времени, чтобы прочитать письмо.

Первухин вылез из траншеи и пополз по траве, выбирая сухое место. Такое оказалось рядом с обвалившимся, заполненным водой окопом, куда он мог юркнуть на случай крайней необходимости. Приподнявшись на коле-

ни, Первухин разостлал плащ-палатку и кинул под голову полевую сумку. Это врач Якимец советует: не валяйся на сырой земле, ревматизм схватишь или иное заболевание — хоть газету постели, больше шансов избежать впоследствии неприятностей. Потом старший лейтенант улегся, с наслаждением потянулся всем телом и с полминуты смотрел в небо. По светло-голубому простору плыли белесые облака. Одно из них напоминало телегу с оглоблями, другое — танк с открытым люком и наполовину высунувшимся из люка танкистом. Облака плыли спокойно, буднично, похоже, с какой-то тихой торжественностью, и Первухин подумал, что вот закончится война, и они поплывут здесь над безвестными могилами, а кому-то суждено и тогда смотреть на них.

Потом он придвинул к себе газету и письмо. Как и обычно, он изрядно набегался за ночь и знал, что бороться с подступающим сном сможет минут пять, никак не больше. Надо было решить, на что их следует потратить — на газету или на письмо.

Мгновение поколебавшись, Первухин придвинул к себе газету и пробежал глазами по сводке и телеграммам. После этого он сунул газету в сапог, чтобы потом, если представится возможность, прочитать повнимательнее, и вскрыл письмо. Странно как-то, что Катя решила написать ему. Зачем это? Ведь все равно ему ни за что не забыть старого. Никак. Такого нельзя забыть.

Не удивляйся, милый Толя. Я узнала, что ты жив, что ты в рядах доблестных защитников Родины и что ты командир.

Я пишу потому, что стоит мне закрыть глаза, зажмуриться — и вот оно, твое лицо, рядом с моим — умное, чистое, милое лицо. И я помню тот вечер, когда мы возвращались с катка и зашли в какой-то подъезд и целовались, а потом шли по каким-то длинным кривым переулкам, и падал хороший пушистый снег, и у ворот домов толпились люди, и мы услышали, как где-то за забором захрюкал поросенок, и нам стало смешно. Откуда поросенок чуть ли не в центре Москвы? Или это кто-то подражал поросенку?.. И тот поздний вечер помню, когда мы сидели в сквере, к нам подошел какой-то пьяный и стал привязываться. Ты грозно поднялся тогда со скамейки, а пьяный попятился, поскользнулся и упал. И помню, как мы ката-

лись на лодке по Клязьме, и нашу милую «Бухту любви и высшей математики»... Ведь это там мы экзаменовали друг друга по математике и истории партии, а потом вдруг забывали об экзаменах и говорили о счастье и будущем.

Неужели несколько трудных дней могут все вычеркнуть из нашей жизни?.. Досадно, очень досадно, что в наши отношения вмешались посторонние обстоятельства, но принципиальность есть принципиальность.

Я заканчиваю институт, через восемь месяцев буду инженером. Если судьба сохранит тебя, хотела бы быть вместе и хотела бы помочь тебе завершить высшее образование. Убеждена, что дальше все у нас будет хорошо.

Катя.

Письмо как письмо. Ведь война, и многие, должно быть, девушки не стыдятся признаваться в том, в чем в иное время первыми не признались бы.

Так почему же письмо от девушки вывело из себя старшего лейтенанта Первухина? Почему он выдернул кусок дерна, выкопал в земле ямку, чтобы не мешал ветер с реки, и почему сжег в ней это письмо?

Вот над траншеей показалась голова в стальной каске. Солдат выпрыгнул наверх и стал перебираться через луг, часто останавливаясь для передышки, оставляя за собой размотанный синий провод. Катушка за его спиной скрипела точь-в-точь, как скрипит колодезный ворот, когда наматывают на него веревку или цепь.

Первухин смотрел на смуглое веснушчатое лицо солдата, но не видел его и продолжал бессмысленно выговаривать ругательства.

— За что, товарищ старший лейтенант? — удивленно и обиженно спросил солдат. — Ночью кабеля не было, только что доставили. Вот мне лейтенант Тыркалов и приказал до лощинки дотянуть связь.

— Не тебя я, Марков. Конечно, надо бы ночью, да уж если так вышло, тяни свой провод... Письмо я скверное получил, вот и ругаюсь.

2

Солдат-связист еще не скрылся в поросшей густым ольшаником низинке и еще не умолк скрип его ка-

тушки, а Первухин уже спал, положив голову на полевую сумку.

Приснился ему нежданно-негаданно отчаянный разведчик Мизюркин. Он шел по опушке леса, где батальон когда-то на марше располагался на дневку, с автоматом на груди и пачкой белых листков в руке. Среди солдат прокатился предупреждающий говорок, и все, кто искоса, кто откровенно, наблюдали за Мизюркиным. Мизюркин что-то говорил, и лицо у него было сначала веселым, потом стало недоумевающим. Его никто не слушал, и все, к кому он ни подходил, отворачивались от него. После этого прогремел выстрел, и Мизюркин упал в траву. «Кто стрелял? — закричал комиссар Балин, подходя к убитому. — Товарищи командиры, немедленно найти и доложить, кто стрелял...» Но ему никто ничего не ответил. Мизюркин лежал на траве, глядя в небо открытыми тускнеющими глазами. А там плыли два облака: одно из них напоминало телегу с оглоблями, брошенными на землю, другое — танк с откинутым люком и фигурой танкиста.

Ведь примерещится такая чепуха!

После этого сквозь сон он услышал стрельбу, но не проснулся, как видно сквозь дрему определив, что опасность ему не грозит и что пули ложатся далеко в стороне — за полем, в заболоченном лесу. Разбудила его музыка, которая скоро сменилась лающими звуками.

Подняв голову и прислушавшись, Первухин сообразил, в чем дело.

В стыке между частями, в заболоченном низкорослом леске, установили мощный громкоговоритель. Приехавший из корпуса диктор выкрикивал на немецком языке обращенные к гитлеровцам советы: немедленно бросать оружие и идти сдаваться в плен, обещая в лагере приличное питание и хорошее обращение. Дальше следовала точная раскладка: военнопленному полагалось столько-то мяса, крупы и хлеба на день. Все это Первухин уразумел без особых затруднений, хотя немецкий язык знал в пределах школьной программы, да и то не блестяще. Дикторский текст чередовался с музыкальными номерами. Призывы эти остервеняли гитлеровцев, и они принимались палить из пулеметов в сторону леса — треск заглушал голос диктора. Когда же ставились музыкальные пластинки, все мгновенно стихало, слушали их и солдаты из окопов.

Была во всем этом какая-то игра, никто всерьез не верил, что призывы кого-то в чем-то убедят, и они воспринимались как насмешка. Первухин знал, что на лицах бойцов сейчас играют ухмылки. Улыбался и Первухин, слушая «Японские фонарики» и ожидая, что за ними последует только изредка проступающий сквозь грохот рассудительный, с картавинкой голос... То же выражение было и на лице командира батальона Еремеева, поднявшегося из траншеи и осторожно подобравшегося к Первухину. Он прилег рядом, взглянул — как видно, не в первый раз — на недавно полученный, отпечатанный типографским способом приказ и передал его Первухину. Пока Первухин читал, он молча лежал на спине, с удовольствием подставляя лицо лучам скупого осеннего солнца и прислушиваясь к музыке.

— Вот откровенно знакомит тебя, старший лейтенант, высшее начальство с обстановочкой на фронте, и приказ для этого специально отпечатало в типографии. Что же ты, старший лейтенант, по этому поводу скажешь?

— Нерадостная обстановочка...

— Полагаешь, нерадостная?.. Ну, а мы с тобой, все наше хозяйство как? — напряженно спросил Еремеев и тут же добавил, вслушиваясь: — Нашу поставили, волжскую. Веселая война — хочешь из винтовки пали, хочешь в пляс иди!

До войны Еремеев водил по Волге буксир. И кто знает, то ли природа снабдила его такой медлительностью и рассудительностью, то ли развилось это в зрелом возрасте на неторопливых транспортных средствах. Лобового, без подходов, избегал Еремеев разговора. Но за рассудительной, спокойной речью всеми без исключения угадывалась твердая воля. В боевой обстановке Еремеев, разумеется, был лаконичен, но после боя, собрав, если была возможность, командиров и анализируя итоги, опять возвращался к степенному, неторопливому разговору.

— У нас-то, Петр Степанович, война веселая, — согласился Первухин. — А вот общая обстановочка на фронте... — Он уже смутно догадывался, каких слов ждал от него командир, и, перебив себя, горячо добавил: — Или засиделись мы тут, обжились чересчур? Давайте-ка подсчитаем, какие силы мы тут сковали!..

— Подсчитать можно, почему не подсчитать?! Но только в отговорках ли дело? Мы с тобой люди маленькие, простые, а ответственность на нас возложена громадная, сотни людей нам доверены...

— Дзот вот под самым носом врага выстроили. Будет важная цель — раскроем его, черт с ним, хотя и нелегко он нам достался... Все боеприпасы, какие нам полагались, израсходовали. И с толком израсходовали, не рыбу глушили, — продолжал свое Первухин.

Еремеев перевернулся на бок, тронул старшего лейтенанта за плечо, предлагая посмотреть друг другу в глаза, чтобы обменяться сокровенным...

— Это так. К любым отчетам мы с тобой готовы. И всерьез ругать нас почти не за что... Я вот в смысле злобы. Злее бы нам воевать, поскольку обстановочка, сам говоришь, неважная, да и людям в тылу очень тяжело.

— Конечно, мыслишка эта у многих мелькает: «Пострелял — и хватит. Ну его, фашиста, к черту. Теперь бы передышечку, я свое сделал...» — начал сдаваться Первухин.

— Это ты правильно, многим такая мыслишка в голову приходит. А обстановочка, сам признаешь, неважная, прямо сказать паршивая... А отчеты — что!.. Отчеты составлять у нас за последнее время многие умеют. Но не для отчетов нас с тобой поставили батальоном командовать.

— За потери ведь взыщут, Петр Степанович, — осторожно проговорил Первухин. — За потери в общих бригадных отчетах мы последними будем. Я уж не говорю, что сами чувствовать будем, как начнем большие потери нести.

— Взыщут. И самим невесело будет, — согласился Еремеев мрачновато. — Но что ж поделаешь... С комиссаром мы уже толковали. Надо еще поговорить, после обеда втроем этак собраться, без посторонних, самоварчик вскипятить...

— Собраться можно... Но только заранее говорю: значительно увеличим и потери. Иначе только на словах бывает.

— Будем стараться. Хитрить начнем, неожиданно все делать, изобретать...

— С соседями бы согласовать...

— Согласуем. Главное, обстановочка не блестящая.

А то бы чего лучше: сиди-посиживай, жди приказа о наступлении.

Вот и все. На этом пока и закончился их разговор — трудный, напряженный, мучительный для обоих, предопределивший важные решения, которые нельзя вполне точно сформулировать в донесениях и рапортах.

Подперев голову согнутой в локте рукой, Еремеев, грузный, широкоплечий, с обветренным лицом и маленькими проницательными глазами, покусывая зубами нижнюю губу, раздумывал. Потом сказал:

— Давай-ка прикинем, какими мы возможностями располагаем. Бери-ка бумагу, начальник штаба...

А громкоговоритель разносил над примолкнувшими укреплениями модную в предвоенные годы мелодию:

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви...

И какой-то лоботряс в белых разглаженных штанах сидел рядом с нарядной и надушенной дамочкой на скамеечке под пальмами. Они смотрели на море, которое отражалось в их холодных глазах.

В словах этих была совсем иная жизнь, заполненная чепухой, какая-то ленивая, расслабленная, мелкая.

И солдаты по обе стороны от нейтральной полосы с удовольствием слушали это.

3

В очередных донесениях сообщали, что во исполнение таких-то приказаний начальства отдельный батальон усилил боевую активность.

Комиссар Балин взял на себя труд сообщить об этом решении солдатам. Он обходил подразделения, в блиндажах и просто в траншеях (где как было удобнее) собирал людей.

Первухину приходилось бывать на его беседах. Присядет Балин на камень или бревно, скажет солдатам, чтобы оторвались на короткое время от своих дел, садились поближе друг к дружке. И начнет:

— Сегодня газеты, товарищи бойцы, пишут, что на юге осложнилась обстановка. Все мы, товарищи бойцы, каждый из нас, озабочены...

Сидит на камне немолодой уже, седовласый человек, ни на кого глаз не поднимает, смотрит вниз, на кончики своих сапог, то вдруг секунду помолчит, подумает, то перебьет себя, напомнит о прошлом народа, о революции, о трудных годах, когда, во всем отказывая себе, строили новые фабрики и заводы... Чувство обязательности, официальности исчезало. Просто пришел стареющий, с нелегкой жизнью, человек, сам бывший рабочий...

Только в конце беседы, когда переходил Балин к общеупотребительным ссылкам, напряженное внимание на лицах бойцов, а нередко и волнение, сменялось иным выражением, которое можно передать примерно такими словами: «Это уж ты, товарищ комиссар, для порядка говоришь... Ничего, ничего, высказывайся, товарищ комиссар, мы и это выслушаем со вниманием, в нас не сомневайся!»

Огневые налеты стали чаще обрушиваться на противника. Они приурочивались к часам оживления окопной жизни — к обеду, к прибытию почты, к музыке, зазвучавшей вдруг где-нибудь у входа в блиндаж. По ночам почти беспрерывно держали под обстрелом места, где особенно часто ходили вражеские солдаты и офицеры. Днем, во время послеобеденного затишья, подбирались неожиданно к вражеским траншеям и швыряли гранаты, сбивали противника с толку многоголосым «ура». По ночам стреляли в направлении каждого подозрительного шума. Старались все делать не так, как могли предполагать гитлеровцы. Ненастные ночи использовали для прогулок по переднему краю.

Первухин в эти дни редко выходил из штаба. Все равно за всеми делами не угнаться, важнее было объединить усилия, следить за разработкой планов поисков, сводить воедино данные разведки и выбирать новые цели для нападения.

А в свободное время раздумывал о Новикове: как-то он входит во фронтовую жизнь, что о нем думают солдаты и что командиры. Впрочем, Первухин решил не предпринимать никаких попыток поскорее собрать эти сведения — все равно они не могли его миновать.

Вскоре известие, которое отчасти могло пролить свет на облик Новикова, и вправду поступило в штаб. Это была докладная записка все того же солдата Мизюркина о захвате «языка», которую от него запросили для ана-

лиза обстановки в стане врага и которой Мизюркин воспользовался для жалобы на командира взвода Новикова. По сути дела, от Мизюркина просили схему укреплений врага с короткими пояснениями, но Мизюркин предпочел сделать вид, что не понял этого, и представил весьма пространный документ. Докладную передал в штаб командир роты Герасимов, еще не нашедший общего языка с Новиковым, относящийся к нему настороженно и почему-то неприязненно.

Обстоятельства дела состояли в том, что группа из трех разведчиков — Мизюркина, Седых и Шаповалова — захватила в плен немецкого сержанта. Решающая роль в этом нелегком деле принадлежала Мизюркину. Это он спрыгнул в траншею на голову немца, повалил его, зажал рот и вместе с товарищами выволок в кустарник, откуда через болото его доставили на наш передний край.

Нужно было понять Мизюркина и причину его возмущения. Для него «язык» стал свидетельством отваги его, Мизюркина, и его друзей, свидетельством того, что досталось ценой больших усилий и риска. Все человеческие, личные и общественные качества пленного перед этими соображениями на первых порах отступили куда-то в тень, тем более что это был уже враг обезвреженный, препровождаемый в штаб. Именно поэтому еще в пути, во время первой передышки в траншее, Мизюркин позаботился о немце — собственноручно напоил его из баклажки, услужливо протянутой часовым, дал закурить и помог поправить одежду, — дабы все могли убедиться, что не замухрышку приволок Мизюркин с друзьями, а бравого воина, врага серьезного, основательного и толкового. Лейтенант Новиков не пожелал считаться со всеми этими соображениями, обидел Мизюркина и вынудил его выступить в несвойственной ему роли жалобщика. Вот, впрочем, как сам Мизюркин сообщил о происшествии:

«Командиру роты старшему лейтенанту Герасимову.

Согласно вашему приказанию, совместно с бойцами Седых и Шаповаловым нами захвачен «язык» в лице унтера, вышедшего из дзота, что в подвале сожженного сельсовета, для проверки постов. В нашей траншее «язык» спросил, показав на висок, «пиф-паф», на что мы знаками во время перекура разъяснили, что, дескать, жить будешь, а впоследствии времени

вернешься на родину, а коли нет у тебя в смысле девушки, то после войны заведешь. «Язык» обрадовался и стал сообщать нам военные тайны, только мы ничего не поняли.

У старого противотанкового рва нас настиг огневой налет спохватившегося противника, возмущенного дерзостью славных советских разведчиков, а также встретился лейтенант Новиков. Увидев «языка», лейтенант Новиков сказал нам: «Идите отдыхать. Я сам его в штаб доставлю».

Далее следовали непосредственные данные о схеме вражеской обороны.

Мизюркин, видимо, предполагал, что Новиков попытается выставить себя участником операции. Этого не случилось. Новиков доставил пленного в штаб, сказал, что хотел дать бойцам заслуженный отдых. Просто ему надо было сходить в штаб, и он захотел помочь разведчикам, тем более что передний край в то время сильно обстреливался.

И все-таки поведение его было бестактным и по отношению к разведчикам, которых нельзя было лишить законного удовольствия сразу же отрапортовать командованию об успешном выполнении задания и выпить по сто граммов, поднесенных самим командиром батальона.

Стараясь быть беспристрастным, Первухин сообщил о докладной записке Мизюркина капитану Еремееву и старшему политруку Балину. Балин обещал поговорить с Новиковым. Трех разведчиков представили к наградам. На этом все закончилось.

...Через несколько дней после случая с разведчиком Мизюркиным до Первухина дошло новое известие о Новикове, противоположного характера.

Гитлеровцы, в свою очередь, попытались захватить «языка». Это произошло дождливой ночью, перед рассветом. Новиков оказался на ротном наблюдательном пункте. Неожиданно выяснилось, что связь прервана. Телефонист Спешнев, немолодой и не отличающийся выносливостью солдат, прибывший в батальон из госпиталя после ранения, пошел проверять линию. Новиков тоже собрался уходить. У выхода он остановился: ему послышался сдавленный крик.

— Крикнул кто-то, — сказал он.

— Ветер это, товарищ лейтенант, там около дороги старое железо навалено — оно и дребезжит.

Новиков, взяв стоящую у входа винтовку, вышел. И почти сразу же стал стрелять и звать солдат.

Схватка закончилась тем, что телефониста отбили. Одного из гитлеровцев ранили, двое других подхватили его и сумели скрыться в темноте.

Первухин вынужден был признать: Новиков на этот раз сполна проявил все, что полагалось командиру.

И снова на его грубо сколоченном столе оказалась бумага. Он несколько раз самым внимательнейшим образом перечитал ее и вложил в ту же папку, где лежало и донесение Мизюркина:

«Товарищ старший лейтенант Первухин, передаю вам свой солдатский привет и сообщаю, что меня из медсанроты отправляют на лечение в полевой госпиталь. А еще сообщаю, что как меня спас новый лейтенант, фамилии не знаю, то передайте ему мою солдатскую благодарность. И сообщите, пожалуйста, его фамилию, я ему напишу, как спасителю моей жизни. А вам желаю счастливо воевать, и чтобы пуля, снаряд или мина вас минули.

Дмитрий Спешнев».

4

Первухин молчал и приглядывался к Новикову и ожидал новых о нем вестей и встреч с ним.

Увиделись они как-то на командном пункте роты, куда Первухин пришел, чтобы поговорить с Герасимовым, кого из сержантов и солдат, имеющих среднее образование, послать на курсы младших лейтенантов. В бумаге, поступившей из штаба бригады, предписывалось послать на курсы восемь человек из числа достойных стать офицерами.

Накануне этого дня Первухину вручили орден Отечественной войны. В приказе значилось, что он награждается за обеспечение четкой работы штаба в бою за освобождение опорного пункта противника, села Васильевщина.

Это было месяца три назад, на исходе двухсуточного, почти беспрерывного боя. Батальон на рассвете ворвался в горящее село, но в ротах осталось совсем мало людей.

Еремеев и Балин были с наступающими подразделениями, а Первухин отправился в тыл, чтобы собрать и послать в бой всех, кого возможно.

Он выслал на передний край двух связных из пункта сбора донесений, повара и трех бойцов, вернувшихся из медсанроты после излечения. Столь незначительное число солдат, разумеется, не могло изменить соотношения сил в окопах переднего края.

Было страшно подумать, что вся пролитая кровь, все жертвы напрасны, что позиции, отбитые у гитлеровцев, перейдут к ним обратно. А это могло, даже должно было случиться, потому что на соседнем участке гитлеровцы вдруг перешли в наступление. Все резервы были брошены туда.

Тогда Первухин, с молчаливого согласия Еремеева и Балина, пошел на грубое превышение власти. В тылу в этот день было оживленно, как, впрочем, всегда во время боя, и он начал посылать на передний край всех без разбора, кого удавалось. Он наскоро комплектовал неполные отделения, назначал командиров и, не обращая внимания на протесты, посылал к Еремееву, смутно и как-то со стороны раздумывая, что за все это его может ждать любое наказание.

Военная судьба переменчива: рапорты о самоуправстве осели где-то в штабах, а сообщение о взятии опорного пункта гитлеровцев мелькало даже в сводке Совинформбюро. Поэтому Первухин и получил орден.

Все эти события хорошо знал Герасимов: именно его рота в решающий момент получила большую часть подкреплений. Он был тоже удостоен награды, да и к риску был причастен, хотя и в меньшей степени.

— Неужели начальник штаба считает меня легкомысленным парнем? Признайся, а? Наверное, думал: не припас ничего старший лейтенант Герасимов для праздничного случая? — явно обрадованный приходом друга, засуетился Герасимов.

Подняв в углу блиндажа доску и копнув ею несколько раз рыхлую землю, он извлек посудинку с укороченным горлышком. Смахнув приставшую к бутылке землю, возгласил занесенную кем-то в бригаду присказку, знаменующую начало выпивки:

— Шум, гам, крик — наливай, старик!

За стол сели втроем — третьим оказался Новиков.

При виде всех этих приготовлений он хотел скромно удалиться, но Первухин остановил его:

— Посиди с нами, лейтенант, раздели нашу радость.

И Герасимов повторил приглашение:

— Поддержи разговор...

Пили по-окопному — из горлышка, пальцем отмечая уровень жидкости, чтобы не обидеть ни себя, ни товарища. Закусывали колбасой, именуемой интендантами «сухокопченой».

Первухин, не скрываясь, наблюдал за Новиковым: за его движениями, за выражением лица, за тем, как он пьет. Новиков, ощутив это внимание, ответил пытливым и вопрошающим взглядом.

— Так-то оно в жизни случается: не знаешь, где найдешь, а где потеряешь... Конечно, заманчиво это — составить инструкцию на все случаи жизни: отдельно для военного человека, отдельно для гражданского, для военного времени и для мирного, — рассуждал Герасимов, — и все в этих инструкциях предусмотреть до самой распоследней мелочи... Но только, думаю, будет у каждого момент, для которого одного пунктика недостанет. Вот в такой момент и приходится человеку самому решать трудную задачу, со своей совестью и честью наедине... Я что-то давно уж замечаю, товарищи командиры, все приглядываетесь вы друг к другу? Вы, случаем, не встречались прежде? — вдруг свернул в сторону Герасимов. — Может, когда-нибудь не поделили чего или из-за девочки повздорили?

Проницательность Герасимова оказалась и для Первухина и для Новикова неожиданной. Трудно объяснить, как пришла догадка в голову Герасимова.

Герасимов взял в руку бутылку: пришла его очередь доканчивать.

Первухин усмехнулся и промолчал.

Запел зуммер телефона. Первухина вызвали в штаб, пришел представитель из соседней части.

Старший лейтенант поднялся, стал поправлять снаряжение.

— Как служба у тебя, Новиков? Ладится? — сдержанно спросил он, собираясь уходить.

— Теперь вроде все ладится, — отозвался Новиков. — Вот только недавно это недоразумение случилось с разведчиком Мизюркиным. Показалось мне, что фашист тот

налетом думал воспользоваться, дать драпу — озирался он этак воровато. А у Мизюркина лицо в крови было, я и подумал, что в таком состоянии ему пленного доверять не стоит.

— Вот и надо было все сразу объяснить, — с упреком в голосе проговорил Герасимов, выходя вместе с Первухиным, чтобы запустить подальше пустую бутылку: жилье свое не любил захламлять командир роты.

Командиры свернули по папиросе и разошлись каждый по своим делам.

По дороге Первухин вспоминал слова друга отца, старого революционера Степана Никитича Прохорова. Прохоров как-то говорил: у достойного уважения человека все соразмерно — чувства и мысли. Они должны быть такими же ясными и стройными, как здания, построенные по закону золотого сечения. В достойных уважения людях величайшая гармония общего и частного, внутреннего и внешнего. Он незыблем, как совесть, товарищество, дружба, этот закон золотого сечения. И по нему, именно по нему скроены все эти славные ребята — и командир роты Герасимов, и солдат Мизюркин, и командир батальона Еремеев, и врач Якимец. А Новиков?.. Новиков какой-то иной... И это не просто ему так кажется из-за личной неприязни.

Глава четвертая

1

Что-то помогло Первухину и Герасимову выделить друг друга среди множества людей, одинаково одетых, озабоченных одним и тем же, делающих одно и то же. Медлительный, степенный и грубоватый Герасимов в дружбе был нежен, радовался встречам, не скрывал сокровенного, читал письма от женщины, с которой до войны пять раз расходился и вновь сходился. Первухин платил командиру роты тем же: обходя оборону, не забывал лишний раз зайти на командный пункт роты, подолгу толковал о всякой всячине, раздобывшись бутылкой водки, под настроение, шел к Герасимову, чтоб распить совместно.

И случайным встречам оба радовались.

Проходя мимо полуосыпавшегося котлована — гитлеровцы в свое время начинали тут строить блиндаж, —

Первухин услышал голос Герасимова и приостановился. В это же самое время ветер донес откуда-то за тридевять земель от фронта кукареканье. Обычно звуки мирной жизни, и то изредка, достигали переднего края лишь на рассвете, в послеобеденные часы Первухин их прежде не слышал. Шедший по траншее солдат в кургузой шинели и с перевязанной щекой поприветствовал Первухина и проговорил:

— А я, товарищ старший лейтенант, думал — ослышался. А он дважды голос подал.

Солдат сказал об этом, как о чем-то важном.

Постояв полминуты, Первухин сожалеюще развел руками в знак того, что вряд ли они снова услышат петуха.

Война, передний край... В другое время на такое не обратишь ни малейшего внимания.

В котловане на земле сидели Герасимов и четверо разведчиков, в том числе Мизюркин — ему недавно присвоили звание младшего сержанта. По донесшимся до него возгласам и по схеме, вычерченной на песке заостренными спичками, Первухин сообразил, что в котловане говорили об укреплениях противника перед фронтом роты и о новом поиске, который предполагалось осуществить, а теперь завязалась просто беседа.

— Ты, младший сержант, хвостом не крути, а скажи прямо, в чем твое недовольство жизнью и о какой опаске ты ведешь речь? — улыбнувшись Первухину и подмигнув ему, низким хриплым голосом спросил Герасимов.

Разведчики, тоже улыбаясь, поздоровались с Первухиным и стали выжидающе смотреть на Мизюркина.

На свежих, глянцевито-чистых щеках Мизюркина играл румянец застенчивости. Это-то и веселило солдат — бравый разведчик, о котором уже несколько раз писала армейская газета, прошедший сквозь огонь и воду, а краснеет и смущается, как восьмиклассница.

— А веселого тут ничего нет, тут трагическое столкновение жизни... О той опаске я веду речь, что хочу сохранить осторожность и не лезть напролом, последнее время меня мысль всяческая одолевает... В том дело, что были в моей жизни всякие нелады, но не было горячей женской любви. Встречался, случалось, и с согласными, но что-то во мне препятствовало, вроде как бы стыдно становилось. А сейчас из-за этого я досадую и даже жизнью недоволен...

Мизюркин был одним из храбрейших разведчиков, человеком, любящим риск и приключения, и потому нельзя было принимать его рассуждения за трусость. Но не для того, чтобы развеселить товарищей, говорит это Мизюркин.

— А согласные, говоришь, были? — полюбопытствовал Первухин.

— Были, товарищ старший лейтенант, и не меньше, чем у других-прочих. От одной я даже в одном исподнем на крыше сарая спасался глухой морозной ночью, от Марьи Тимофеевны Криванчиковой, свояченицы начальника отдела кадров нашего прииска. Они на первом этаже нашего дома жили. Ну, и довелось нам вместе, семейным обычаем, Новый год встречать. А потом мамаша задержалась у них, чтобы помочь посуду вымыть, а папаша вместе с начальником кадров остались довершать последнюю пол-литру. Я к себе вернулся, спать лег. Вот она ко мне и поднялась, на кровать села. Я, спрашивает, здесь книгу Вячеслава Шишкова «Угрюм-реку» не оставила ли? А как она могла у меня сочинение Вячеслава Шишкова оставить, если до той поры и не была у меня ни разу? И вот на меня затмение нашло, руки сами ее за плечи обхватили. И тут же мне так совестно стало, что я в коридор выскочил, а оттуда для охлаждения — на крышу сарая. Женщина же в полной форме, миловидная и строгого поведения. Вот и не могу я теперь понять, почему я хорошего человека обидел... И другие похожие случаи были. Словом, оставил я свою молодость без всякого воспоминания...

Солдаты перестали улыбаться. Герасимов сказал:

— Пусть Костя Седых в траншею на часового прыгает, а тебе, Алеша Мизюркин, дадим задание гранаты в дверь блиндажа кидать и никого из него не выпускать. Хоть ты, Алеша, парень везучий, но на этот раз так будет лучше.

И Первухин подтвердил:

— Так будет лучше. Нет хуже идти на трудное дело, когда воспоминания одолевают.

И опять, в третий раз, запел петух.

— Вот он тебя, младший сержант, наверное, и расстроил, горлопан этакий. Орет-надрывается, словно бы и войны нет.

— Видать, беглый, без кур оставшийся. И зачем он,

дурень, в эту сторону стремится? — отозвался и другой разведчик.—А может, кто из хлопцев его сюда приволок?..

— Так ты когда же, Толя, с Новиковым встречался?—пытливо, о чем-то раздумывая, спросил Герасимов, когда разведчики ушли.

— Тяжелое это, Женя, дело, и нет у меня сейчас охоты об этом говорить. Как-нибудь в другой раз поведаю...

— Как знаешь... Никак я с ним не освоюсь. Вроде хороший, дисциплинированный командир и на труса не похож, да непонятен очень. Черт его знает, что у него на душе... Я так полагаю: на войне меня любой солдат должен понимать целиком и полностью, иначе какой же я командир! Да и как солдат будет мои приказания выполнять, если он меня не понимает и до конца не знает. И я должен любого человека знать и понимать.

— О Новикове это ты, пожалуй, напрасно.

— Что это? — неожиданно сказал Герасимов.

Над котлованом, вытянувшись треугольником, летели... Нет, это были не самолеты, а гуси, улетающие в теплые края. Что-то задержало их, улетали они позже обычного на месяц с лишним. Должно быть, там, на севере, война согнала их с привычных мест, не дала вовремя вырастить и обучить законам жизни молодняк. Была в этом стройном и запоздалом перелете неизъяснимая прелесть и грусть.

Какой-то дурак фашист принялся было палить по стае из винтовки, но гуси летели высоко, огонь не мог причинить им вреда, и стая не рассыпалась, не утратила порядка, лишь свернула в сторону.

Выбравшись из котлована, Первухин и Герасимов, задрав головы, смотрели на гусей. Пилотки с их голов попадали, но они и не спешили поднять их.

Дуралей фашист перестал стрелять, стихла и за рекой разгоревшаяся было перестрелка, умолкли пулеметы, и солдаты по обеим сторонам от незримой линии, затейливо обегающей блиндажи, дзоты и укрытия, не отрываясь, наблюдали за птицами, повинующимися извечному закону жизни.

2

Пришел приказ срочно подготовить штурмовую группу, включающую автоматчиков, пулеметчиков, саперов, и

подготовить ее для штурма переднего края гитлеровцев. Надо было решать вопрос и о командире группы. Комиссар Балин предложил кандидатуру командира пулеметной роты Морсина.

— Всем вышел: и быстр в решениях, и с железякой этакой в сердце, и командирским голосом обладает, и в смысле идейно-политического уровня... По моему мнению, подходящий командир, принесет успех.

Первухин возразил:

— В смысле идейно-политического — это я согласен, но только не маловато ли опыта? Не растеряется ли в трудной обстановке? Не утратит ли связь с подразделениями? Да и недавно он у нас, солдаты его еще мало знают...

— Кого ты предлагаешь? — коротко спросил Еремеев, ценивший в словах подчиненных ясность, точность и прямоту.

В гимнастерке без ремня и накинутой на плечи шинели Еремеев сидел за столом и при свете лампы разбирал на разостланной газете пистолет, готовясь приступить к смазке. Работу эту Еремеев всегда выполнял собственноручно и с видимым удовольствием.

Какая-то сила властно призывала Первухина еще раз испытать себя, забыться в яростном порыве, и он сказал:

— У меня опыта вроде побольше.

С кандидатурой Первухина и Еремеев и Балин тотчас же согласились. Первухин догадался: оба они при этом подумали, что все трое за последнее время свыклись, сдружились, но это не должно быть помехой, когда приходится общего друга посылать на трудное дело.

— От основных своих обязанностей в штабе не отлынивать, — предупредил, впрочем, Еремеев.

Утвердили и другое предложение Первухина: заместителем командира группы назначить Новикова и включить в группу двух прибывших с ним командиров.

— Засиделись они тут. Пусть хоть узнают, какая она, настоящая война. И мы окончательно проверим новых командиров. И солдаты их увидят в деле, — изложил Первухин свои доводы.

С этим тоже согласились.

— Со штурмовой группой покончили, — подвел итоги Балин и, поднявшись из-за стола, заходил по блиндажу —

четыре шага вперед, четыре назад. Была в его походке какая-то неуверенность, слабость.

«Постарел ты, комиссар. За несколько последних месяцев постарел и почти совсем поседел...»

И едва Первухин так подумал, как Балин споткнулся, сморщился, прислонился к земляной стенке. Первухин, вскочив, помог ему лечь на нары.

— Схватывает, болит что-то, а что — не пойму...

— К терапевту надо. Якимец в этом не поможет, он хирург.

— Надо... Вот если бы в войне передышечка наметилась, — невесело отозвался Балин из темноты. — Впрочем, может, и сейчас всерьез слягу. Сидит во мне какая-то гадость, затрудняет дыхание... Только вот... только хочется мне, чтобы вас обоих в партию приняли — и тебя, капитан, и тебя, старший лейтенант.

Первухин знал: Балин — бывший слесарь, работал на вагоностроительном заводе в Калинине и двенадцать лет назад был призван в армию. Звезд с неба не хватал, но был всегда честен и о солдатах в меру своих сил заботился. Случилось так, что, начав войну политруком, он за полтора года войны повысил свое звание только на одну ступень — стал старшим политруком: то ранило его накануне представления на очередное повышение, то переводили в другие части. Впрочем, и скромность Балина, видимо, сыграла свою роль. Понял также Первухин, что о вступлении его и Еремеева в партию Балин заговорил потому, что хорошо знал обоих, вместе было пройдено порядочно ухабистых дорог и многое испытано. Считая их достойными быть в партии, хотел Балин оставить о себе хорошую память в душах самых близких по войне людей.

— Давно я об этом подумывал, но ты — как-то сразу. Подготовиться к такому шагу надо. — Еремеев произнес эти обычные слова смущенно.

Балин сел на нары, его лицо оказалось освещенным.

— Ну, а ты, старший лейтенант?

Первухин подумал о неприятностях в институте, о Кате, о Новикове и отозвался:

— Я-то хочу, а партия захочет ли меня. Студенческие годы у меня какие-то пестрые...

— Разберемся, — ответил Балин. — Во всей пестроте разберемся. Вот съезжу в политотдел, вернемся к этому разговору.

Все замолчали. Каждый думал о своем. Балин снова лег в глубине нар, закурил. Папироса тускло освещала его изнуренное лицо. Еремеев шомполом чистил ствол пистолета, продувал его, направлял на свет и внимательно оглядывал.

Первухин принялся составлять приказ о формировании штурмовой группы. Передав его на подпись командиру и комиссару, стал по карте выбирать в ближайшем тылу место, где можно было бы с группой разыграть учебный бой. Наметив, взялся за письмо к сестре, зная, что скоро уже не найдет для этого времени: штурмовая группа в срочном порядке создавалась не для игры в бирюльки. Разумеется, сестра не имеет истинного представления о войне и фронте, и поэтому писать ей было трудно: приходилось подлаживаться под те сведения, которыми она располагала из газетных корреспонденций, из радиопередач. И Первухин написал о том, что здоров, что дожди закончились и наступила прохладная, но сухая погода, что он ни в чем не нуждается и что скоро, быть может, их отведут на отдых. А еще, подумав, что сестра давно уже заневестилась, приписал, чтобы была осмотрительна, с решениями не торопилась. Запечатав письмо, Первухин прикурил от коптилки и, опершись локтем о стол, долго наблюдал за выбивавшимся из сплющенной гильзы пламенем. Что еще? Или написать той студенточке, чтобы перестала думать о нем? Первухин зажмурился, стараясь вызвать в памяти облик Кати. Но ничего, кроме светлых крашеных волос, не вспомнил. Вот ведь как. Почти все ушло из памяти, кроме имени и событий, которые пришлось пережить.

А ведь было все это, было. Когда-то Катя нравилась ему. Потом нравилась другая девушка, Таня. Перед самым же призывом в армию он крутил с Ксаной. Таня — краснощекая хохотунья с маленькими шершавыми руками и фигурой записной физкультурницы; Ксана — ясноокая, ласковая, с медлительными, плавными движениями и тихим грудным голосом. Это именно она, когда Первухин уходил в армию, шепнула заветное, вечно женственное, то, что шептали женщины всех времен и народов своим мужчинам, уходящим на войну: «Береги себя!» А еще добавила, всхлипнув, такое, чего Первухину никогда не встречалось ни в книгах, ни в рассказах бывалых людей:

«Уходишь, а я остаюсь. Хоть бы ребеночка во мне оставил! Я и одна воспитала бы...»

Вот она какая, Ксюша!

Или и Катя, и Таня, и Ксюша — это все случайное, и он еще встретит ту, единственную, которой так радостно отдать все, что он имеет в своей душе, что накопил ценой нелегких испытаний?

Дожить бы и встретить ее, единственную...

Может, и не надо никого, кроме Ксюши? С ней уютно. В радости весела, в горе — не теряется, жизнь любит всякую.

А все-таки студенточке надо написать. Все порядочные люди отвечают на письма.

«Я получил твое письмо, Катя, — написал Первухин, — и меня тронуло, что ты не забыла меня. Но не сердись на жестокие слова — у нас тут как-то трудно лгать, — не осталось во мне любви к тебе. Вот так, Катя. А у нас тут стреляют и, случается, убивают. Может быть, убьют и меня. И вообще я тебе совсем не нужен и забудь обо мне. Желаю тебе счастья...»

Как подумалось, так и написал. Запечатал конверт, положил на стол рядом с письмом к сестре.

И Ксане написать?.. Нет, ей не надо: может, ждет, а может, и не ждет; может, дождется, может, и не дождется; может, станет чужой, может, сделается навсегда родной.

Вышел из блиндажа, пошел по берегу реки, свернул на человеческий говорок в прибрежные заросли.

На полянке солдаты из комендантского взвода развели костер, кипятили в котелках чай. Это было нарушением дисциплины: костры на переднем крае жечь запрещалось. Но ребята собрали только сухие ветки, дыма почти не было, и костер не мог привлечь внимания противника. Дисциплина дисциплиной, но надо же дать людям попить чаю.

— Чай да сахар, братцы-товарищи!

— Милости просим к нам, товарищ старший лейтенант.

Ему налили в крышку котелка чаю. Первухин подсел к костру, вынул из полевой сумки кусок сахару, принялся пить чай. Потом поставил крышку на землю, положил под голову чей-то вещевой мешок и стал вслушиваться в разговор,

Писарь штаба Крутышкин рассказывал, как он служил бухгалтером в артели, производящей валенки и зубные щетки («Почему валенки и зубные щетки — ведь совсем разное производство...» — сквозь подступающую дремоту вяло подумал Первухин), как председатель артели, какой-то Семиреченский, жульничал, а его, Крутышкина, заставлял утверждать липовые отчеты... («Тебя заставишь, будто не знаешь, кому пожаловаться...»), как нагрянула ревизия...

«Сколько их, таких историй, я уже слышал на своем веку. А ведь нельзя, чтобы люди воровали, никак нельзя, иначе все может пойти к черту...» — все так же вяло раздумывал Первухин и, отогнав дремоту, поднял голову.

— Ну, а по-честному, Крутышкин, и ты ведь в этой лавочке налево пользовался?.. Попросту говоря, крал ведь помаленьку, Крутышкин?

— Даже обидно, товарищ старший лейтенант, слушать. Вот то есть и на столько не попользовался... — И Крутышкин с деланно-возмущенным видом показал на ноготь указательного пальца.

— Врешь! — невозмутимо и равнодушно прервал его Первухин.

И солдаты, что сидели у костра, все до единого рассмеялись.

— Врет. Крал.

— Шарапил.

— Ловчил.

— Маклачил на сторону.

Крутышкин возражал, но уже без особого энтузиазма, просто так, для порядка возражал:

— Нет мне смысла теперь врать, поскольку все это в допрежнее, в довоенное то есть, время было.

Но солдаты перебили его:

— Врешь!

И Крутышкин, не возражая больше, стал рассказывать о ревизии, о начавшемся следствии.

Первухин уже не слушал его.

«Все-таки после выступления штурмовой группы надо будет написать Ксюше. Как она тогда хорошо, чисто сказала: «...и ребеночка во мне не оставил». И как бы это было хорошо, если бы рос на свете мальчик, похожий на меня, чтобы хоть с ним мысленно, еще раз пройтись по жизненной дорожке...»

Глава пятая

1

При планировании наступления было принято во внимание то, что гитлеровцы за изгибом реки в укромном, непросматриваемом месте соорудили клади, по которым при случае целые подразделения могли переправляться через реку. Сооружение это не отличалось оригинальностью инженерной мысли: двойной настил из крупных горбылей, укрепленных на круглых стропилах, упиравшихся в дно реки. Однако клади, как видно, не раз выручали гитлеровцев. Обнаружены клади были умозрительно, в штабе, точно так же, как ученые предсказывают за письменным столом доселе неизвестную звезду или местонахождение полезного ископаемого. Обратили внимание на противоречия в донесениях разведчиков и наблюдателей, касающихся численности войск в обороне противника. Выяснили, что число солдат быстро возрастает при угрожающих положениях. Предположили, что гитлеровцы всегда имеют наготове несколько лодок, на которых и переправляются солдаты с одного берега на другой при необходимости. Сообщили об этом авиаторам с просьбой разведать, сколько и каких лодок имеется у фашистов. Те, пролетев несколько раз над рекой и просмотрев ее всю, вплоть до впадения в большое озеро, сообщили, что флот противника ограничивается двумя надувными лодчонками, одну из которых гитлеровцы невзначай вскорости упустили, но что за поворотом реки сооружены замаскированные зеленью клади. Далее, до самого устья, мостов не было.

Клади до поры до времени было решено не обстреливать. При наступлении дать фашистам возможность перебраться на противоположный берег, а затем отрезать им обратный путь. Штурмовая группа должна была завязать бой на левом берегу. Предполагалось, что после того как гитлеровцы перебросят сюда подкрепления, наша артиллерия разрушит клади. Соседний же батальон, две роты из батальона Еремеева и приданные им подразделения должны были перейти в наступление и ворваться в опорный пункт противника — село Васильевщину.

В боевом приказе, впрочем, всего этого не говорилось, а лишь перечислялись подразделения, которым предстояло участвовать в наступлении, указывалось на их задачи,

на сигналы, которыми следовало руководствоваться, и на взаимодействие подразделений.

Если бы в ночи вдруг вспыхнул мощный прожектор, то глазам стороннего наблюдателя предстала бы не слишком бодрая картина: солдаты шли на исходную позицию: Они знали, что скоро многих не будет в живых. Шли, опустив головы, нахлобучив капюшоны плащ-палаток... Шли медленно, не обращая внимания на соседей, каждый сам по себе. Ни шутки, ни спокойного человеческого говорка, ни лишних движений. Первухин давно убедился: так было, так будет. Когда-нибудь человек непременно должен оставаться один, даже в толпе оставаться один, тем более что очень скоро души и нервы сплетутся в один клубок, будут дышать легкие одним хриплым, свистящим дыханием.

Перед траншеями ползали саперы, делая проходы в проволочных заграждениях и обезвреживая мины, густо и беспорядочно натыканные солдатами обеих сторон в нейтральной полосе.

Было холодно и ветрено. Иногда сквозь просветы в тучах выступали звезды, и тогда в темноте расплывчато вырисовывались силуэты стоящих в траншее солдат. По-прежнему молчали, но ветер скрадывал не все звуки, неизбежные там, где скопилось множество людей. То хрустнет ветка под солдатским сапогом, то кто-то, неосторожно качнувшись, заденет стволом винтовки притороченный к мешку котелок соседа, и тот шепотом выругается, то неудержимый чих нападет на солдата, и прижатая ко рту рука далеко не полностью заглушает его.

Первухин досадовал, но молчал, зная, что каждое лишнее замечание или приказание неизбежно вызовет движение, хотя бы изменение позы, а это также было сопряжено с шумом. Все понимали, что надо хранить наистрожайшую тишину, и Первухину оставалось считаться с тем, что звуки эти случайны, и все старались, чтобы они не повторялись.

«Потом об этом будут рассказывать и писать, — подумал Первухин. — И наверное, станут доискиваться, что должны чувствовать люди, идя на победу или на поражение, а то и на смерть. Одни скажут: тревогу и страх за свою жизнь. И они будут правы. Другие возразят: нет, чувство ответственности за судьбу родного народа. И они будут правы. Третьи станут утверждать: отдельный чело-

век в эти минуты растворялся в коллективе, и весь воинский коллектив чувствовал и дышал слитно. И они также будут правы. Всё, решительно всё, чувствует солдат перед боем. Вот только меня что-то толкает на эти размышления. Это, должно быть, потому, что жизнь у меня нескладная. И потому, что никого у меня нет: ни отца, ни матери, ни жены, ни невесты. Никого не осталось, кроме сестренки Ляльки, но она умница и прехорошенькая, она не пропадет, если меня и не будет... Еще Ксана... Но как с ней — неизвестно. По-всякому может быть с Ксаной. И так и этак. Я давно не писал ей. Но если все будет хорошо, я когда-нибудь все-таки приду к ней. Пусть она даже выйдет замуж — приду, постучусь под окошком и скажу: «Я пришел к тебе, Ксана. Совсем пришел...»

Так размышлял перед этим боем Анатолий Первухин. Размышлял, вопреки всем законам о времени и месте, когда воин способен размышлять на отвлеченные темы.

А восточная сторона неба все светлела, и Первухин поймал себя на мысли, что славно было, если бы земля стала помедленнее вращаться и если бы продлилась еще хоть немножко эта трудная ночь, на исходе которой многие будут смотреть в пасмурное небо тусклыми, стеклянными глазами.

Но земля вращалась почти с той же скоростью, что и сто и тысячу лет назад, и так же, как всегда, неотвратимо светлел восток и редел сумрак.

И все же красная ракета взлетела неожиданно для Первухина. Он полагал, что у него окажется еще какое-то время для обдумывания чего-то самого главного... Ну, что ж, здравствуй, красный цветок, возросший в сумраке! Здравствуй, новый день, начавшийся трудно! Здравствуй, солнце, блеснувшее первым лучом!

Загрохотала артиллерия. Дружно ударила, слитно.

Первухин выбежал из траншеи, побежал по дорожке, отмеченной еловыми, уже увядшими лапами, к просвету между кольями, опутанными колючей проволокой, громко крича:

— Вперед!

Этот крик был нужен, чтобы солдаты услышали его и не могли ошибиться в направлении, которым следовало двигаться.

— За Родину! — вскричал Первухин, приостановившись, оглянулся. За ним бежал Новиков.

— За Родину! За партию!

Вслед за тем настало то, о чем ни один фронтовик не может связно рассказать. Вместе с солдатами Первухин спрыгнул в укрепленную плетнем, незнакомую траншею и стал стрелять по всему, что двигалось, металось по углам и перекресткам щедро разветвленной обороны гитлеровцев. Откуда-то снизу, из невидимого в сумраке укрытия, вынырнул рослый человек, глаза у него светились, как у кота, застигнутого на шоссе автомобильной фарой. Веер трассирующих автоматных пуль прошел рядом с головой Первухина, но за какое-то мгновение до этого он споткнулся и, чтобы сохранить равновесие, прислонился к стенке траншеи. В ответ новая россыпь трассирующих пуль ударила откуда-то со дна траншеи, из-под ног Первухина и свалила рослого человека с ног. Пробегая мимо, Первухин глянул ему в глаза — они уже не светились... Первухин успел увидеть, что кто-то выдернул у гитлеровца автомат, кто-то, не замедляя бега, бешеным рывком оторвал баклажку от его пояса.

В следующем ряду траншей повторилось почти то же. Грохот, обрушившийся на противоположный берег реки и на воду, подтвердил, что первая часть задачи, возложенной на штурмовую группу, выполнена. Он означал и то, что со времени взблеска красной ракеты прошло двадцать пять минут и что гитлеровцы успели переправить через клади подкрепления, с которыми предстояло схватиться.

Всего двадцать пять минут!.. В час любви столько расходовалось на два поцелуя и два вздоха, при чтении хорошей книги — на то, чтобы отвести в сторону глаза и задуматься, сверяя свое, заветное, с чужим, тронувшим близостью и правдой, в театре или на концерте — на то, чтобы забыться и тут же вернуться в зал, к своему месту, обозначенному рядом и номером.

А тут они промелькнули как один миг, но напихано в него было многое: и напряжение мускулов, которое будет ощущаться не день и не два, и холодок ожидания близкой гибели, и воскрешение из мертвых, и соображения о том, как следует бежать, где задержаться, где упасть, где подняться, где оглянуться, куда повнимательнее глянуть. И обрывки воспоминаний. И чувство ответственности за выполнение приказа. И наблюдение за людьми, которые бежали рядом...

Еще раз оглянувшись, увидев, что солдаты разбегаются по траншеям второго ряда, Первухин вдруг ощутил приближение победной радости, но строго одернул себя: рано, еще нельзя определить истинного положения.

Надо было взглянуть на клади. Разнесла ли их артиллерия? Это важно для исхода начавшегося на другом берегу наступления. Первухин махнул рукой оказавшимся поблизости солдатам, чтобы бежали за ним, и заспешил по широкой, много хоженной, спускающейся к воде траншее... Река, свинцовая, набухшая и дымная, была здесь же рядом. Какая-то батарея еще стреляла по кладям, и брызги воды достигали места, где остановился Первухин. Осколки снарядов со свистом врезались в песчаный берег. Разрыв поднял вверх затонувшую корягу и с ней белобрюхую рыбину, размозжив ее о выступ берега. «Здоровенная. Наверное, сом. Только сомы бывают такие...» — сообразил Первухин. Середина кладей была разбита, остались лишь наклонно стоящие брусья. По воде плыли утыканные гвоздями крупные горбыли.

Первухин выпул из-за ремня ракетницу, зарядил ее зеленой ракетой и выстрелил в сторону исходной позиции.

Ну вот, теперь с этим покончено. Теперь надо ненадолго задержаться в траншеях, пока на той стороне реки солдаты не пойдут в атаку. Следует собрать солдат в один кулак и подготовиться к отражению удара, который может последовать, и немедленно. Еще неясно, с какого именно направления, но удар неизбежен.

2

Подоспел Новиков — ему надлежало все время быть на левом фланге, но он где-то замешкался. Первухин вместе с ним стал расставлять людей. Подсчитать потери не успели — уверились только, что они не превышают неизбежного. Не успели также и навести телефонную связь со штабом или связаться с ним по рации.

Ответный удар был мощнее, чем предполагал Первухин. Гитлеровцы стреляли из тяжелых пушек, из минометов и пулеметов. Блиндажи и укрытия оказались не слишком надежными — именно по ним и били фашисты. Снаряды за каких-нибудь десять минут сокрушили два блиндажа.

И Первухин и все, кто был с ним, понимали, что горстка людей не сможет удержаться, да это, собственно, и не входило в задачу штурмовой группы. Не могли гитлеровцы и не догадаться, что в штурме приняло участие небольшое число людей. Видимо, они уже распознали, где наступают главные силы, и торопились во что бы то ни стало расправиться с группой Первухина, чтобы потом бросить возможно большие силы в направлении главного удара.

С противоположного берега уже прорывалось сквозь грохот «ура», Первухину можно было начинать отход, с тем чтобы в дальнейшем огнем из всех средств поддерживать наступающих. Но для отхода, для того, чтобы выбраться на поверхность земли, надо было дождаться хотя бы относительного затишья.

А уже сквозь рваные космы дыма были видны солдаты, не по-живому привалившиеся к стенкам траншей. И в проходах между колючей проволокой тоже лежали солдаты. И у входов в укрытия. И на перекрестках ходов сообщения.

Грохот и гул все учащались, усиливались, но снаряды и мины стали разрываться за минным полем и рядами столбов, опутанных колючей проволокой. Сейчас последует контратака. Больше медлить было нельзя. Следовало начинать отход.

Первухин высунулся из траншеи. Гитлеровцы наступали с трех направлений. Их было много, и они были близко.

Выстрелив белой ракетой — сигнал отхода и предупреждение о прекращении огня для минометов и стрелковых подразделений, держащих оборону, — Первухин побежал по траншее, знаками указывая солдатам путь отхода. В грохоте его голос тонул.

Задача выполнена, но впереди — самое трудное. Надо пробежать метров сто пятьдесят по ходам сообщения. Надо выбраться из очень глубокой траншеи, проходившей вдоль обороны гитлеровцев. Надо сквозь растекающийся по окрестности густой дым разглядеть проходы в минном поле, отмеченные вешками, давно уже поваленными солдатскими сапогами. Надо добежать до своих окопов на виду у противника.

Надо... Все это надо во что бы то ни стало.

Прикрывать отход должны были пулеметчики. Их бы-

ло трое: Орлов, Воронин и Синицын. Еще когда Еремеев и Первухин составляли план операции, оба они заметили, что три пулеметчика носят «птичьи» фамилии. Так уж вышло. Главное, все трое были надежными людьми.

Они совсем не схожи: Орлов — девятнадцатилетний мальчишка, склонный к озорству и любящий приключения; Воронин — сорокалетний степенный отец семейства с морщинистым лицом и сходящимися на переносице кустистыми бровями; младший сержант Синицын — грузный, угловатый, наделенный редкостной физической силой. Только в фамилиях был общий признак. Но война свела их в одном подразделении пулеметной роты, повелела стать друзьями.

Добежав до перекрестка ходов сообщения, Первухин задержался. Пулеметчики стреляли очень длинными очередями, почти без пауз. Это было правильно, так и надо стрелять последние минуты. Первухин махнул рукой Синицыну, чтобы перебирался в траншею последнего ряда, добежав до Орлова, повторил тот же жест.

Взобравшись на бруствер траншеи, Первухин увидел, что несколько солдатских спин уже поравнялось с проходами в минном поле. Минометчики обстреливали то самое место, где еще несколько минут назад был Первухин. Молодцы, разрывы прикроют группу! Вот это слаженность, это настоящее взаимодействие, вот ведь, черт возьми, не только на бумаге это бывает. На наблюдательных пунктах сидят командиры, сжимая в руках телефонные трубки, впиваясь глазами в окуляры биноклей и стереотруб, коротко отдавая приказания. Медлить нельзя, здесь, в траншеях, солдаты, им предстоит сейчас выбираться на поверхность, пробегать через узкие проходы в проволочных заграждениях и минных полях!.. А за рекой наступали основные силы, они тоже ждут поддержки!.. Нельзя медлить, нельзя раздумывать о постороннем, нельзя переспрашивать и не понимать, нельзя делать лишних движений, нет времени ни на перекур, ни на лишнее слово, ни на то даже, чтобы вытереть с лица пот. Все идет, как должно идти, все рассчитано до секунды! Нет, недаром они почти полгода занимают здесь оборону, многому научились за эти шесть месяцев!..

Пулеметчик Орлов отходил последним. Вот он наклонился, сменил диск пулемета... Не потерял самообладания, пулемет еще может ему понадобиться. Если все

будет хорошо, самая первая и самая значительная награда — ему, Орлову.

Уже близко. Сейчас надо выпрыгивать из хода сообщения и бежать через проход в минном поле. Не ошибиться бы — такая ошибка будет стоить жизни... И надо подбавить ходу, перепрыгнуть через труп... («Даутов это, автоматчик. В документах у него трудное татарское имя Абдулбядут, а товарищи звали Лешей... Эх, Леша, Леша, кончилась для тебя война, кончилась и жизнь... Заплачет вдова в безвестной татарской деревне...») Потом еще через два трупа... («Один — гитлеровец, фельдфебель, усы большие, загнутые вниз, словно у запорожца... А другой — наш... Не помню его фамилию, он из роты Жени Герасимова, горбоносый, мускулистый, а голос был высокий, почти женский... Лежат рядом...»)

Быстрее вперед!

Чей-то взгляд задержал Первухина. Не голос, а именно взгляд. К траншее примыкала глубокая ниша, здесь, должно быть, прежде стоял гитлеровский наблюдатель. По ночам отсюда почти беспрерывно стреляли ракетами, и стержни их падали около дзота боевого охранения. В нише, на земле, усеянной гильзами, сидел Новиков.

Узнать его было нелегко: без шапки, с черным лицом, с воспаленными глазами, поникший и бессильный.

— Ранили?! — крикнул Первухин. — Бежать не можешь?.. Мне не доволочь...

— В ногу... Перебило ногу... — изможденно отозвался Новиков, глядя на Первухина, но, кажется, не узнавая его.

Первухин схватил Новикова за локоть и плечо, приподнял:

— Беги, пропадешь!

— Все, — весь сморщившись от боли, ответил Новиков. — Все. Ты это...

— Беги, пропадешь. Немцы рядом... («И в самом деле, вон каски виднеются. Напрямую — совсем рядом, а кружным путем, по траншее, чуть подальше...») Ну, попробуй же, давай!..

Новикову очень больно ступить на простреленную ногу. Но ведь сознания он не потерял. Больно — не больно, это не имеет значения, ведь сознания он не потерял. Если он сделает усилие...

— Опирайся на меня... Да беги же, беги! — закричал Первухин.

По лицу Новикова струился пот. Он дышал, как лошадь, уходящая от волков, и, наверное, ничего перед собой не видел. Но, неуклюже наступая левой ногой только на пятку, он все же побежал.

Напротив места, где были сделаны проходы в минном поле, уже показались каски гитлеровцев... Поздно, будь оно все проклято. Эта задержка дорого обошлась, очень дорого.

«Ну, выноси, судьба, Тольку Первухина! Выноси, судьба!»

И Первухин, увлекая за собой Новикова, махнул напрямик через минное поле. Мины обычно ставятся в шахматном порядке, но тут минировали в разное время и под огнем, поэтому натыкали мины как попало. Да и то надо учесть, что снаряды неоднократно шлепались здесь, подрывая мины. Если повезет, то не гибелен еще этот путь... Если повезет... Это только теоретически никак нельзя перебраться через минное поле, вернее, через два минных поля, потому что впритык друг к другу ставили и наши и фашисты...

Но все же одна мина взорвалась под ногой Первухина. Взорвалась, но не причинила ему вреда. Во всяком случае, он пока ничего не чувствовал, кроме того, что его шибанула взрывная волна, он шага два пролетел по воздуху, словно футбольный мяч, и выпустил из рук Новикова. И так, оказывается, бывает: под ногой взрывается мина — и ни черта! То ли мина оказалась редкостно милосердной, то ли наступил на нее Первухин по-особому удачно... Но это потом, сейчас не до этого...

Новиков теперь бежал самостоятельно. Он выворачивал раненую ногу, но все же бежал. Значит, он растерялся там, в траншее. Ему только показалось, что у него нет сил и что он не может бежать. От страха, что ли, показалось...

Автоматчики увидели этих двоих: по ним стреляют. Это еще куда ни шло. Если ударят из пулемета, тогда будет хуже. Тогда совсем скверно будет.

— Наклонись, лейтенант, наклонись пониже!

Вот только через проволоку. Пожалуй, через проволоку ему и в самом деле будет трудно. Уж очень эти проклятые автоматчики жарят, не хочется задерживаться. Надо бежать, наклонясь пониже и делая неожиданные скачки в стороны... Лейтенанту будет трудновато переби-

раться через проволоку... Надо втянуть руки в рукава шинели, чтобы не зацепиться, и трижды перевалиться через заграждения. А руками надо обязательно защитить глаза. Это очень важно, когда в такой спешке перебираешься через проволочные заграждения, защищать как следует глаза!.. Придется из-за этого лейтенанта чуточку задержаться... Ну, ну, лезь прямо, ни черта тебе проволока не сделает... Это не в чужом саду цветочки для барышни рвать — тут пощады нет... Лезь здесь... выше... Да не вались на меня... Глаза, глаза защищай. Теперь падай... Не дожидайся, беги дальше... У меня нет времени с тобой валандаться... Повторим все сначала... Ну и последний ряд... Лезь, лезь!.. Вот сволочь, автоматчик, ведь сейчас влепит... И минами стали жарить!.. Падай, я за тобой!..

Новиков перевалился через последний ряд колючей проволоки и шустро пополз к спасительной траншее. Ему следовало все-таки подняться на ноги — ведь под ним новое минное поле. Однако Новикову пока везло. Первухин же...

Земля поднялась перед ним, весь этот участок, который он десятки раз изучал по карте и десятки раз прополазал на животе, поднялся дыбом. Поднялось все — и ряды колючей проволоки, и нейтральная полоса — заболоченная низинка, усеянная трупами, уже разложившимися и совсем свежими, еще не остывшими, оружием, гильзами, осколками, каким-то хламом и тряпьем, и дзот боевого охранения, с хитро замаскированной среди гнилых бревен амбразурой.

А потом земля рухнула вниз. И в ослепительном свете Первухин увидел то же: и опутанные ржавой проволокой, заросшие мхом столбы, и заболоченную низинку с бесчисленными воронками среди пышной, обильно удобренной травы, и бревна, заготовленные кем-то когда-то для дома, но сгнившие...

Земля падала, а старший лейтенант Анатолий Первухин силился удержаться, хватаясь руками за колючую проволоку, в кровь раздирая руки, чувствуя боль и радуясь этой боли, потому что, если он чувствовал, значит, он был жив.

Еще жив...

3

«Это хорошо, что мне больно, — значит, я жив еще. Произошло самое страшное, но я еще жив. И не поймешь,

что именно так страшно болит и почему я в таком неудобном положении. Голова моя около земли, и я чувствую ее запах, смешанный с запахом порохового дыма, и опаленные травинки качаются около глаз, а живот наверху, и все мое тело на весу. Поэтому-то мне так неудобно. Стрельба все продолжается, она не затихла ни на минуту, просто я ее не слышал. Пули летят мимо меня. Но нет, это не в меня целятся, немцы близко — попасть в неподвижную мишень не составит для них труда.

Больно, на всем налет какой-то ржавчины, смотреть больно, невозможно. Это кровь стекает по лицу. Но я еще жив. Ужасно только то, что я... Да, в самом деле я повис на проволочном заграждении, застрял на последнем ряду. Вот там, где-то слева, должен быть дзот боевого охранения, который мы строили по ночам и бесшумно. Я еще хвастался, что он выстроен без единого гвоздя. И низинка, поросшая кустами и заваленная трупами. Она загибается, эта низинка, и проходит позади меня.

Я повис на проволоке, и в меня не стреляют: думают, что я убит. Я кажусь им трупом, повисшим на проволоке. Зачем в меня стрелять, нет никакого смысла, только патроны переводить.

Значит, прицельного огня по мне вести не станут, меня убьет случайная пуля. Вот пулемет надрывается, сейчас пулеметчик поведет стволом и невзначай всадит в меня несколько пуль. При таком огне все, что на поверхности земли, неминуемо будет поражено. Даже если гнилое бревно поднять и кинуть на проволоку, и его через десяток минут проткнет несколько пуль или заденут осколки снаряда.

И свои запросто могут попасть, потому что они хоть и видят меня, но не знают, что я живой. Нет уже для них начальника штаба Анатолия Первухина, они видят повисший на заграждениях труп. И если за мной окажется подходящая мишень, то они ненароком всадят и в меня.

Больно очень. И голову больно, и живот. А в ногах я боли не чувствую, но двинуть ими не могу. Сколько же пуль через меня прошло и где именно?.. А может, меня миной накрыло? Или осколками снаряда?.. Это хорошо, что так больно, — значит, я жив еще, и в организме есть силы.

А тот парень, из-за которого я замешкался, тот лейтенант, уже давно добрался до траншеи. Забинтовал ногу, сидит-посиживает, отдыхает после успешной операции. Ему бы хоть оглянуться. Сам не можешь выручить, скажи ребятам, что начштаба тяжело ранен, повис на заграждении. Они бы выручили, ребята. Не знаю как — думать мне сейчас трудно, — но ребята выручили бы. Еремеев и Балин — на том берегу, там жарко сейчас, но Женя Герасимов должен быть здесь, рядом. Ему Еремеев сказал: «А ты, старший лейтенант Герасимов, хозяйнуй, посторожи наши хаты и помоги штурмовой группе». Если бы Женя знал, что я жив, он что-нибудь придумал бы.

Стрельба сильная, но в меня никто не целится. Меня убьет случайная пуля, шальная. А за рекой — грохот, и «катюши» туда сыграли. Я погибну при отвлекающем маневре, а за рекой вступили главные силы. Там и Еремеев, и Балин, и командир соседнего батальона Петроверигский — тот самый белокурый и синеглазый капитан. Хватка у него железная, у Петроверигского, а лицо румяное, нежное. И представитель из штаба бригады там — не помню его фамилии, — в пенсне ходит, важничает очень, но в военном деле смыслит.

Вот так и кончается моя жизнь. Я повис на заграждении и не могу отцепиться, а кругом идет стрельба. Не думал, что так кончится моя жизнь.

Лялька, когда узнает, горько заплачет. Теперь она останется одна, Лялька. Только Лялька, больше никого из нашей семьи. И фамилию ей придется сменить на мужнюю...

Мне бы только спуститься с этой проклятой проволоки.

Земля холодная и мягкая, и умирать легче на земле... А если ребята догадаются, что я живой, может, они что-нибудь придумают. Хоть посмотреть бы на наши траншеи и на дзот, вот только кровь мешает, она запеклась и заклеила мне глаза. Тут что-то твердое лежит, надо потереться лицом. Больно, но надо еще. Вот так, теперь светлее стало. Там, за бревнами, — дзот. А вон траншея, и там блеснуло что-то. Может, это наблюдатель с биноклем... Ну, посмотри же, посмотри, я еще живой. Улыбнуться я уже не могу, но, видишь, качаю головой. Только бы немцы не заметили. Если ребята поняли, что я живой,

они что-нибудь предпримут, не оставят же они меня здесь, на заграждении.

А Ксана, когда провожала меня, сказала: «Ребеночка бы оставил». Хорошая она, Ксана, лучше всех, кого я встречал. Как бы с ней было хорошо, как хорошо! Зря я все-таки не писал ей, ведь и она не вспомнит добром, подумает — жив остался, другую полюбил... Вот если бы был мальчишка, сынок. И если бы все у него было хорошо, складно.

Освободиться бы от этой проклятой проволоки, лечь бы на землю — и тогда будь что будет. Если даже немцы и заметят — все равно умру на земле. А если не заметят, можно пролежать до темноты. Сейчас дни короткие — пролежишь несколько часов, и начнет темнеть. На земле набраться сил, а потом как-нибудь дать знать ребятам, чтоб выручали Тольку Первухина, бывшего начштаба.

Для того чтобы отцепиться, надо увидеть, как я зацепился. Здесь колючки, они пропороли шинель и гимнастерку и жгут под мышкой. С этой стороны рука свободна, здесь я лежу животом на проволоке.

Зубами не перекусить ее, проволоку. Никому никогда не удавалось перекусить колючую проволоку. Об этом даже глупо думать. Вот если столбы подгнили — раскачать бы их. Больно очень — и никакого толку. Это хорошо, что больно, — значит, есть еще у меня силы.

На эту ногу я не могу ступить, да и нельзя этого делать — заметят немцы. Если они увидят хоть одно мое движение, они сразу же перережут меня пулями. А если отцепить эти колючки и повалиться влево?.. Ну, выручай, судьба, Тольку Первухина!.. Вот так... Пусть и заметили, все равно приму смерть на земле.

Боль невозможная. Должно быть, все мои косточки переломлены. От такой боли и умереть можно. Опять земля встает дыбом, а на земле воронки, подбитый танк, траншеи и блиндажи. Идет война на земле, и земля поднимается вверх. Теперь она будет падать вниз... Задержись здесь, Толька, задержись на самом гребне, не падай, — там темно и страшно.

...Еремеев и Балин за рекой. Они в бою. А Женька Герасимов здесь, и ребята разведчики должны быть здесь. Если доживу до темноты, то, конечно, сумею дать им знать о себе.

Там идет бой — за рекой. Отвлекающий маневр закончен. Ребята, с которыми я был, покуривают да постреливают через реку. А за рекой все решается. Еремеев — хороший командир, и Балин хороший. И много хороших людей остается. Потом, без меня, в жизни все будет хорошо. Эти люди сумеют сделать жизнь хорошей и справедливой. А бой идет за революцию. Она все вынесет, все преодолеет, революция.

Лялька, Лялька, милая моя девчонка, от всей семьи ты одна остаешься. Ты будешь счастливой. И дети твои будут счастливыми.

Меньше стали стрелять. Или это мне только кажется, что меньше. Теперь ничего у меня не болит, только тело стало каким-то чужим. И спать хочется. Я сейчас засну и не буду чувствовать ни тоски по жизни, ни того, что тело стало чужим. Ничего не буду чувствовать...»

4

Старший лейтенант Герасимов, которому вместе с не участвующими в наступлении подразделениями было приказано держать оборону на левом фланге, сидел в дзоте боевого охранения и видел через амбразуру, как отходили солдаты штурмовой группы, даже сумел точно пересчитать всех — потери были значительны, но не превышали обычных для такого рода операций. Видел он и как последними бежали через минное поле Первухин и Новиков, как Первухин помогал Новикову, а потом повис на проволочном заграждении. В бинокль он рассмотрел лицо Первухина и без труда убедился, что начальник штаба жив.

Новикову помогли спуститься в траншею, довели до ближайшего блиндажа, и фельдшер стал перевязывать его рану, а тем временем Герасимов, оставив в дзоте Мизюркина, поверху, низко пригнувшись и петляя, махнул к траншеям.

— Ну вижу, что ранен... Мог же ты, лейтенант, Анатолия с проволоки снять, помочь ему мог. — И Герасимов повторил твердо, с яростью в голосе: — Мог!

Фельдшер и солдаты, которые помогли Новикову добраться до блиндажа, напряженно молчали, опустив глаза.

Искаженное только что пережитой опасностью лицо Новикова ничего не выражало. И ярости в голосе командира роты он, кажется, не уловил.

— Насилу ушел, — прерывисто дыша, повторял Новиков. — Насилу ушел... А начальник штаба там остался, не ушел начштаба.

Непонятно почему, но гнев Герасимова вдруг обрушился на фельдшера — немолодого краснолицего человека:

— А почему ты молчишь, фельдшер? Почему ты молчишь, как осиновый кол?

Понимая, что оказался мишенью гнева случайно, из-за растерянности командира роты, фельдшер пожал плечами и, привычно наматывая бинт на ногу Новикова, сказал:

— Кость прострелена у лейтенанта Новикова. Автоматной пулей. Месяца полтора-два придется полечиться, никак не меньше.

— Месяца полтора?—встрепенулся Новиков.—Насилу ушел. Чуть там не остался вместе с начальником штаба... Я к вам, товарищ старший лейтенант, пришлю кого-нибудь из медсанроты. Характеристику на меня напишите... ну и что провел бой...

Герасимов глянул на него, резко повернулся к выходу, у порога задержался, крикнул солдатам:

— Чего тут валандаетесь?.. Нет дела?.. Бой идет, люди гибнут, а вы тут прохлаждаетесь!

Солдаты переглянулись, потом оба, как по команде, глянули на Новикова и пошли вслед за Герасимовым. Герасимов, пропустив их мимо себя, сел на дно траншеи, стал курить, глубоко затягиваясь и почти не выпуская из себя дыма. Обычное самообладание уже возвращалось к нему, но решение — правильное решение, сулящее надежду на успех, — не приходило.

Ползти к Первухину на виду у противника было бессмысленно. Это означало привлечь к Первухину внимание и этим погубить и Первухина и того, кто к нему доползет. Демонстрировать атаку и сразу же отойти, захватив с собой Первухина? Без приказа нельзя, да и опять-таки это привлекло бы внимание противника к участку, где среди заграждений лежал Первухин. Кроме того, мины были густо натыканы по обеим сторонам проволочных заграждений, и надежный проход можно было

сделать только в темноте. Да и, наконец, людей в обороне было совсем мало.

Вернувшись в блиндаж, где фельдшер все еще возился с Новиковым, Герасимов стал по телефону докладывать о случившемся в штаб бригады, понимая, что до завершения боя или до наступления темноты ему ничего не подскажут и не прикажут. Его соединили с командиром бригады. Выслушав его, командир бригады на условном телефонном языке стал отдавать распоряжения по усилению обороны. О Первухине он промолчал, сказав очень неопределенно:

— В шестнадцать пятнадцать темнота уже сгустится...

Это означало, что командир бригады окончательное решение оставил за Герасимовым, но советовал ему подождать, пока стемнеет.

И Герасимов, еще раз все взвесив, мысленно согласился с ним.

Подержав в руке телефонную трубку, Герасимов нажал на зуммер и соединился с младшим сержантом Мизюркиным. Мизюркин взволнованно сказал, что Первухин только что сполз с проволоки и теперь неподвижно лежит в ложбинке.

— Головой уткнувшись в землю, лежит, руки выкинувши вперед, а ногтями землю царапает.

— Ну что... что будем делать, младший сержант? — спросил Герасимов.

— Помочь надо старшему лейтенанту... Я бы... я бы попытался, — с хорошей мальчишеской отвагой отозвался Мизюркин.

Герасимов молчал. Мизюркин ждал. В трубке стало непривычно тихо. Разговор слушали телефонисты на промежуточных станциях, командиры, аппараты которых были подключены к тому же коммутатору.

Рука Герасимова, держащая трубку, задрожала. «Ну, что вы все затаились? Вы-то что думаете? Пусть хоть кто-нибудь вступит в разговор, что-нибудь предложит».

Но трубка доносила лишь дыхание многих людей да эхо пулеметной стрельбы. Молчали и в блиндаже. Только Новиков бормотнул в последний раз:

— Плохо с Первухиным... да и я-то насилу ушел...

— Нельзя пока ничего сделать, — наконец сказал Герасимов. — Ты слышишь, Алеша, сейчас нельзя ничего сделать. Толя мой друг, но я тебе говорю: пока не стем-

неет, не можем мы ему помочь, ничем не можем... Это я тебе не только как командир говорю, я постарше тебя и воюю с первого дня... Нельзя.

...Его доставили ночью, когда закончился бой на противоположном берегу и выяснилось, что наши захватили половину опорного пункта гитлеровцев, села Васильевщины, и сумели надежно закрепиться. Ползали за Первухиным, пробираясь через минное поле и обезвреживая встречные мины, старший лейтенант Герасимов и младший сержант Мизюркин.

Они сумели выполнить все бесшумно, и гитлеровцы не заметили их. Первухина приподняли, уложили на плащ-палатку и волоком доставили до безопасного места, где переложили на носилки. Тут же, в блиндаже, при свете карманного фонарика, врач Якимец осмотрел его, нашел в нем признаки жизни, ввел камфору и сам наскоро перевязал.

В кромешной тьме носилки понесли в медсанроту.

...Анатолий Первухин очнулся на следующий день. Забинтованный, он лежал на нарах, устланных соломой. В зимней, с двойными брезентовыми стенками, палатке было непривычно тепло: посреди ее в железной печке горели дрова.

Сквозь небольшое оконце виднелись сосновые ветки, слегка колеблемые ветром.

Незнакомая сестра, свежая и стройная, подошла к Первухину, дала выпить какое-то лекарство и стала с ложечки кормить его сметаной. Есть Первухину не хотелось, сметана казалась безвкусной, но он проглотил несколько ложек.

— Не хочу больше. Дай мне, сестра, покурить...

— Не надо, товарищ старший лейтенант. Нельзя курить.

Сестра посмотрела на Первухина с жалостью, и ему было это неприятно. В конце-то концов, могло быть и хуже; с проволоки его сняли, доставили в тыл.

Первухин не помнил, как это было, но где-то в сознании осталось воспоминание, что спасением он обязан Герасимову и одному солдату, — кажется, разведчику Мизюркину.

— Дай, — повторил Первухин, разглядывая сестру.

Она была синеглазая, белокурая, с густыми, мохнатыми, загнутыми на концах ресницами.

— Ты откуда родом... такая красавица? — морщась от подступившей тупой боли, спросил Первухин.

— Новгородская. Только никого там у меня не осталось... — не опровергая оценки Первухина, ответила сестра.

— На мою мать ты похожа. У меня мать тоже была красивой, — печально сказал Первухин.

Лежащий невдалеке раненый — черноглазый, с забинтованным лицом — свернул папиросу, раскурил ее, и сестра, неумело держа папиросу своими маленькими пальцами и опасаясь обжечь Первухина или обжечься сама, поднесла к его рту.

Первухин затянулся, но тут же закашлялся. А кашлять было больно. Вот так. Видно, и покурить больше не придется.

— Верни ему, — указал Первухин глазами на раненого, свернувшего папиросу. — Пусть он на меня подышит... За рекой как?

— За рекой ничего. Больше половины Васильевщины осилили, до церкви. В землю закопались. Меня там, около церкви, осколком и потревожило, — сообщил раненый, раскуривая папиросу и направляя дым в сторону Первухина.

— Не надо бы вам разговаривать, — предупредила сестра, но Первухин не обратил на ее слова внимания.

— Еремеев как, Балин?

— Воюют. Капитан Еремеев нынче утром из штаба бригады возвращался, сюда заезжал, на нарах сидел, все ждал, не очнетесь ли.

— Так.

Первухин закрыл глаза и очень долго лежал, ни о чем не думая, с затуманенным сознанием.

Пришел какой-то врач, стал что-то спрашивать.

Первухину не хотелось говорить. Все это уже не имело для него значения.

— Не знаю, где и что болит. Все болит.

Сознание прояснилось, и Первухину хотелось подумать. И врач не стал мешать. Он взял его руку и стал считать пульс, сверяясь с большими карманными часами.

«...Ребята выручили меня и принесли сюда. Это они

правильно сделали, тут тепло и мягко. Я давно уже не был в тепле, с лета. В блиндажах хоть и не особенно холодно, но воздух сырой и спертый. А человек нуждается в тепле. В пище, в тепле и еще в свете нуждается человек. И тогда к нему приходит все остальное человеческое — он трудится, думает, говорит, любит, развлекается. Об этом все забывают, но когда человек близок к смерти, он возвращается к этому.

Сосны за окошком качаются.

Они качались так тысячелетия и впредь будут качаться тысячелетия. Они немножко угрюмые, сосны, но очень стройные и красивые.

Летом по соснам прыгают белки. Белка — красивый зверек. И дятлы часто сидят на соснах. Дятел — самая красивая птица в наших лесах. В жизни много красивого.

Когда война кончится, люди еще больше будут любить лес.

Они будут приходить и приезжать в лес, чтобы посмотреть на сосны, подышать смолистым запахом, послушать, как ветер шумит в деревьях. Сосны хорошо шумят, славно».

В палатке задвигались, заговорили. Кто-то приподнял Первухина, кольнул в плечо. Но все это уже не имело для него значения. Зря они суетятся и зря мешают ему, не дают забыться...

Он подумал о том, что летом и в чернолесье хорошо. Когда-то, очень давно, они всей семьей ходили гулять по чернолесью: отец, мать, сестренка Лялька. И еще — молодой тогда — песик Дым. Потом на краю усеянной цветами лужайки, под старой дуплистой березой, мать расстелила газету, вынула хлеб, вареные яйца и соль и сказала, чтобы все шли есть. Анатолий сидел на дуплистой березе, а Лялька, в коротеньком ярко-красном платьице, с сачком, гонялась за бабочками. Отец — он был без рубашки, в одних только белых брюках — смеялся и помогал Ляльке. Он махал рубашкой, стараясь заставить бабочек лететь к Лялькиному сачку. Взлаивая, песик бегал взад-вперед. «Идите сейчас же сюда, неугомонные!» — рассердилась мать. Она была тогда молодая, нарядная и красивая. У нее были чудесные волосы — светло-каштановые, пышные, искрящиеся. И на лице не было морщин.

Как давно все это было, как давно!..

А еще они как-то все вместе ходили в театр на «Синюю птицу». В Художественный...

Но об этом потом...

Неожиданно, как и там, в проволочных заграждениях, земля поплыла вверх, а за ней и лес его детства, и отец, и мать, и Лялька. Земля поднялась дыбом, и он оказался на самом гребне. Вслед за тем все рухнуло, и все оборвалось.



ПУТЬ ТВОИХ ПРЕДКОВ

РАССКАЗЫ



ТОВАРИЩИ

Так уж повелось в эскадроне: при встречах со Степанцом улыбаться, похлопывать его по плечу и нещадно поносить Рыжуху, стройную, светло-рыжую красавицу.

Резвостью и выносливостью Рыжуха заслужила репутацию лучшей в эскадроне лошади, и ругали ее солдаты для смеха, потому что забавно было смотреть, как передергивалось, словно от зубной боли, лицо Степанца, как темнели его добродушные синие глаза. Сохранять хотя бы внешнее спокойствие, когда ругали его лошадь, он не мог. В этом была его слабость, а слабости в эскадроне было принято высмеивать.

Невысокий, гибкий и крепкий парень с румяным лицом, в лихо надвинутой на лоб кубанке, Степанец редко улыбался, хотя шутку, даже над собой, как всякий истинный кавалерист, ценил и ответить умел на шутейное слово вовремя и метко, если только речь не заходила о Рыжухе.

Один на один в словесной перепалке Степанец забивал любого. Если же не хватало слов, он очень легко, както незаметно для себя, переходил на кулаки. Поэтому нападали на него солдаты целым отделением, предварительно сговорившись и перемигнувшись, и дразнили до тех пор, пока он не ложился на траву или, если дело происходило в землянке, на нары, завернувшись с головой шинелью. Длиннополая, поношенная, с прожженным у костра рукавом шинель служила ему как бы щитом от насмешек, но нападать не мешала. Высовывая голову, он высмеивал обидчиков, а когда иссякали слова, принимал сонный вид и исчезал под своей шинелью, подобно улитке в раковине.

Забаву неизменно начинал с похвалы своему коню Ветру друг и земляк Степанца — Петренко.

— Конечно, лошадь есть лошадь, думать она не может, но, я так полагаю, соображение она свое имеет. А еще имеет красоту и осанку. Вот, скажем, твоя Рыжуха или мой Ветер. Осанкой Ветер постройнее Рыжухи, — говорил Петренко, слегка заикаясь, — осанка у Рыжухи неважнецкая...

— У Рыжухи-то? — сдержанно отзывался Степанец.— Осанка что ни на есть подходящая.

— Осанка-то вообще признак, можно сказать, второстепенный. А ширины в маклаках у Рыжухи недостает...

— Самая хорошая ширина, — досадливо отмахивался Степанец и вслед за этим делал неосторожный шаг: — Такой лошади, как моя Рыжуха, не то что в полку — в дивизии нет! — И, услышав с луга, где паслись стреноженные кони, ржание, добавлял: — Вот она, милая, голос подает.

— Голос хороший, меццо-сопрано, — соглашался писарь, любитель редкостных слов и выражений.

Тут в разговор вступали все солдаты. Степанец видел ухмылки, понимал, что готовится забава, но остановиться не мог.

— Да и масть у Рыжухи не очень хорошая, — слышался басок эскадронного повара.

— Что и говорить, масть по второму разряду.

В пылу спора Степанец уже готов был отрицать и очевидные вещи:

— Хотите знать, она совсем и не рыжая, это особая масть.

— Никакая не особая, просто рыжая, — авторитетно бросал старшина эскадрона Уханов.

— Странно даже как-то вы, товарищ старшина, утверждаете, — защищался Степанец.

— Да и командир эскадрона, когда генерал приезжал, — снова вступал писарь, — так прямо и сказал: «Нет у этой рыжей кобылы настоящего воинского строевого вида...» Так и сказал, я сам слышал. Нет даже вида, понимаешь?

Дружный хохот покрывал слова писаря, и Степанец, оглянувшись, не слышит ли командир взвода, после приезда в эскадрон новой медсестры сурово каравший за ругань, говорил непечатное и уходил.

Оставшись один, он сразу же остывал, и ему становилось смешно и весело. Степанец шел к виновнице спо-

ра — крупной холеной лошади рыжей масти с белыми пежинами на животе и ногах. Он вдыхал лошадиный запах и жмурился; лошадь терлась мордой о гимнастерку, добиралась до кармана, где хранил ефрейтор сахар.

— Ты не лезь! Ну, что ты лезешь? — ворчливо и ласково говорил Степанец. Потом, припоминая подробности происшедшей перепалки, жаловался: — А я из-за тебя чуть повара не сокрушил...

Рыжуха вскидывала уши, прислушивалась к знакомому голосу и трясла головой.

В одну из бомбежек Степанец был ранен в спину осколком. Рана оказалась неопасной: осколок был на излете, не имел полной силы. Тем не менее ефрейтора отвезли в медсанэскадрон, и врач оставил его там.

Лечился Степанец впервые в жизни: раньше он никогда не болел. Проснувшись поутру, скользя безразличным взором по полотняной стенке палатки, Степанец начинал вспоминать, что его прежде беспокоило.

— Рана, как я полагаю, ерундовая, товарищ военврач, — говорил он при утреннем обходе врачу, — ее подорожником в лучшем виде можно залечить. Но уж если приказано лежать, тогда надо б мне и капель — сердце полечить. Еще до призыва, в станице, пришлось мне както чувалы с зерном таскать на баржу. Чувалов двадцать я снес, и тут зарябило у меня в глазах, а в сердце колотье началось...

— Лежи, лежи, казак, не скучай, дадим тебе капель, — с добродушной и усталой улыбкой отвечал врач и переходил к другому раненому.

Но вот через несколько суток с ночи началась сильная стрельба. Степанец уже больше не скучал. С тревогой вслушивался он в отголоски боя, ждал первых раненых, чтобы от них узнать положение на переднем крае. Но раненых не было. Знакомый связист сказал ему, что полк перекинули на участок, где гитлеровцы пытались прорвать фронт на двадцать километров к северу от прежнего места.

А стрельба все усиливалась. Степанец начал уговаривать врача выписать его в часть. Старичок врач осмотрел его, подумал, покачал головой и в конце концов согласился. К вечеру следующего дня Степанец отыскал свой эскадрон у реки, в прибрежном кустарнике. В операции, которую провел эскадрон, как оказалось, погибло шесть

человек. Петренко, друг и земляк Степанца, пропал без вести.

— Нет Петренки... должно, отбился в сторону... Денек-то горячий выдался, — сообщил старшина Уханов и добавил, осторожно поглядывая на розовевшую в лучах заката водную гладь: — Петренковский Ветер захромал, так он на твоей Рыжухе был, Петренко-то.

Выслушав новости, Степанец помрачнел. И представилось ему, как по окончании войны вернется он в родную станицу, встретит Анюту, жену Петренки. Поднимет она на него глаза, попросит: «Расскажи, как мой-то погиб. Схоронили-то его где?» И будет он, звеня медалями, топтаться перед ней, смотреть, нахмурившись, как забьется она в рыданиях. А когда скажет она: «Видать, кому какая судьба!» — почудится ему в этих словах упрек, что здоровый он вернулся, сильный, молодой.

— Ты ступай поищи земляка-то, там вон, за болотцем, километрах в двух отсюда трофейная команда работает и санитары. Командир эскадрона разрешил, — сказал вновь подошедший к Степанцу старшина Уханов.

Степанец расспросил дорогу и пошел туда, где вспыхивали неяркие в опустившемся тумане ракеты.

Поблескивала вода на продавленной лошадиными копытами болотистой земле. Степанец, разбрызгивая грязь, спотыкаясь о какие-то обломки и коряги, вошел в сожженную деревню. Здесь пахло дымом и гарью, в наступившей темноте неотчетливо вырисовывались развалины.

Среди развалин бродили люди с носилками.

На околице путь Степанцу преградило обгорелое бревно. Рядом громоздилось что-то большое, мягкое. Лошадь! У Степанца захватило дыхание.

— Рыжуха!

Рыжуха лежала на боку, вздыбив напряженные, закоченевшие ноги.

Степанец опустился на колени, потрогал холодный лошадиный круп.

Стояла тишина, наступающая на фронте после тяжелого и долгого боя тишина. Невдалеке, в окопе, кто-то негромко насвистывал песню о рябине. Этот странно беззаботный свист раздражал Степанца, мешал ему обдумать то важное и нужное, что хотелось ему обдумать.

Ефрейтор поднялся, огляделся и пошел к видневшемуся невдалеке лесу. Он заставил себя не думать о лоша-

ди. Рыжуха, Ветер, Машка — не все ли равно? А вот друга и земляка Петренки нет... И снова Степанцу вспомнилось время, когда девятнадцатилетними парнями увивались они оба вокруг статной, зеленоглазой Анюты, наперебой приглашали ее на танцы; скрываясь друг от друга, ждали около дома, чтобы, когда выйдет, подойти, заговорить. Петренко оказался удачливее. Вспомнилось Степанцу и то, как незадолго до Анютиной свадьбы встретился он с ней на берегу Кубани, спросил: «Чем я, Анюта, хуже дружка своего?» «Дружок твой добрее, уютнее с ним», — ответила Анюта и, озорно стегнув парня веткой тальника, чтобы не загораживал дорогу, раскачиваясь под тяжестью коромысла, ушла, крикнув на прощание весело и словно бы сочувственно, жалея его: «Ты на танцы почаще ходи, мало, что ли, у нас девчат!»

И от всех этих воспоминаний горько стало Степанцу, так горько, что защипало в горле.

Около разваленного каменного строения его окликнули:

— Стой! Кто идет?

— Свой, — ответил Степанец, нехотя останавливаясь. — Чего стоять-то, ищу я...

— Кого ищешь?

— Землячка ищу...

В развалинах пошептались. Потом чей-то властный голос приказал:

— Отведи его на КП!

На КП, в глубоком блиндаже, было многолюдно. Тут среди пехотных офицеров увидел Степанец и заместителя командира своего эскадрона старшего лейтенанта Маслова.

— Здесь больше искать нечего... За завалом могли наши люди остаться. Пойдешь с разведчиками! — приказал ефрейтору Маслов.

Степанец разыскал разведчиков и вместе с ними отправился к лесу.

На опушке легли на землю, поползли между деревьями, замирая, когда ракеты освещали лес. Путь преградил завал — пояс из срубленных и поваленных наземь деревьев. Ползком преодолеть завал было нельзя. Надо было подниматься в рост, перелезать через поваленные стволы, обходить пни. С фланга по завалу то и дело стучали пулеметы.

— Слышишь? — шепнул Степанцу малорослый, жилистый, с крупным горбатым носом разведчик.

Ефрейтор прислушался. По ту сторону завала, на самом его краю, видимо, были солдаты. Это по ним стреляли пулеметы. Это они изредка отстреливались одиночными выстрелами или короткими очередями. Из-за завала явственно донесся приглушенный стон, потом чей-то хриплый голос.

— Я крикну... — предложил Степанец горбоносому разведчику.

— Отползи в сторону!

Степанец отполз в сторону, лег за поваленное дерево и крикнул:

— Петренко! Сашко!

В ответ хлестнула длинная пулеметная очередь. Срубленные пулями ветки посыпались на Степанца. Когда минуту спустя он смог приподнять голову, то услышал, как по ту сторону завала прозвучал неотчетливый голос:

— Выручай, дружки родимые!

Степанец вернулся на прежнее место и, посовещавшись с двумя разведчиками, стал перебираться через завал. Остальные разбились на две группы. Одна из них должна была отвлечь на себя огонь пулеметов, другая — в любую секунду прийти на помощь тем, кто перебирался через завал.

Первым пополз горбоносый разведчик, за ним Степанец, потом еще кто-то, невидимый в темноте.

В кромешной тьме под пулеметным обстрелом перебираться через завал было очень трудно. Ветки рвали одежду, царапали руки, лицо. Иногда удавалось проползти под стволом дерева, но чаще приходилось, выбирая секунды затишья, лезть поверху.

Степанец чувствовал, что лицо, шея, руки — все в глубоких царапинах, что кровь капает с лица и шеи. Только бы сберечь глаза, не наткнуться на острый сук. Только бы не зашибить голову.

Полоснула пулеметная очередь. Горбоносый разведчик, охнув, тяжело подмял под себя ветки. Степанец подобрался к нему, зашептал на ухо:

— Живой? Ты живой?..

Разведчик молчал.

Степанец обогнул его и стал пробираться дальше. Деревья, ветки, пни с острой щепой, какие-то ямы, бугры...

То рука, то нога оказывались зажатыми между цепкими сучьями. Еще метр, еще... Сил оставалось совсем немного. Над головой жужжат и жужжат пули, — видимо, гитлеровцы услышали возню в завале. Гимнастерка, брюки — все порвано в клочья. Стальной шлем зацепился за что-то, ремешок оборвался. Еще метр, еще... Неожиданно припомнилось Степанцу, как мальчишкой поплыл он со взрослыми парнями через быструю Кубань, как на середине реки выбился из сил, отстал. Парни оглядывались на него, спрашивали: «Доплывешь, Васька?» А он пытался улыбнуться в ответ и плыл из последних сил... Еще метр, еще... Над завалом проносятся очередь за очередью; приподниматься нельзя, надо выискивать дорогу под сваленными стволами. Ефрейтор больно ударился лбом о пень. Уткнулся в колючую сосновую лапу, почувствовал свежий запах смолы... Приподнявшись, всмотрелся вперед. До края завала оставалось совсем немного. Еще метр, еще — и он в прохладной, высокой, некошеной траве. Кто-то рядом назвал его по имени.

— Петренко, ты?

— Я, — слабо отозвался Петренко. — Степанец? Вася? Мы с Демьяновым тут, из второго эскадрона. Его в живот ранили, меня — в ноги. Боялись, забыли нас... Вот как меня... — В голосе его слышалась с трудом сдерживаемая боль и недоумение: он был первым силачом в эскадроне, а сейчас оказался слабым и беспомощным, как ребенок.

Приблизился разведчик, ползший вслед за Степанцом:

— Ну, как-нибудь... Потерпите, братцы!

Петренко ухватился руками за поясной ремень Степанца, разведчик взвалил на себя тихо стонавшего Демьянова.

Поползли.

Ракеты взвивались над завалом, стреляли пулеметы, где-то неподалеку слышались голоса гитлеровцев.

На середине завала их встретили свои, раненых передали с рук на руки.

* * *

С забинтованной шеей, с марлевыми наклейками на лице и руках, Степанец лежал в шалаше, сквозь ветки смотрел на осеннее светло-синее, ясное небо и курил.

Теперь уже не для кого беречь сахар: не подойдет Рыжуха, не будет смешно выпячивать губы, стараясь залезть в карман гимнастерки. Придется привыкать к новому коню, учить его, чтоб стал боевым товарищем.

В шалаш просунул голову писарь. Степанец молча перевел на него взгляд.

— Иди, там Петренку увозят, на машину кладут. Проститься хочет...

— Что врачи говорят?

— Месяца через три вылечат. «Для жизни, — говорят, — опасности нет». Иди, слышишь, ждет он тебя!

Степанец молча отвернулся, стал раскуривать погасшую папиросу.

Писарь не удивился. Он вошел в шалаш.

— За Рыжуху твою он, конечно, виноват. Команда была подана «Лошадей — коноводам», а он, не спешившись, из кустов высунулся, захотелось ему на ихние окопы с высоты посмотреть... А проститься тебе надо: друг ведь твой, земляк!

— К черту! — вымолвил наконец Степанец.

— Кого? Петренку?

— Тебя, — разъяснил Степанец.

Писарь обиделся и ушел, но вскоре вернулся.

— Товарищ ефрейтор, командир эскадрона приказывает проститься с земляком.

Степанец поднялся на ноги и пошел к палаткам медсанэскадрона.

Около дороги стояла автомашина, вокруг толпились солдаты. Степанец взобрался в кузов. Петренко, укрытый одеялом, лежал на сене.

— Ты не серчай... война ведь... Вина моя за Рыжуху, конечно, есть, — проговорил Петренко.

— Я ничего... Ты выздоравливай, Саша! — Степанец пожал руку земляка, повторил: — Ты, главное, выздоравливай!

— А тебе счастливо воевать!

Степанец спрыгнул на землю. Грузовик тронулся.

— Главное дело, товарищ он мне, Петренко-то, да и пострадал вот, — говорил Степанец, стоя среди солдат и украдкой смахивая набежавшую на глаза слезинку. — А то бы взял и послал его к черту, баламута. Какую лошадь загубил!.. Если бы кто другой, никогда б не простил...

Грузовик скрылся за пригорком. Степанец повернулся и пошел к своему шалашу. Как-то по-особенному грустно ему было. Не уходила из памяти Анюта, которая предпочла ему другого. Жалко было боевого коня. Не хотелось расставаться с другом и земляком, с которым он провоевал почти три года. Кто знает, встретятся ли они снова?..

БОТАНИК

Хорошего солдата из него выйти не могло. Черноволосый и черноглазый, с широкими сросшимися на переносице бровями, он был узкоплеч, очень тонок в талии и хрупок. Во время привала, перед тем как сесть на землю или бревно, он непременно подстилал газету. У него всегда были при себе зеркальце, гребешок и маленькая пилка для ногтей.

Турпанов был неженкой: полировал ногти о полу шинели, в кармане гимнастерки носил надушенный вышитый платок и в свободное время писал своей девушке очень длинные письма. Его письма часто не вмещались в конверт, и он рассовывал их в два конверта и посылал письмо с продолжением.

Интересно, о чем он мог писать так длинно? Шел второй месяц войны, время было тревожное, все всерьез задумывались, слушая сводки Совинформбюро, во время перерывов между занятиями бегали к штабу, где на карте флажками отмечалась линия фронта, ожидали, когда наконец полк будет отправлен на передовую, потому что в такое время трудно отсиживаться в тылу. О чем же мог писать Тигран Турпанов своей девушке? Что поднялся по сигналу в семь часов, оделся, умылся, встал в строй на утренний осмотр, пошел на занятия, вернулся в свою палатку, после обеда часик поспал, снова пошел на занятия. Обо всем этом много не напишешь, да все это было мелко и незначительно. Ни о чем же серьезном Турпанов не мог написать, потому что полк был еще далеко от фронта.

До призыва в армию он был студентом университета, изучал ботанику, а в армию пошел, отказавшись от отсрочки, которая ему полагалась как студенту. Мирную профессию он для себя избрал такую же нежную, как и

он сам. На войне придется повидать и кровь и трупы, не спать по нескольку ночей и пить из копытного следа, а он три года изучал в университете пестики и тычинки.

Как-то во время учений командир батальона майор Кравченко приказал ему отвезти в штаб полка донесение. Майор слез с лошади, вручил ему пакет и приказал срочно доставить. Майора Кравченко все любили. Он никогда не сердился и не кричал; если у солдат что-нибудь не получалось, его доброе, немолодое, морщинистое лицо передергивалось, а это означало, что майор Кравченко боится, что неловкому солдату будет очень трудно на войне и солдат этот может погибнуть только из-за того, что не научился окапываться и вести достаточно метко огонь из винтовки. Нужно было видеть, с каким старанием Тигран Турпанов хотел взобраться в седло, но он то никак не мог вставить носок сапога в стремя, то высокая лошадь, которой надоела эта возня, переступала ногами, и он падал на землю. Майор Кравченко наконец засмеялся и сказал:

— Так, так... Наверное, бывший студент?

Турпанов, слегка покраснев, подтвердил, что он бывший студент, и попросил разрешения доставить донесение в пешем строю. Он так и сказал майору:

— Разрешите, я в пешем строю... У меня ноги быстрые...

Майор опять засмеялся, помог Турпанову сесть в седло, подержал лошадь, чтобы солдат мог благополучно спрыгнуть на землю, и сказал: «Видите, как это просто», а донесение поручил доставить Вершинину. Вершинин — он был из оренбургских казаков — птицей взлетел в седло и рысью поехал в штаб полка. Турпанов посмотрел ему вслед, покачал головой, а потом, когда майор отошел, повторил движения Вершинина. Он разбежался, слегка оттолкнулся рукой о воображаемую луку седла и подпрыгнул вверх. Все покатились со смеху, увидев, какое самодовольное выражение приняло при этом лицо Турпанова.

Турпанов был веселый парень, и все его любили, хотя были уверены, что воевать ему будет трудно: уж очень неприспособлен к военной жизни он. Только потому, что его все любили, ему и простили злую шутку, которую он сыграл со своими товарищами.

Произошло это так. Из города в лагерь не доставили

вовремя табак. Говорили, что на Северном Донце самолеты разбили мост и поэтому автомашина не пришла в лагерь.

Все знали, что Турпанов не курит, и его табак делили в отделении, где он служил. Никто не тянул его за язык, и он мог бы промолчать. Но ему зачем-то было нужно во время перерыва сказать, что в зарослях на берегу Северного Донца есть трава, которая, если ее на костре слегка подсушить, полностью заменяет табак.

Солдаты едва дождались обеда, чтобы сразу же, выйдя из столовой, бежать на Донец. Турпанов в решительный момент куда-то исчез, и его искали по всему лагерю, пока не нашли в красном уголке, где он писал письмо. Сначала он заартачился, но у него отняли бумагу, и тогда он подчинился. Все пошли к берегу. Турпанов шел впереди, с видом майн-ридовского следопыта разглядывая прибрежную зелень, а за ним молча шагали двадцать или тридцать человек. Самые нетерпеливые иногда выскакивали вперед, чтобы посмотреть на лицо Турпанова и определить по нему, есть ли надежда. На лице его было глубокомыслие, напряженное внимание, и он бормотал какие-то латинские наименования. Так водил за собой солдат Турпанов до тех пор, пока не истекло свободное время, а потом признался, что запамятовал; заменяющая табак трава, видите ли, братцы, встречается не на берегу Донца, а в Уссурийском крае, да и то очень редко, как и корень женьшень. Потом он попробовал утешить товарищей и сказал, что нашел траву, из которой можно приготовить крепкую настойку, и что секрет этой травы раскрыл еще древнеримский оратор Цицерон, но его не стали слушать.

Когда два месяца спустя поздним вечером полк выгрузился на прифронтовой станции, Турпанов снова рассмешил всех. Полк устроился на дневку в двадцати трех километрах от железной дороги, на взгорье, в редком березняке. Турпанов вдруг появился с обмолоченным ржаным снопом за плечами. Никто не знал, где он взял этот сноп и зачем привязал к скатке. Турпанов объявил, что к фронтовой жизни надо привыкать постепенно и он не намерен без особой необходимости спать на сырой земле, можно простудиться, схватить насморк.

Невдалеке слышался артиллерийский гул, на горизонте то и дело появлялись разноцветные ракеты, иногда

доносились пулеметные трели, да и сентябрьский день был нехолодным и сухим. Над Турпановым долго смеялись. Когда он устроился в чащобе, все подходили к нему и спрашивали, не прихватил ли он с собой тещину пуховую перину и не лучше ли было, если бы он заодно взял с собой на войну молодую жену.

А через несколько дней война подошла и к тому месту, где полк занял оборону. Солдатам уже было не до шуток. С переднего края, от стрелковых рот к перевязочному пункту, проторились тропинки — верный признак того, что раненых было много. Потом полк перебросили на другой участок, и он снова сдерживал натиск гитлеровцев, то продвигаясь вперед, то пятясь назад.

Лица солдат осунулись, приобрели зеленоватый оттенок — след постоянных тревог, тяжелых раздумий, недосыпания, окопной сырости. Зеленоватый оттенок приобрело и лицо Турпанова. Он осунулся больше, чем другие, его крупный, с горбинкой нос стал резко выделяться на похудевшем лице. Турпанов очень изменился, и шутки его звучали невесело, хотя он еще и пробовал шутить.

* * *

Ночь. Дождь моросит. Огненные сполохи, артиллерийский гул, пулеметные очереди...

Асфальт на шоссе мокрый, и все кругом мокрое, и нигде ни огонька.

Война учит тому, что спать можно не только в кровати, но и в болоте, подмяв под себя куст ольшаника, и в окопе, прижавшись к земляной стенке, чтобы ненароком никто не наступил в темноте. Спать можно и на марше. Идти по мокрому асфальту — и спать. Особенно сладко на марше, конечно, не разоспишься, но все-таки можно забыться и немного отдохнуть. Времена очень тяжелые, предстоят серьезные испытания, и надо беречь силы.

— Куда винтовку забросил, ворона? Глаз мне хочешь выколоть?

— И чего ты ко мне привязался? От самой Вязьмы за мной идешь, как приклеенный... Вон какой вымахал... несуразный. Тебе прямой смысл в голове колонны идти...

— Где поставило начальство, там и иду, а ты меня не учи!

— А я тебя и не учу. Это я так, промежду прочим. Нужен ты мне очень.

Поговорили солдаты, выяснили свои точки зрения и замолкли. Все ясно и без слов. Винтовку, конечно, закидывать назад нельзя, наткнется сзади идущий. Правда и то, что устали солдаты свыше всякой меры, в таком состоянии трудно за собой следить.

Посреди шоссе шагал Тигран Турпанов. Рядом с ним Вершинин. Он на две головы выше Турпанова, широк в кости, круглоголов. Вместе с ними шел рядовой Гусаков, он немного ниже Вершинина, но такой же широкоплечий и сильный. У Гусакова завидное здоровье, и на привалах он часто просит: «Я вон до той сосны добегу, а ты пощупай, как сердце бьется... словно секундомер работает». Или: «У тебя перчатки есть?.. На́ мои... Бей меня теперь со всего маха в грудь... Это мне вроде зарядки будет».

В двух шагах позади Турпанова, Вершинина и Гусакова следовал старшина роты Семен Тимофеевич Шалыт, бывший председатель колхоза в Сибири. Он часто оглядывался, нет ли отставших. В темноте почти ничего не видно, но глаза у Шалыта необыкновенно зоркие. То и дело раздается его простуженный, добродушный, немного ворчливый голос:

— Нечипуренко, подтянись!.. Ревунов, тебе говорят или не тебе, а постороннему дяде?

Турпанов бормотал про себя:

— В народе его, кажется, называют «заячьи уши»... Цветет, видимо, под снегом... Интересно, долголетнее ли это растение?

Гусаков с интересом и недоумением вслушивался. «Рехнулся, что ли?» — подумал он. Потом спросил:

— Ты это про кого?

— Да так, вспоминаю.

— А-а! — многозначительно кивнул Гусаков и отстал на два шага.

— Товарищ старшина, вас боец Турпанов о чем-то спросить хочет. — И тихо добавил: — По моим наблюдениям — не в себе человек.

Старшина особенно хорошо относится к Турпанову, покровительствует ему и говорит с ним всегда очень мягко.

— Что тебе, Турпанов?

— Да я ничего, товарищ старшина.

— Он про зайца-русака хотел спросить, — дескать, долго ли живет, — вмешался Вершинин.

— Врет он, товарищ старшина, я ничего.

— Может, ты из сил выбился? На повозке есть еще одно место, — озабоченно проговорил старшина.

— Я не устал... Я, как и все, — обиженно ответил Турпанов.

Голова колонны остановилась. Задние в темноте натолкнулись на передних, возник глухой шум. Привал. Три часа отдыха на заболоченном лугу, около шоссе. Рассветает, и все вокруг кажется серым. Появился командир роты, старший лейтенант Балашов. Он посмотрел, как люди устраиваются на отдых. Его беспокоит солдат — армянин Турпанов. Уж очень хрупкий он, кажется совсем мальчишкой, плохо выглядит.

— Турпанов, держишься?

— Держусь, товарищ старший лейтенант, — хмуро ответил Турпанов. Почему-то все считают его слабее других. Это несправедливо и обидно. Но ничего, он еще покажет, в чем настоящая сила человека. Придет время — и покажет. А пока надо отдыхать.

Старшина Шалыт подозвал его, они постелили на мокрую землю плащ-палатку и шинель, прижавшись друг к другу спинами, накрылись. Спать хочется, но следует проучить Гусакова, он разыграл его там, на шоссе. Гусаков и Вершинин устроились неподалеку.

— Гусаков, как твой невроз?

— Какой невроз? Ты меня с кем-то спутал... Никаких неврозов. Сердце — будь здоров, не кашляй, — сонным голосом отозвался Гусаков.

— А ну, как оно у тебя после марша...

Гусакову не хочется вставать, но он пересиливает себя. Турпанов, наверное, заводит этот разговор ради смеха, но все равно отказаться от обсуждения своей любимой темы он не в состоянии.

Гусаков, кряхтя, поднялся, подошел вплотную к Турпанову и, встав на колени, расстегивает гимнастерку. Пусть все еще раз убедятся, какое у него отличное сердце. С таким сердцем можно прожить лет сто, а можно и больше. Сердце — будь здоров, не завидуй чужому счастью.

— Так и есть. Перебои. Воды зачем много пьешь?

— В меру пью. Четверть котелка в день, не считая котловое довольствие.

— Машеньке сообщи, чтоб нежнее письма писала... Из-за нее, значит, перебои.

Многие в роте знают, что Машенька — супруга Гусакова, продавщица магазина сельпо, на которой Гусаков женился за два месяца до призыва в армию.

Гусаков отошел от Турпанова. Скажет этот ботаник: перебои в сердце. Никаких перебоев, сердце железное. Но сомнения уже не дают ему спокойно спать.

— Вершинин, проснись на минуту... Турпанов, ботаник-то наш, что учудил: сердце у тебя, говорит, перебои стало давать. Я ему говорю: с таким сердцем лет сто можно прожить, а он... Ну-ка, пощупай!

— Будешь спать мешать, я тебе бока по-серьезному намну, — грозно пообещал Вершинин.

Те, кто не спит, улыбаются. Улыбается и старшина. Ребята не теряют бодрости, зубоскалят. Позади столько тяжких дней, а ребята не унывают. Так и надо. Все в порядке.

* * *

И снова оборонительные бои, и танковые прорывы, и разговоры об окружениях, и сухое категорическое разъяснение командира полка: «Я настоятельно рекомендую забыть это слово. Пока есть патроны и силы, каждый обязан драться». А потом — в подмосковной дачной местности — отход на переформировку.

Турпанов в белом полушубке, в валенках лежал в лесу, смотрел, как крупные хлопья снега кружились в воздухе, среди деревьев, и прислушивался к едва уловимому шороху, — это снег падал на ветки, обволакивал их. Тихий ветерок слегка раскачивал вершины могучих столетних сосен. В лесу тихо, спокойно, но Турпанову почему-то не по душе. Слишком тихо и спокойно, даже неудобно валяться в лесу и смотреть, как падает снег, в то время когда война подошла к подмосковным дачам.

После завтрака заметно поредевшую роту построили, и старший лейтенант Сергеев объявил, что желающие обучаться снайперскому делу должны сделать шаг вперед. Турпанов немного подумал — и шагнул вперед.

Это было правильное решение.

Через три недели он научился вполне прилично стрелять через оптический прицел. Разумеется, это ему далось нелегко. Три недели каждодневных упорных теоретических занятий и тренировок. Надо было добиться того, чтобы не дрожали руки, сжимавшие винтовку, чтобы дыхание, когда палец нажимает на спусковой крючок, замирало. Научиться точно определять расстояние до цели, выбирать надежные огневые позиции, умело маскироваться, подчинять одной цели все тело, все до единого мускулы, дыхание.

Три недели он жил одной мыслью: во что бы то ни стало научиться хорошо стрелять через оптический прицел. В полку шутили, что Турпанов так ушел в занятия, что даже девушке своей перестал писать.

Так или иначе, а Турпанов стал снайпером, и вскоре о нем заговорили.

Перед рассветом он уходил за передний край, выбирал позицию и возвращался в роту глубокой ночью на следующий день. Командиру роты Турпанов докладывал очень коротко: «Одного», «Двух». И командир роты никогда не переспрашивал его. Все понимали, о чем идет речь.

За пленного фельдфебеля Турпанова наградили медалью. Это был очень редкий случай — снайпер захватил «языка». Турпанов выбрал тогда позицию в разваленной печи, оставшейся от сгоревшего дома. На этом месте была деревня, но потом война оставила только одну обгоревшую печь, остальное снесла артиллерия. Печь была в полукилометре от нашего переднего края. За ней виднелись вражеские танки. Гитлеровцы врыли их на лесной опушке в землю, и на поверхности торчали только башни с орудийными стволами и пулеметами. Получились доты. Танков было восемь. Вражеская пехота укрывалась за ними в лесу.

Едва успел Турпанов занять в разрушенной печи огневую позицию и вставить на всякий случай в гранату запал, как на снегу показались гитлеровцы. Они шли прямо на печь. Их было четверо. «Танков восемь, а солдат — четверо», — подумал Турпанов. Он почти совсем не волновался. Сосчитал гитлеровцев: «Один... два... три... четыре...», вставил запал еще в одну гранату, поудобнее улегся. Гитлеровцы шли гуськом, один за другим. Турпанов сначала выстрелил в последнего, потом в пред-

последнего. Поле было ровное, снег покрыл все бугры и ямы. Гитлеровцы залегли. Они вдавились в снег и начали отстреливаться. Турпанов был надежно укрыт за кирпичной стенкой. Автоматные очереди только осыпали с кирпичей пыль. Турпанов стрелял не через печь, а через узкую трещину между кирпичами, и обнаружить его было нелегко. Гитлеровцы метались на снегу, переползали с места на место, не решаясь подняться на ноги и бежать к своим танкам... Потом остался один фельдфебель. Он закричал, поднял руки и заспешил, путаясь в полах шинели, к печи. Турпанов пропустил его мимо себя и, низко пригибаясь, побежал за ним. Оставаться на раскрытой огневой позиции было нельзя. Вслед им загремели пулеметы, а потом один из танков развернул башню и дважды ахнул по ним из пушки. Фельдфебель с не вынутым из кобуры пистолетом спрыгнул в наши окопы целым и невредимым. Турпанову осколок пробил полушубок и ранил в плечо. Рана была неопасная, осколок не затронул кость. Когда полчаса спустя он пошел в санбат, фельдфебель, которого по лесной дороге увели чуть пораньше, все оглядывался на него с опаской и недоумением. Через пять дней Турпанов был снова в строю.

О нем написали в армейской и фронтовой газетах хвалебные статьи, наградили медалью «За отвагу», присвоили звание младшего сержанта, а потом и сержанта.

А спустя некоторое время Турпанов снова отличился. Он был тогда вместе с Вершининым и с Гусаковым. Все они сильно обмерзли. Хуже всех чувствовал себя Гусаков. У Турпанова губы были синими, нос, щеки, пальцы на руках и ногах побелели, однако, когда ему дали водки, он смог идти самостоятельно, а Гусакова пришлось нести на носилках. Было начало декабря, и в тот день ударил очень сильный мороз. Накануне почти всю ночь шел снег, и было не особенно холодно, а днем так похолодало, что ветки деревьев покрылись инеем и вода, припасенная солдатами в котелках, промерзла до дна.

Снайперов обычно в разведку не посылают, но Турпанов уговорил командира роты. Все догадывались, что вскоре должно было начаться наступление, и Турпанову заранее надо было присмотреть новые огневые позиции. Командир роты отпустил его и назначил старшим. Группе было приказано выяснить, действительно ли к гитле-

ровцам прибыло пополнение и какое подразделение напротив стыка двух наших соединений занимает оборону. Турпанов, Гусаков и Вершинин должны были ночью пройти до большого села по замерзшему болоту через лес. Вернуться предстояло по другому маршруту — по кустарнику вдоль большака.

Они шли один за другим по рыхлому, еще не слежавшемуся снегу, слегка блестевшему при призрачном свете луны: Турпанов впереди, за ним Вершинин, позади Гусаков. Все трое были с автоматами, винтовку Турпанов оставил в части. Под снегом было много кочек, и Гусаков часто спотыкался, то и дело вполголоса ругаясь. Турпанов, не любивший ругани, не выдержал и раздумчиво произнес:

— Смысла не вижу.

— Ты о чем? — поинтересовался Вершинин.

— Да о словах этих всяких, — разъяснил Турпанов и в ту же минуту, наткнувшись на кочку, произнес несколько слов на армянском языке.

Гусаков и Вершинин засмеялись и стали уверять, что Тигран сам ругается, как царский городовой, только на своем языке.

Вошли в темный лес. На опушке, обернувшись, Турпанов сделал рукой знак, что надо молчать. В лесу было очень тихо, но на этот раз тишина не встревожила и не взволновала Турпанова. В чаще около поваленного наземь и припорошенного снегом толстого дерева из кучи хвороста выскочил какой-то зверь — не то волк, не то лисица — и пробежал рядом с Гусаковым. Гусаков шарахнулся в сторону и вскинул было автомат, но Вершинин, к счастью, успел схватить его за руки. Турпанов обернулся, вполголоса спросил:

— Сердце как?

И все снова начали улыбаться, забыв на некоторое время об опасности, подстерегающей их на каждом шагу, под каждым кустом.

За лесом серело поле, вдали неотчетливо громоздились дома. Над домами в низкое ночное небо уходила колокольня сельской церкви.

Разведчики приблизились к селу и решили по полю обогнуть его.

И тут Гусаков наступил на мину.

Она была скрыта под толстым слоем снега — и это

спасло его. Мина лишь отбросила Гусакова на два или три шага в сторону. Турпанов и Вершинин подбежали к нему, торопливо ощупали, не ранен ли. Взрыв мины всполошил не одних разведчиков — село ожило, забурлило. В небо полетели осветительные ракеты. Послышались командные выкрики.

Турпанов, Вершинин и Гусаков метнулись в сторону леса. Путь им преградили пулеметные очереди. Это была верная гибель — бежать в сторону леса. Гитлеровцы сразу же позаботились отрезать им пути отхода.

Тогда разведчики побежали в противоположную сторону — к церкви. Оказалось, что за церковью были огневые позиции артиллеристов. Их обстреляли. Тогда разведчики взбежали через сорванную с петель низенькую дверь на колокольню. Больше деваться было некуда.

Так начался поединок между тремя солдатами и батальоном противника. В селе располагался именно батальон — это разведчики без особого труда определили, как только рассвело.

Прежде всего завалили дверь: прикладами автоматов и каблуками разбили перекрытия двух лестничных пролетов и обрушили их вниз.

Сначала гитлеровцы предлагали сдаться. Они выбегали из церкви, куда, видимо, забирались через окно, на паперть и орали, что русским будет капут, если они не сойдут вниз. Потом кто-то по-русски стал кричать, что в лагере они будут получать суп и два котелка каши в день. Фашистов угостили свинцом. Гусаков просунул ствол автомата сквозь решетку и выпустил четверть диска. Он стрелял до тех пор, пока Турпанов не дернул его за ногу и не прокричал, что патронов не останется. После этого Турпанов укрылся наверху, за кирпичной кладкой, и стал вести прицельный огонь — он стрелял по гитлеровцам, перебегающим около домов, и по окнам домов, в которых укрылись фашисты.

Гитлеровцы обстреливали колокольню из пулеметов и винтовок. Пули дробно цокали по кирпичным стенам, с визгом рикошетировали от массивных чугунных перил, впивались в толстые балки, на одной из которых сохранился единственный небольшой колокол. Балка дрожала, колокол раскачался и зазвонил тревожно и тоскливо.

Турпанов, Вершинин и Гусаков сошли по лестнице вниз и сели на ступеньку. Все трое устроились на одной.

Турпанов сказал, что надо б рассредоточиться, но уходить от товарищей никому не хотелось. И они сидели рядышком, прижавшись друг к другу. Ни о чем не говорили. А колокол звонил, и подвязанная к языку веревка глухо шлепала о чугунные перила. Старались дышать друг на друга, чтобы хоть немного согреться, — мороз все крепчал, от промерзших каменных стен шел пронизывающий холод.

Гитлеровцы снова кричали, предлагая сдаться, потом снова стреляли по колокольне.

На большаке, пролегавшем вдоль деревни, показались войска. Они двигались в сторону крупного населенного пункта — танки, бронетранспортеры, грузовики. Потом показалась пехота — до двух батальонов.

Это были довольно важные сведения. К сожалению, сообщить их своим возможности не было.

Так прошел день — морозный декабрьский день от рассвета до ночи. Ночью немцы пробовали подорвать дверь и ворваться на колокольню. В камни под дверь они заложили фугас. Они, видимо, думали, что фугас расчистит проход, а вместо этого взрыв оторвал часть стены и еще надежнее запер вход на колокольню.

Потом на большаке снова послышался шум и рокот моторов. Призакрытые фары то и дело выхватывали из снежной мути кабины грузовиков, высокие кузова.

За грузовиками передвигались танки, и голубоватое пламя из выхлопных труб плясало в морозном воздухе.

Стало ясно, что противник на подступах к занятому ими городу собирает свои силы в кулак.

Все, что было съедобного, Турпанов и его товарищи съели еще вечером. К утру и воды не осталось, не было и снега — на верхней площадке колокольни он был перемешан с известью и кирпичной пылью, утолить им жажду было нельзя. Стали соскребать со стен иней и сосать его.

Голодно, холодно и тоскливо на душе. Солдат клонило ко сну, но ни о каком сне и речи не могло быть, потому что немцы то и дело обстреливали церковь и в любую минуту могли ворваться на колокольню. Чтобы не заснуть и не забыться, Турпанов стал рассказывать о себе — о том, что он родился в Азербайджане, в городке Ленкорани, куда летом слетаются стаи розовых фламинго, о том, как мальчишкой он часто убегал в лес, бродил

по зарослям, потом пристрастился к книжкам о зверях, птицах, растениях, как вместе с родителями переехал в Смоленскую область, на реку Угру. Районный городок окружали леса, здесь были совсем другие звери, птицы, растения, и он подолгу бродил среди сосен, берез и осин, собирал грибы, ягоды и думал о том, что земля все-таки очень большая, и все на ней разное, и как интересно все знать. После этого он стал рассказывать своим тихим, слегка гортанным голосом о красавице виктории-регии, о редкостном горном цветке — эдельвейсе, о растении, называемом в народе «заячьи уши», которое, как ему сказали, цветет под снегом. Это был длинный и печальный рассказ о том, что должно было уйти от них вместе с жизнью. О том, что было мило и дорого. Ни о чем другом говорить не хотелось.

Товарищи молча слушали Турпанова, а потом и сами вспомнили, как славно весенним утром в лесу, как приятно босиком пройтись по росистой траве, как поют в садах скворцы, можно ли приучить жить с людьми молодого лосенка, и о многом другом.

А когда рассвело, по колокольне ударила артиллерия. Турпанов, Вершинин и Гусаков притулились на нижней площадке, а кругом начался ад: снаряды пробивали стены, обрушивали вниз кирпичи, осколки свистели и выли, удушливый дым накапливался в колокольне, и на все это набатным звоном отвечал все еще не разбитый колокол. Гитлеровцы выпустили по колокольне тринадцать или четырнадцать снарядов.

Турпанов выбрался из-под балки, под которой укрывался во время обстрела, и протер глаза. Ну и вид же был у Гусакова и Вершинина! Полуоглохшие, с ног до головы засыпанные пылью, с почерневшими лицами и налитыми кровью глазами, в порванной одежде, они были страшны. Да и сам он мало чем от них отличался. Ну да это еще ничего. Главное было в том, что все трое живы. Живы и не знают, когда погибнут — сейчас ли, как только разорвется еще один снаряд, через час или еще проживут целый день — от позднего рассвета до раннего зимнего заката.

Подумали, посовещались и решили больше не стрелять и не показываться на верхней площадке, а спрятаться за грудами кирпичей и ждать с оружием в руках. И такое решение оказалось правильным. Час спустя, ко-

гда немцы, осмелев, влезли через щель на колокольню, выяснилось, что хитрость удалась.

Сначала на куче битого кирпича показалось двое — ефрейтор, с коротко подстриженными усиками и черными бачками, в шинели и плетеной соломенной обутке поверх сапог, и солдат с безбровым толстогубым лицом. Турпанов и Вершинин сквозь отверстие в каменном полу наблюдали, как они с опаской посматривали вверх, как солдат, стоя за спиной ефрейтора и оглядывая местами осыпавшийся потолок, разводил руками (этот жест, как поняли разведчики, означал: «Если тут есть живые люди, то не трогайте нас, а мы не будем трогать вас»). Ефрейтор и солдат дали из автоматов две очереди по камням, потом, видимо успокоившись, отвернувшись друг от друга, помочились на камни и полезли к выходу. После этого на битых кирпичах показались фельдфебель и еще два солдата. Они тоже посмотрели наверх, покачали головами, посовещались и, решив, что среди этих битых камней вряд ли есть живые люди, а поэтому не стоит рисковать сломать себе шею только для того, чтобы посмотреть на трупы, как и первые солдаты, удалились, даже не постреляв из автоматов.

Солдатам теперь уже не грозила смерть от пуль и снарядов. Из всех многочисленных врагов у них осталось только два: холод и голод.

Они лежали на камнях, изредка односложно переговариваясь. Говорить стало трудно — языки от холода распухли и одеревенели. Сначала разведчики старались хоть немного двигаться: часто менялись местами, с усилием поднимаясь на негнущиеся ноги, потом махнули на все рукой и лежали, прислушиваясь к крикам, командным возгласам, реву прогреваемых моторов, лязгу оружия. Все это они слышали сквозь звон колокола. Колокол все время гудел в ушах. Турпанов, подумав, сказал, что этого не может быть, обстрел давно кончился, и колокол, если он еще и сохранился, давно замолк, — это от долгого грохота и голода звенит в ушах. С ним не стали спорить, да и не все ли равно — не в колоколе было дело.

Как ни странно, а первым сдал здоровяк Гусаков. Он неотчетливо забормотал что-то о сестренке, о каких-то резиновых сапогах, которые надо было надеть, прежде чем лазить по болоту. Турпанов и Вершинин держались.

Турпанов даже попробовал заставить Гусакова стать на ноги, только из этого ничего не вышло.

Очнулся Гусаков утром, когда из мглы отчетливо выступили дома, автомашины, стоящие на шоссе, и фигуры вражеских солдат.

— Сегодня шестое декабря — именинник я. Двадцать шесть лет мне исполнилось... Двадцать шесть лет, выходит, я прожил...

Он выговорил все это очень тихо и внятно. Слова эти напомнили солдатам о безысходности их положения. Еще час или два — и они замерзнут. Последнее тепло, которое хранилось в их организмах, уходило в большие каменные плиты, в красно-белую пыль, прикрывающую их.

Вершинин, положив потерявшую чувствительность руку на плечи Гусакова и лихорадочно глядя в глаза Турпанова, вдруг заговорил высоким, прерывающимся голосом:

— Сдаваться не будем, да и все равно растерзают они нас... Кончать надо... Слышь, сержант, кончать надо!.. Из автомата, я говорю, кончать надо! Слышь, сержант, и ты, Гусаков, слышь!

Турпанов с трудом установил на камне локоть и оперся о него. Он молчал две или три минуты, а потом заговорил с гортанным акцентом, грустно и убедительно:

— Зачем?.. Это легко — замерзнуть... совсем легко, будто уснешь... А потом наши придут, расскажут им... кто-нибудь расскажет. Возьмут они нас, как братьев... и предадут земле... Читал я, легко будет — будто заснем...

Его последние слова заглушил гул. Неясный вначале, он ширился, разрастался, становился все отчетливее, звучал все бодрее... «Катюши»! Да, да, ударили «катюши». Это было чудо... Шестое декабря. Первый день генерального наступления под Москвой!

Оказывается, в их телах было еще порядочно тепла. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы подняться на ноги, — при таком шуме там, внизу, все равно никто ничего не слышал. Они еще ничего не знали, однако уже радовались, потому что могли верить.

А когда в деревню ворвались белые, под цвет снега, танки и немцы побежали, солдаты, подталкивая и поддерживая друг друга, подползли к пролому в стене и начали кричать. Потом спохватились: фашисты прятались за домами, убегали на огороды. Турпанов схватил ав-

томат и, не снимая трехпалой варежки, попробовал нажать на спусковой крючок. Нет, указательный палец не гнулся. Тогда он стал выкрикивать что-то, размахивать бесполезным в эту минуту автоматом и скрежетать зубами в бессильной ярости.

Им помогли спуститься вниз, повезли в медсанбат. Здесь их уже ждал офицер из штаба наступающей дивизии. Выяснилось, что собранные ими сведения не совсем устарели, они еще пригодились.

* * *

А через несколько дней их вызвали к командиру полка. Землянка у командира полка была хорошая: довольно просторная, обшитая тесом. От стен и столика с тщательно выструганной столешницей пахло смолой. Еще в землянке пахло краской — от груды новеньких, только что склеенных и теперь сохнущих на нарах карт.

Кроме командира полка присутствовало пять или шесть офицеров.

Турпанов, Вершинин и Гусаков стояли, вытянув по швам перебинтованные руки и глядя в глаза командира полка.

Им расстегнули шинели, прикрепили ордена. Все трое были награждены Красной Звездой.

Потом выступивший вперед командир батальона прочитал приказ о присвоении Гусакову и Вершинину звания младших сержантов.

— А вы, Турпанов, останьтесь!

Турпанов вернулся на прежнее место.

— Вы кем были до войны?

Турпанов ответил.

Командир полка в задумчивости водил по столу курвиметром.

— У нас есть возможность послать вас в офицерскую школу... Вы хотите быть офицером?

Теперь Турпанов медлил с ответом. В глазах командира полка мелькнуло пристальное внимание и, может быть, любопытство. Взглядом и движением бровей он предлагал Турпанову не торопиться, подумать как следует.

— У вас будут две специальности: военное дело и ботаника... Пушки и цветы, так сказать...

Командир полка оглядел всех, кто сидел в землянке, — все с любопытством посмотрели на Турпанова.

Турпанов никогда не раздумывал, хочет ли он быть офицером. На досуге он иногда вспоминал о ботанике — о многих вещах, известных только специалистам. Даже мысль о военном училище не приходила ему в голову.

— Плох солдат, который не хочет быть полковником, — снова прозвучал тот же голос.

Это была старая умная поговорка, и Турпанов едва приметно кивнул головой. Этим он как бы подтвердил свое согласие с поговоркой, но тут же подумал, что ее произносят немного иначе.

И, видимо приняв этот жест за выражение согласия, командир полка подписал какую-то бумагу и сказал многозначительно, глядя на Турпанова так, будто именно он, Турпанов, привел эту поговорку:

— Генералом... В поговорке речь идет о генерале.

ТРУДНОЕ УТРО

Уваров рукавом гимнастерки вытер с лица пот и осторожно раздвинул камыши. Сквозь зеленую шелестящую завесу он увидел именно то, что ожидал увидеть: гитлеровцы, переговариваясь и опасливо озираясь по сторонам, толпились около полевых кухонь. Рослый, круглоголовый, со смешливым лицом солдат, забравшись на передок кухни, деловито накладывал длинным черпаком дымящийся гуляш по котелкам; он сопровождал это занятие прибаутками: подставлявшие котелки улыбались. Рядом на траве сидели солдаты и торопливо ели, стараясь опустошить и снова наполнить котелки до прихода начальства. Уваров увидел, как на краю балки появились два минометных расчета. Минометчики приостановились, удивленно тараща глаза на толпу солдат и кухни, потом, побросав минометные плиты, стволы и лотки с минами, на ходу отстегивая котелки и выхватывая из-за голенищ ложки, заспешили к кухням.

Затаив дыхание и бесшумно отпустив упругие стебли камыша, Уваров повернулся на бок и перебрался на более сухое высокое место.

Положение, в котором он очутился, было трудным. Старший повар Шурыгин, повар Коротков и ездовой Иванников убиты, кухни достались врагу. Хорошо еще, что второй ездовой, Тиунов, успел отпрячь и увести лошадей. И вот он, старший лейтенант интендантской службы Уваров, лежит в полувысохшем, густо заросшем камышом болоте и смотрит, как фашисты хозяйничают около кухонь.

Ранним утром Уварова вызвали в штаб бригады, и бригадный интендант полковник Шастин отчитал его за то, что он вовремя не выслал в штаб один из отчетных документов. Еще в лесу, далеко от расположения своего

батальона, он услышал артиллерийские раскаты, частую пулеметную дробь, понял, что начался бой, и заторопился в часть. На опушке леса ему встретился ездовой Тиунов. Он вел две вместе связанные пароконные упряжки. Забрызганный грязью, с блуждающими глазами, он доложил, что старший сержант Шурыгин приказал ему выпрячь лошадей и постараться доставить их в тыл. Он погнал лошадей на склон балки и удачно выбрался. Кухни вывести не удалось, потому что дорога, проходившая по дну балки к берегу реки, была перерезана фашистами. Оглянувшись в последний раз со склона балки, Тиунов увидел, что Шурыгин, Иванников и Коротков залегли за кухнями и стреляют по гитлеровцам, прорвавшимся в балку с фланга.

Объясняя все это, Тиунов размахивал руками и так коверкал русские слова, что его трудно было понять. По национальности он был осетин, но в обычное время говорил по-русски почти чисто, Плохо объяснялся Тиунов лишь в минуты сильного волнения.

Уваров сорвался с места и побежал через поле. Дорога была каждая секунда.

На середине поля его застиг пулеметный обстрел, и он залег около заросшей репейником межи, обхватив руками низенький межевой столбик. На срезе столбика сохранилась едва приметная надпись: «Валя». Уваров прочитал ее машинально и так же машинально решил, что, наверное, какой-нибудь тракторист в час отдыха вырезал это заветное для него имя.

Уваров пролежал около межевого столбика три или четыре минуты, а когда поднялся на ноги, вблизи с гулом и воем взорвалась мина. Его обдало землей, дымом, теплом, и воздушная волна отбросила на прежнее место. Из дыма вынырнул солдат в выгоревшей и нахлобученной, чтоб не сорвалась при быстром беге, пилотке. Как только мина не задела его? Уварову показалось, что солдат появился в том самом месте, где разорвалась мина. Солдат что-то крикнул и предостерегающе указал рукой в том направлении, куда собирался бежать Уваров. Старший лейтенант проводил глазами юркую и складную фигуру солдата и, напружинив все тело, поднялся на ноги. Он, не выбирая дороги и не отводя хлещущие по лицу ветки, пробежал через рощу, опустился по склону балки и начал перебираться через болото. Стрельбы в балке не

было, и это насторожило Уварова. Сквозь заросли камыша он рассмотрел какое-то движение и, низко наклонившись, стал подбираться к лужайке, где должны были стоять кухни. Кухни действительно были на месте, но... около них суетились фашисты. В отдалении, у зарослей низкорослого ольшаника, лежали Шурыгин, Иванников и Коротков. Они лежали в ряд, касаясь друг друга плечами, — так застигла их смерть.

На возвышенность, совсем близко от места, где притаился Уваров, вышло несколько гитлеровцев со станковым пулеметом. Обратный путь, по крайней мере в дневное время, был отрезан. Надо было ждать темноты. В болото гитлеровцы вряд ли сунутся. Когда стемнеет, он по балке спустится к реке и поплывет вниз по течению — это лучший способ попасть к своим.

Ему придется плыть сто пятьдесят или двести метров, не больше. Гитлеровцы не успеют закрепиться, местность он отлично знает и сумеет добраться до реки. На противоположном берегу, наверное, свои. Впрочем, он не будет рисковать, за день многое может перемениться. Он подберется к противоположному берегу и поплывет вдоль него.

Болото густо заросло камышом, стебли упругие, они распрямились и скрыли его след. Здесь он пока в безопасности, хотя гитлеровцы рядом.

Уваров медленно, чтоб не зашумели камыши, перевернулся на бок, вынул из кобуры и осмотрел пистолет. Итак, его вооружение — две нетронутые обоймы и ручная граната.

Низко по небу плыли тяжелые лохматые тучи, солнце подсвечивало их сверху багровым светом. Стрельба отдалилась, лишь изредка на берегу реки рвались мины да прорывались уже ставшие привычными и незаметными, как тиканье часов, пулеметные очереди.

Все будет в порядке. С наступлением темноты он доберется к своим, придет в штаб, доложит обо всем командиру, но потом... Что он будет делать потом? Без своих поваров и кухонь он полководец без армии. А людей надо кормить. Три раза в день. Утром, днем и вечером. Горячей пищей. На сухом пайке долго не протянешь. Придется составить акт об утрате кухонь, подать заявку, подыскать новых поваров. Заявка пойдет в штаб бригады, оттуда в штаб армии, в штаб фронта. А все эти дни у

него будут требовать, чтобы он кормил людей. Людям, солдатам и офицерам, до всех этих бумаг очень мало дела. Они воюют, и их надо хорошо кормить. Если несколько дней держать батальон на сухом пайке — люди начнут мрачнеть, в блиндажах и окопах не услышишь шуток, начнутся мелочные ссоры, и, выражаясь военным языком, моральный дух личного состава упадет.

У него и без этого нового горя не все ладилось. То опаздывал обед, то пригорала каша, то оказывались неотправленными вовремя в вышестоящий штаб отчетные документы, то застревал в грязи грузовик с продовольствием. И что бы ни случилось, во всем оказывался виноват он, Уваров, начальник интендантской службы отдельного батальона.

Уваров еще раз глянул сквозь камыши. Они слегка колебались от набегавшего ветерка, и старшему лейтенанту сквозь зеленую шелестящую завесу показалось, что колышется поредевшая толпа гитлеровцев около кухни, сидящий у подножия чахлой ивы белобрысый солдат, играющий на губной гармонике. С острым любопытством оглядел его Уваров и почему-то пожалел, решив, что жить белобрысому недолго. Почему он об этом подумал? Наверное, потому, что лицо у солдата было добродушным, приветливым и форма сидела на нем как-то нескладно.

А тучи все плыли и плыли по небу, низкие, лохматые, сверху озаренные солнцем. Часов у Уварова не было. Сколько ему еще лежать в болоте? Часов семь или восемь.

Это время надо чем-то заполнить. Впрочем, последние месяцы он никогда не был наедине со своими мыслями...

* * *

Уваров заканчивал педагогический институт, когда началась война. Его призвали в армию и послали учиться на краткосрочные курсы при интендантской академии.

Жарким июльским днем он уезжал из родного города. Шура провожала его. Они стояли на перроне около столба, поддерживающего навес, и молча смотрели друг на друга. Шура была в сером шерстяном костюме, ей было жарко. Она смотрела на него удивленно, словно не

зная, в самом ли деле больно и трудно расставаться. Паровоз загудел, поезд тронулся. Уваров поцеловал девушку и побежал к вагону. А Шура стояла около столба, маленькая и потерянная.

Потом два с половиной месяца занятий. За это время он, Уваров, усвоил уставы, научился стрелять из пистолета, пулемета и винтовки, ходить строевым шагом, приветствовать, рапортовать, узнал основы тактики и почерпнул много сведений об интендантском снабжении: как в полевых условиях готовить пищу, следить за котлами, вести учет, как выяснить, какие номера шинелей и сапог нужно выписать со склада, чтобы одеть и обуть солдат, как определить достоинства и недостатки подметок для сапог и как оформлять чековые требования и накладные. И вот он уже в воинской части.

Об интендантах часто говорили снисходительно-насмешливо, а еще чаще — с неприязнью. Так же, наверное, говорили о нем, Уварове. Это было обидно. В конце концов он, Уваров, не выбирал себе должность, ему приказали быть интендантом. Потом ему сделалось почти безразличным, что бы ни думали о его должности и о нем, слишком много забот появилось у него. Надо было заботиться о питании солдат, одевать их, подготавливать вместе со строевыми офицерами бои, доставлять в любую погоду — в осеннюю распутицу и при первых заморозках, при весеннем бездорожье и вьюгах — продовольствие и обозновещевое имущество, заготавливать продукты из местных средств. Иногда он думал, что хорошо бы быть строевым офицером, командовать подразделением, казалось ему, проще и почетнее, чем заниматься снабжением. А опасности? Он редко думал об опасностях. Да и интендант при современной технике так же рискует жизнью, как и другие офицеры и солдаты, как и все живое, что оказалось на фронте. Его научили снабжать войска, и он снабжал, потому что кому-нибудь надо было это делать и потому, что это была очень важная, очень серьезная, жизненно необходимая работа.

Старший лейтенант чуть-чуть приподнялся, разминая затекшие ноги. Вода хлюпнула в сапогах, гимнастерка и брюки тоже были мокрыми.

Он припомнил, что в кармане у него лежит жестяная банка с табаком, курительной бумагой и спичками. Сразу же неудержимо захотелось курить, но курить было

нельзя. Два года назад, когда его призвали в армию и он на вокзале прощался с Шурой, она сказала ему: «Неужели даже сейчас ты не можешь не курить?» Он послушался тогда, бросил папиросу, а Шура прильнула к нему. «Как давно все это было, давно и словно бы совсем в иной жизни».

Любит ли она его? Наверное, любит. Конечно, любит, иначе не решилась бы на тот шаг, который сделала. Но чего-то им обоим недоставало. Иногда ему было очень хорошо с ней, а бывали дни, когда хотелось прервать свидание, уйти. Может быть, для того чтобы осознать свою любовь, целиком отдаться ей и ничего нового в жизни не ждать, надо хорошо знать жизнь, найти в ней свое место, точно соразмерить свои силы и возможности. Да, да, тогда ни он, ни Шура совсем не знали жизни. Они были совсем как телята, наивные и резвые. Из-за резвости они делали много глупостей. А бывают совсем другие чувства...

Недавно под вечер к штабу батальона пришли старик и старуха. Они были похожи на картинку из очень старой книги: оба седые и дряхлые, старик — в белой неподпоясанной рубахе, портах, онучах и лаптях, старуха — в длинной белой с голубыми крапинками кофте и тоже в лаптях. Они держались за руки, за плечами у них были котомки. Оба чистые, опрятные, с морщинистыми лицами. Одежда и вид старика и старухи говорили о том, что прибрели они к линии фронта из глухой деревни. Кто-то провел их через минные поля. Кто-то кормил и поил, кто-то растолковывал дорогу, кто-то пускал на ночь под крышу.

Командир батальона, капитан Гончаренко, предупрежденный, по-видимому, по телефону, вышел им навстречу.

— Что вам, дорогие? — спросил он неожиданно взволнованным голосом.

Было жарко, стариков разморило, и они едва держались на ногах. Чьи-то руки подкатили в холодок, в заросли ольшаника, бревно. Их усадили.

— Водицы бы испить... Старуха притомилась, — робко попросил старик, очевидно смущаясь своей слабости и дряхлости. Говорил он глухо, шамкая.

Они выпили котелок студеной воды и после этого заговорили, перебивая друг друга:

— Сынок у нас Васька... Терентьевы — фамилия наша... В пехоте он служит... В сорок первом году, в сентябре, в солдаты его забрали... И весточки нету и нету... В прошлом году, слышь, письмо нам отписал... И с той поры в неизвестности мы... Стар я стал, восьмое, гляди, десятилетие пошло, смерть скорую чую, ну и говорю старухе, она-то у меня помоложе... Разыщем, мол, Васю нашего, в очи его светлые глянем... Один он у нас, запоздалый... В зрелых годах счастье-то, выходит, привалило... Старухе-то я говорю: лапоточки, мол, наденем, чтоб без тяжести на ногах... Гостинца нашего деревенского сынку-то...

— Издалека вы? — спросил Гончаренко.

— Да верст, почитай, сто сорок, а может, и боле... Кто ж его знает... Из деревни Перхушино мы...

Солдаты и командиры толпились вокруг бревна, жарко дышали в затылок друг другу, рассматривали стариков, вздыхали, хмурились. И никто не решился сказать им, что бесполезно, не зная адреса, искать пехотинца Василия Терентьева на фронте, протянувшемся от Баренцева до Черного моря, что не хватит им на поиски остатка жизни и что лучше бы сидеть им на месте, в своей деревне да ждать вестей от сына. Им обещали на всякий случай выяснить в соседних частях, разузнать, завели в землянку, накормили и уложили отдыхать.

Ранним утром Гончаренко сказал, что пехотинца Василия Терентьева не нашли, и предложил старикам подкинуть их с попутной машиной поближе к дому. Но старики отказались.

Все, кто был не на посту и кто мог оторваться от дел, высыпали провожать их.

Взявшись за руки, сгорбленные, трогательные до слез, они тихо побрели по поросшей травой, заброшенной дороге.

Командир батальона приказал не беспокоить гитлеровцев, чтобы не навлечь ответного огня.

От двух этих стариков, которые взволновали Уварова, мысли снова вернулись к его отношениям с Шурой. Как наивны они были оба, как молоды! Их влекло друг к другу, но любить они еще не умели. Чтобы любить, надо забывать себя, жертвовать, жить для другого человека. Нет, это было совсем иное...

Уваров в третий раз раздвинул камыши и окинул взглядом лужайку. Кухни стояли с откинутыми крышками, под ними, закутавшись в накидки, сидели три солдата. Один из них что-то рассказывал, два других с удивленными и будто бы испуганными лицами внимательно его слушали. В стороне, на склоне балки, минометчики рыли огневые позиции. Все по-прежнему.

...А может быть, для того чтобы понять что-то важное, надо связать в одно все то, о чем раздумывал Уваров? И то, что в батальоне часто не ладилось со снабжением и во всем нередко виноват оказывался он, Уваров, и эти путаные, неясные отношения с Шурой, и многое другое. Человек, один и тот же человек может быть и хорошим и плохим. Условия — вот от чего очень часто все зависит. Наверное, и Шура его не то любит, не то не любит, потому что он сам никогда не выказывал ей большой, настоящей любви. Наверное, у тех стариков Терентьевых был хороший, ласковый сын, и поэтому не могли они умереть, не глянув последний раз в его глаза. Если бы он был не таким, они бы, наверное, все равно бы любили и ждали его. Но не так. И не пошли бы разыскивать его. Наверное, и он, Уваров, был бы намного лучшим командиром, если бы он не только давал подчиненным правильные грамотные приказания, но сам почаще бы показывал себя, подавал бы каждодневно, как это говорят военные люди, личные примеры.

И, решив эту несложную задачу, Уваров поудобнее улегся и, положив голову на согнутой в локте руке, стал смотреть в небо. Он больше ни о чем не думал — смотрел, слегка сощурившись, на облака, вдыхал болотистый воздух, прислушивался, как едва слышно шепчут слова старой вечной песни камыши.

В сгустившейся темноте Уваров стал выбираться из болота. Ногой он прижимал камыши, ступал, потом очень медленно переносил ногу вперед. Выбрался из болота, прошел мимо кухонь. Он уже был совсем близко от берега реки, когда его окликнули из темноты. Он остановился, замер на месте, сжимая в руке пистолет и ожидая повторного окрика, чтобы выстрелить по голосу и вслед за тем прыгать в воду, но во второй раз его не окликнули, видимо решили, что ошиблись. А через несколько секунд в стороне послышались отдаляющиеся тяжелые шаги.

Берег был глинистый, вязкий. В воде он снял сапоги, бесшумно вылил из них воду, связал за ушки сорванной по пути гибкой веткой, закинул через шею на плечи и поплыл. Вода после долгого лежания в болоте показалась ему совсем не холодной, однако плыть в брюках, гимнастерке, с пистолетом и гранатой было трудно. Он подобрался было к противоположному берегу, но около воды, в зарослях кустарника, послышались чьи-то голоса. Тогда он вернулся на середину реки, она была здесь неширокой, и плыл до тех пор, пока из-за туч не выглянула луна, плыл спокойно, бесшумно, с бодрым чувством все отдаляющейся опасности. Вода засеребрилась, его могли заметить. Он приблизился к берегу, в густую тень, которую кидали на воду прибрежные заросли, и вышел на землю около старого, расщепленного снарядом вяза в нескольких десятках шагов от штаба батальона. Мокрый, усталый, без пилотки, со слипшимися волосами, прерывисто дыша, он подошел к землянке командира батальона. Часовой не узнал его.

— Пропуск? — резко крикнул солдат и угрожающе поднял автомат.

Уваров назвал себя. Часовой приблизился к нему, коснулся груди стволом автомата, стал рассматривать.

— Проходите, проходите! — суетливо и озабоченно проговорил он, наконец узнав.

Уваров по земляным ступенькам спустился в землянку.

Командир батальона капитан Гончаренко и командир пулеметной роты старший лейтенант Белоус сидели рядом на земляных нарах и рассматривали карту. В углу на чурбаке около телефонных аппаратов примостился с подвязанной к уху трубкой младший сержант-связист. Все подняли головы, и на обращенных к нему лицах Уваров увидел недоумение. Ему показалось, что его не узнают. Но уже через минуту Гончаренко, высокий, узкоплечий, с худощавым энергичным лицом офицер, поднявшись с места, помог Уварову извлечь из кармана гимнастерки завернутые в целлофан и, несмотря на это, все же основательно промокшие документы, а Белоус — тоже высокий, с полным, красным лицом — кричал в телефонную трубку, чтобы принесли сухую одежду переодеть интенданта. Он, разумеется, был обрадован благополучным возвращением Уварова, и все же то, что

в трудном положении оказался не пехотный командир, не солдат, не связист и не артиллерист, почему-то смешило его, и эта смешливость отчетливо сквозила в тоне, которым он повторял: «Интенданта переодеть надо... промок интендант, по реке вплавь добирался».

Уваров и Белоус были давними друзьями, но его смешливость раздражала сейчас старшего лейтенанта интендантской службы. У Шурыгина осталось двое детей, у Короткова — дочка, он еще недавно показывал ее карточку.

Иванникову месяца два назад исполнилось девятнадцать лет, в Сасово, около Рязани, у него отец и мать. «Не стоит сейчас шутить и веселиться», — с тоской подумал Уваров.

Потом он переоделся, выпил полстакана водки и большую жестяную кружку чаю, рассказывая о потерях, которые понес хозяйственный взвод, о том, что кухни остались у врага, о минометах и станковом пулемете, которые устанавливались на склонах балки, и о том, что противник за ночь не успеет закрепиться.

— Видимо, ошиблись мы с твоими кухнями, нельзя было в стыке их располагать, понадеялись на глупость противника, — раздумчиво заговорил Гончаренко. — Впрочем, как там ни говори, а главное не в этом... Атаки мы отбили — вот в чем главное, и не просто отбили, а на сто двадцать метров вперед продвинулись, к каменному сараю вплотную подошли... А с кухнями — это ты налаживай. Поскорее налаживай...

— Как наладить, товарищ капитан? — подняв голову, с надеждой спросил Уваров.

— Ну, уж это ты сам должен знать, старший лейтенант. Людей кормить надо.

Уваров поморщился. Сколько раз он слышал эту фразу и сколько раз сам повторял ее: «Людей кормить надо». Да, надо. Только надо помогать ему. Идет война. Все продовольствие на строгом учете. И командиры отмахиваются от вопросов снабжения, считая, что это не их дело. Они вспоминают о снабжении только тогда, когда что-нибудь не ладится. Пока прибудут новые кухни, неизбежно пройдет время. А ведь людей надо кормить — сегодня, завтра, послезавтра. И завтра же солдаты будут вопросительно смотреть на него, начальника интендантской службы отдельного батальона, а офицеры при встре-

чах укорять и спрашивать, когда он наконец наладит нормальное питание.

— Дайте мне солдат, товарищ капитан, разведчиков дайте. Мы по берегу подведем лошадей, укроем их в кустах и отобьем кухни... Еще до рассвета есть время...

— Рисковать людьми из-за твоих кухонь? — сухо, вопросом ответил Гончаренко.

Уваров присел рядом со связистом на чурбак и задумался.

Связист встрепенулся.

— Вас, товарищ капитан... Двадцать первый.

Двадцать первый — это командир бригады. Гончаренко подошел к аппарату. Уваров не вслушивался в разговор, пока не догадался, что речь идет о балке, в которую прорвался противник. Неожиданно капитан Гончаренко передал трубку Уварову:

— Доложи обстановку... как там в балке...

Уваров нажал на клапан трубки и подробно рассказал все, что ему известно. Командир бригады задал ему несколько вопросов и велел снова передать трубку капитану Гончаренко.

Старший лейтенант закурил, вышел из землянки и сел на мокрую после недавнего дождика землю. Темнота сгустилась, луна скрылась за тучами. Тихо. От реки веяло прохладой. В стороне, над передним краем, одна за другой вспыхивали осветительные ракеты. Колеблющимся, безжизненным светом они освещали обожженные, с поломанными ветками, без единого зеленого листочка деревья.

Уваров начал слагать в уме докладную записку об утрате кухонь. Надо изложить дело так, чтобы батальон немедленно же выручили.

Из землянки вышел капитан Гончаренко, он остановился рядом и сказал:

— Приказано помочь соседу... Навалился на него фашист... Через полчаса чтоб две упряжки были готовы... Будем отбивать балку...

* * *

Все произошло очень быстро. Уваров с отделением разведчиков подбежал к кухням. Гитлеровцы не успели отвезти их в тыл. Группу Уварова прикрывали своим огнем станковые пулеметы. Кухни на руках подкатили

к склону балки. Понатужились. Вкатили наверх, на поросшую травой дорогу. Прицепили упряжку. А когда кухни были уже далеко от балки, стрельба еще только разгоралась. И долго еще, час или два, рвали тишину пулеметные очереди и разрывы мин вблизи от балки и болота, в котором несколько часов назад лежал Уваров.

Это было трудное, рискованное дело.

Сначала Уваров вместе с разведчиками лежал за кустами, невдалеке от балки, ожидая сигнала — зеленую ракету. Когда ракета поднялась в воздух, он успел рассмотреть заросшую травой дорогу и порванные колесами, измочаленные корни, выступающие в обочинах, старую, неизвестно какими путями сюда попавшую очень большую калошу, валяющуюся в куче тряпья на взгорке, и безлистные верхушки деревьев, поднимающиеся из балки. И дорогу, и торчащие в обочинах корни, и старую калошу — все это ракета окрасила в темно-зеленый цвет.

Группа Уварова побежала вниз по склону балки. Их перегнала другая группа, кинувшаяся на огневую позицию минометчиков. Старшему лейтенанту казалось, что он очень хорошо запомнил местность, и все же на дне балки он заметался, не видя кухонь. Потом сообразил, где они должны находиться, и разглядел их. Кто-то поднялся ему навстречу, кто именно — Уваров не увидел. По позе выступившей из темноты фигуры он определил врага и выстрелил несколько раз из пистолета. В ответ полоснула автоматная очередь. Трассирующие пули пролетели рядом с его лицом. Опередивший Уварова разведчик взмахнул над головой автоматом. Темная фигура куда-то провалилась... Через минуту Уваров был у кухонь и, обернувшись, кричал: «Помогай! Давай! Давай!» Потом, когда выбрались из балки, он вместе с разведчиками впрягал лошадей, хлестал их вожжами и бежал, спотыкаясь о кочки, проваливаясь в неприметные днем ямы.

* * *

После рассвета похолодало и над рекой поднялся плотный туман. Сквозь него, как сквозь закопченное стекло, можно было, не жмурясь, смотреть на восходящее над горизонтом солнце.

Уваров, доставив кухни в хозяйственный взвод, не остывший еще после удачной операции, возбужденный,

возвращался в штаб. На переднем крае шел бой: стучали пулеметы, то густела, то отдалялась минометная трескотня, снаряды то и дело рвались в поле, в развалинах деревни, на берегу неширокой полноводной речки. Внезапный огневой налет повалил Уварова в какую-то канаву.

Поднявшись с земли, он увидел, что в том месте, где в отступивший от воды крутой берег были врыты штабные землянки, расходится клочковатый дым. Сквозь дым виднелось пламя. Уваров заторопился.

Несколько солдат из комендантского отделения суетливо растаскивали бревна. Прямое попадание! Уваров почувствовал, будто чем-то острым заскребло грудь. Сколько же испытаний может выпасть на долю человека за какие-нибудь сутки! От его радостного, праздничного настроения не осталось и следа. Уваров кинулся на помощь солдатам. Когда он подбегал, из обломков вытаскивали командира батальона Гончаренко. Его заместителя Ванина вынес на руках сам Уваров. Ванин уже не дышал. Гончаренко тяжело хрипел. Один из солдат быстро перевязал ему голову и грудь.

Краснощекий сержант-связист поставил на опаленное бревно два телефонных аппарата и, весь потный, с вымазанным углем лицом, рукой придерживая трясущуюся нижнюю челюсть, дул в трубку и озлобленно кричал, вызывая подразделения. Потом он замолчал и стал напряженно вслушиваться.

— Товарищ лейтенант, с НП... Немец к воде подошел, бревна подтаскивают... Говорят: не иначе — переправу готовит, — срывающимся голосом доложил он.

Уваров растерянно смотрел то на лежащих неподалеку друг от друга Гончаренко и Ванина, то на телефонную трубку, то на берег реки, где гитлеровцы готовились к переправе. Если не сорвать переправу, противник может отрезать наступающие подразделения. Это было бы самым страшным из всего, что выпало батальону за эти трудные сутки. Допустить переправу — значит погибнуть всем.

Кроме него, Уварова, офицеров в штабе не было, все находились в наступающих подразделениях. Надо принимать решение и отражать удар с фланга, надо взвалить на свои плечи ответственность за жизнь сотен людей.

Прежде всего успокоиться! Во что бы то ни стало успокоиться. Не думать ни о чем, кроме главного!

— С кем есть связь? — вынимая из кармана коробку с табаком и унимая дрожь в пальцах, спросил Уваров краснощекого сержанта.

— С автоматчиками есть... С Белоусом тоже есть.

Решение нашлось.

— Чернец, бегом за санитарной двуколкой... Белоус, — закричал он в трубку, — станковый пулемет перебросить туда, где мазанка... Да, да, хотят переправиться, торопись... Смирнов, Смирнов, слышишь меня? Взвод автоматчиков — на берег, севернее мазанки. Что делать? В землю пусть зарываются, готовятся встречать гостей... Каких гостей? Фашистов — вот каких... Я говорю, Уваров. Да, да, немедленно выполняй, — весь преображенный взятой на себя ответственностью, в тревожном боевом азарте кричал Уваров.

Сержант-связист робко тронул его за плечо. Он смотрел не на него, а в сторону.

— Что?

— Капитан...

Уваров перевел взгляд. Весь перевязанный бинтами, Гончаренко неподвижно лежал на разостланной шинели. Лицо его было не по-живому призрачно-белым. Приоткрытыми глазами он смотрел на Уварова.

Лейтенант сорвался с места, подбежал, стал рядом на колени, наклонился.

— Так, так, — прохрипел Гончаренко. И, словно бы успокоившийся за судьбу батальона, снова закрыл глаза.

Обеззвученно и монотонно долбили землю снаряды и мины. Пахло порохом, гарью и полевыми травами. Утро разгорелось. Трудное боевое утро.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

Красивые, строгие мелодии сменяли одна другую. Потом скрипач ушел со сцены, вместо него появилась певица в длинном черном платье.

Казалось, все в поселковом клубе было таким же, как месяц, два месяца и год назад. Только люди — рабочие с золотого прииска, колхозники, школьники — озабоченно перешептывались, да в кармане у него, Константина Волкова, как и у многих других парней, лежало извещение, где предлагалось завтра в семь часов утра явиться в военкомат.

Временами Костя переставал слушать музыку и, забывшись, смотрел на Танины волосы, на ее шею и маленькие уши. Совсем недавно стала Таня носить бирюзовые серьги, их подарила ей бабушка. Серьги очень шли Тане. Девушка чувствовала на себе его взгляд, закусывала нижнюю губу и ласково ударяла Костю по руке. А потом ее лицо становилось грустным, брови сходились, темные ресницы опускались, и Костя догадывался: Таня думает о том же, о чем думали, не могли не думать все в зале: о войне, которая началась две недели назад. Думала она и о том, что он, Костя, призван в армию.

Концерт окончился, и Костя вместе с Таней вышли на улицу поселка. Они шли вдоль темных домов, и каблучки Таниных туфель стучали по утрамбованной, каменистой земле.

Около дома, где жила Таня, остановились.

Костя тихо сказал:

— Стало быть, жди, Таня... А если кто полюбится, так прямо и напиши, чтоб, значит, знал... Ну, а в случае весть придет, тогда...

— Молчи! — оборвала его Таня.

Рукой Таня оперлась о косяк двери, отвернулась. Лица ее не было видно, и Костя пожалел, что сейчас не

день, не сможет он в последний раз глянуть в голубые, чистые Танины глаза.

В темноте громоздились дома, деревья в садах чуть слышно шумели листвой, вдали, за речкой, на горе, женский голос пел старую сибирскую песню.

На Тане было белое шелковое платье, вся она казалась легкой, и незнакомым — прерывистым, низким — сделался голос девушки.

— Не могу я так уйти... Понимаешь?.. Не могу, чтоб ты чужим остался... Буду тебе женой...

— А мать? — одними губами спросил Волков.

— А, пускай!.. Не могу я так тебя отпустить...

Утром он простился с Таней...

...Волков думал о Тане и не чувствовал ни острой боли, ни толчков, ни того, что его несет на руках друг и однополчанин Кунькин. Не видел он и порожней повозки, что ехала позади. От воспоминаний его оторвал чей-то слегка дребезжащий, тонкий, простуженный голос, повторявший одни и те же слова:

— Вить тяжело... Положим, а? Я вот травки постелил, полегоньку и довезем, а? Вить тяжело.

С усилием открыл Волков глаза, слегка приподнял голову.

Кунькин, рослый, широкий в плечах солдат, с квадратным, безбровым, озабоченным лицом, нес его на руках, словно ребенка. За Кунькиным шагал, держа в поводе мосластую сивую лошадь, тщедушный, с морщинистым лицом и тонкой жилистой шеей повозочный.

Не обращая на повозочного внимания, вовсе не замечая его, Кунькин упрямо шел по тропинке вдоль размытой фронтовой дороги. На опушке заболоченного чернолесья он остановился, измеряя расстояние, окинул взглядом расстилающийся перед ним темно-зеленый однообразный простор (до виднеющейся за полем деревни, где разместился санбат, было километра полтора) и, прислонившись к дереву, локтем приподняв голову Волкова, вглядевшись в подернутые мутью глаза, в бледное, с зеленоватым оттенком, забрызганное грязью лицо товарища, задумчиво, с грустью произнес:

— Вот ты какой стал... и молчишь... А утром еще все байки рассказывал... Ну, а если помрешь?

Обернувшись и словно только теперь заметив повозочного, он добавил озлобленно:

— Молчи ты, чертов гвоздь!.. Ить ты, пустяковая твоя душа, соображать должен... как я пораненного в повозку твою брошу? Ведь надо его в санбат доставить... Он в живот раненный, Волк-то... Ить его твоя, сукина дочь, кобыла по такой дороге враз смерти предать может.

Волков попытался вступить в разговор, сказать, чтоб не надрывались ребята, чтоб положили его в повозку, но против воли из груди его вырвался лишь стон. Стон этот встревожил и Куныкина, и повозочного, и самого Волкова. Куныкин и повозочный подумали о том, что, быть может, им не удастся доставить раненого в санбат живым. Волков же, не чувствующий еще острой боли и ощущающий лишь разлитую по телу слабость, впервые понял, что, видимо, он ранен всерьез. Ему не хотелось ничего говорить, он закрыл глаза и снова стал думать о родном сибирском поселке, о Тане.

...До последнего вечера она была суровой с ним и неприступной. А как попадало ему от нее за озорство и балагурство! Сколько раз грозила разорвать дружбу, не выходила на гулянья, когда он ждал ее! Припомнился Волкову воскресный июльский день. Он тогда получил за хорошую работу на прииске денежную премию. Весь день вместе с поселковыми парнями ловил рыбу. Потом развели на берегу реки костер, поставили варить уху. Уха получилась хорошая, наваристая, с луком, перцем и лавровым листом — двойная уха: сначала сварили ершей и всякую рыбную мелочь, потом в бульон положили крупную рыбу. Собрали деньги, решили при такой закуске «сбегать» в поселок к дяде Михею (так звали продавца в поселковом магазине). «Сбегали» раза два или три. Он, Костя, совсем не был пьяным, когда вечером пришел к бревнам, около приискового клуба. Просто он был веселее, чем обычно, и смелее. На бревнах сидел гармонист, рядом прохаживались парни и девчата. Затеяли танцы. После танцев он провожал Таню домой. Завернули к реке. На новом дощатом, пахнущем смолой мосту остановились, стали смотреть, как лунные отблески играли на быстрой воде. Костя обнял девушку, стал целовать.

— Ведь любишь!

И тогда маленькая, шершавая, сильная рука дважды ударила парня по щеке.

— Не люблю, слышишь?.. Противный ты, гадкий... Уходи и не приходи больше!

Он стоял на мосту и смотрел, как девушка в светлом платье исчезла за крутым берегом. Они не встречались больше и не говорили до самого того дня, как началась война.

— Тут дорога вроде подходящая, — услышал Волков голос Кунькина.

Его положили в повозку на траву, накрыли по самый подбородок шинелью и плащ-палаткой. Трава была мягкая, слегка влажная, она приятно холодила усталое, обессиленное тело.

— По лугу, по мягкости, в лучшем виде доставим, — обрадованно и озабоченно проговорил повозочный.

Волков открыл глаза и стал смотреть в далекое светлое небо. Над повозкой, деловито тарахтя, промелькнул маленький самолет. Из-за леса доносились приглушенные артиллерийские раскаты.

Потом Волков услышал шорох шагов. Навстречу повозке шли солдаты в новеньком обмундировании и скрипящих кирзовых сапогах. Они расступились, и Волков увидел, что все внимательно и тревожно посмотрели на него.

— Кто таков? Куда ранен? — спросил кто-то из солдат.

— В живот, — строго объяснил Кунькин. — Геройский вояка — вот кто таков, дзот на кургане гранатами закидал...

Волкову приятна была похвала товарища, и ему захотелось собраться с силами и сказать что-нибудь шутливое. Но совсем неожиданно на него нахлынула боль, и ему показалось, что он катится под гору, в теплую влажную темноту.

* * *

Событие, о котором упомянул Кунькин, произошло всего полчаса назад.

Полоса выжженной земли, неглубокая балка, по дну которой протекал ручеек, и песчаный склон кургана отделяли наш передний край от вражеского дзота. Он, этот дзот, был сооружен из толстых, полуметровых бревен, сверху на него накиданы большие камни, между которыми проросла трава. Дзот торчал перед траншеями полка и, как заноза в пятке, мешал продвижению вперед. Именно

на него со страхом и злобой смотрели, высовываясь из окопов, солдаты.

Авиация и тяжелая артиллерия не смогли смешать его с песком: слишком близок он был к нашим окопам. Три раза, выбирая безлунные, ненастные ночи, ползли к нему с гранатами в руках солдаты и три раза откатывались назад, а наутро страшные ржавые пятна рдели на белом песке. Решено было днем, когда солнце загоняло гитлеровцев в холодок и раскаленный песок слепил глаза пулеметчикам, неожиданным для врага броском выбить его из укрепления. Вместе с тремя солдатами — Петровым, Дубоносом и Тиуновым — Волков добровольно вызвался участвовать в этом деле.

Задание было трудное, очень трудное. Волков плохо спал ночь, снова и снова обдумывал то, что предстояло ему выполнить. Он столько раз наблюдал за дзотом и вражескими пулеметчиками, так изучил подступы к нему, что мог точно рассчитать каждый свой шаг, каждое движение. Выбравшись из траншеи, укрываясь за буграми и обломками, он поползет по выжженной земле, усыпанной стреляными гильзами и осколками снарядов. Он поползет без особой спешки: из дзота его все равно не заметят. На берегу ручья он немного передохнет, а может быть, даже зачерпнет пригоршней воды, напьется. Наверное, вода в ручье хорошая, прохладная и вкусная, не то что в копанках — их много понарыли солдаты, там вода пахнет прелью и болотом. Потом он поднимется на ноги и, пригнувшись, побежит по болотцу, взберется на взгорок. Он так быстро преодолеет пятнадцать или двадцать шагов, отделяющих взгорок от дзота, что гитлеровцы не успеют подскочить к пулемету и взяться за его рукоятки. Казалось ему, что он уже слышит хруст гильз и осколков. Вслед за этим он слегка уклонится вправо, к валяющейся на склоне кургана металлической бочке из-под бензина. Рядом с бочкой есть ямка, видимо заброшенный окоп, в нем в случае необходимости можно будет на несколько минут укрыться, если гитлеровцы все-таки успеют открыть огонь. После этого он отбежит в сторону и упадет невдалеке от дзота, в недосягаемом для пулемета месте, и будет кидать в дверь гранаты. В такую жару дверь будет непременно раскрыта настежь. Вплотную за ним побежит Петров, Дубонос и Тиунов забегут с противоположной стороны, слева.

Волков плохо спал: ведь не каждый день при свете, на виду у всех, приходится штурмовать дзоты! Еще он плохо спал потому, что гитлеровцы до самого рассвета все стреляли и стреляли из минометов. Две или три мины взорвались на перекрытии блиндажа, всех обсыпало землей, и дышать стало трудно из-за дыма, который заполз в блиндаж. Как же тут спокойно спать, если над головой с треском и звоном взрываются мины, людей осыпает землей и вонючий дым заползает в блиндаж! Наконец, плохо спал Волков и потому, что не то чтобы страшно, а как-то трудно было думать о своей участи. Хорошо еще, что о Тане в эту ночь Волков не думал. Он отгонял от себя эти мысли. И в самом деле: лучше не думать о любимой, если через несколько часов предстоит штурмовать дзот.

На дне траншеи, прижавшись к песчаным стенкам, на корточках сидели солдаты, и, когда Волков вышел из блиндажа, все постарались заглянуть ему в лицо. А Куцыкин слегка улыбнулся и тихо, сочувственно спросил:

— Чего притих-то?

Слова эти задели Волкова. Совсем он не притих, просто хочется пить: в блиндаж ночью нашло столько дыма, что в горле пересохло. А кроме того, здорово хочется есть. Что же он, Волков, в горелки будет в траншее играть?

После завтрака Волкова, Петрова, Дубоноса и Тиунова вызвал командир батальона. Они провели в блиндаже командира час или два, обсуждая подробности задания, договариваясь с артиллеристами, пулеметчиками и минометчиками.

И на командном пункте и в траншее, куда снова пришел Волков, он ловил на себе встревоженные, озабоченные взгляды. Они и волновали его, и слегка раздражали. Ведь дзот был так близко, поднявшееся уже на середину неба солнце так радостно горело, а на переднем крае было так непривычно спокойно и прилетевшая к траншеям неведомо откуда стая воробьев так беззаботно чирикала, а главное — все было так хорошо продумано и взвешено, что Волков не верил ни во что худое, все должно было обойтись удачно.

Однако сейчас из-за этих взглядов товарищей и из-за того, что время приближалось к полудню, он почувствовал тревогу. Она пришла неожиданно и медленно вползала в сердце.

Совсем против воли Волков припомнил ту тихую ночь, крыльцо, взволнованный Танин голос, в котором слышались и тоска, и радость, и душевная боль, и раскрывшаяся любовь. Он явственно представил ее чистые голубые глаза, всю ее фигуру.

Нет, никак невозможно было обмануть эти глаза! Волков приободрился, повел плечами, и ему захотелось рассказать товарищам что-нибудь веселое, беззаботное, далекое от войны.

Раньше Волков не знал, что сможет заинтересовать своей болтовней взрослых, серьезных людей. Но недавно он понял, что слушают его внимательно, с улыбками и что шутки его быстро расходятся во взводе, а иногда и в роте. И в последние дни он часто рассказывал всякие случаи и события.

До начала штурма дзота оставалось совсем немного. Волков решил пройтись по траншее из конца в конец. Ему повстречался какой-то незнакомый солдат. Он ногой катил по середине траншеи пустой бочонок. Волков посторонился, и все-таки бочонок задел его. О котелок, приторочениый к ремню солдата, он порвал рукав гимнастерки.

Мгновенно в Волкове вспыхнула злоба против солдата с бочонком: ведет себя так, будто он не на переднем крае, а на усадьбе МТС или во дворе магазина сельпо. Да еще и не умеет аккуратно приторачивать котелок. Странный какой-то парень!

Усилием воли Волков заставил себя успокоиться. Нельзя злиться из-за пустяков. Он вернулся к солдатам, присел на корточки у перекрестка двух траншей, деловито отвернул край пилотки, вынул иголку и вдруг почувствовал, что хорошее настроение возвращается к нему.

— Я так полагаю: сделаем! Главное — момент схватить, не потеряться, удача в деле приходит, всего не рассчитаешь, — обращаясь к присевшим рядом солдатам, начал Волков. Он поплевал на нитку, повертел ее кончик в пальцах, старательно прицелился, прищурив левый глаз, и вдел в игольное ушко; полминуты подумал: — Хотите знать: момент умело схватить — жизнь можно повернуть. Парень с нашего прииска, знакомец мой, Василий Двуреченский, два года своего момента ждал, а схватил по самой пустячной причине — по причине зубной боли...

Полюбил Василий парикмахершу Ирочку, по вся-

ким там перманентам работала, ладная была девушка, пышная, с осанкой. Посватался Василий, да вышел ему отказ. «Никакого такого интереса у меня к вам нет, — говорит Ирочка, — а нравятся мне одни только военные и гражданские летчики». Василий намекает: «Самая, можно сказать, перелетная профессия; наша золотоискательская специальность не в пример лучше». И тянулась у них эта канитель без малого два года. Совсем уже вроде соглашается девушка, потом опять за старое. Но вот как-то в воскресный день, когда зубной врач у нас в больнице не принимал, заболел у Ирочки под пломбой зуб, и не так чтобы немножко заболел, а мочи-терпения нет...

Волков перекусил нитку, обхватил руками голову и качнулся из стороны в сторону, изображая человека, страдающего нестерпимой зубной болью. Мальчишеское, немного веснушчатое, округлое лицо его так смешно передернулось, что солдаты невольно засмеялись, а Кузыкин, сидевший напротив Волкова, хлопнул себя по коленке, проговорив восхищенно: «От дает!» И оглядел всех.

— Узнал об этом Василий — и к дежурной фельдшерице: «Спасите человека!» Дала ему фельдшерица капель. Вбегает Василий к Ирочке, в сенях от поспешности чуть старушку матушку с ног не сбил. «Ну, как?» Ирочка только-только не кричит: «Никаких моих сил нет, в глазах темнеет, голова раскалывается». Василий говорит: «Вот и хорошо, что не перестали ваши зубки, сейчас мы...» За такие неосторожные слова Ирочка чуть его по щеке не смазала...

Волков показал на себе, какое именно движение сделала Ирочка, какое после этого несправедливо обиженное выражение приняло лицо парня. И улыбка снова обошла лица солдат. Опять приблизился лейтенант Кусуров. Он сделал знак, чтобы солдаты не вставали, и остановился поодаль, вынув из кармана большие с металлической крышкой часы...

— Василий решил ни на что внимания не обращать, а лезет в Ирочкин рот. Ну, Ирочка прогнала его руки с мылом мыть, потом позволила десны и больной зуб смазать...

Лейтенант щелкнул крышкой часов. Солдаты уже не улыбались; они смотрели то на лейтенанта, то с выжидательным выражением на лице оглядывались по сторонам, прислушивались, избегая встречаться взглядами.

Только на лице Куныкина все еще была улыбка, но и она стала какой-то неживой, насильственной. Волков заторопился.

— И в скором времени перестал у Ирочки зуб болеть. Тут и схватил Василий момент: «Выходите за меня, со мной жизнь проведете легко и просто». Подумала Ирочка, пальцем через щеку зуб потрогала, не болит ли, вздохнула — и согласилась, — закончил Волков и поднялся, надевая гимнастерку.

За ним один за другим встали солдаты, поспешно расступаясь к стенкам траншеи.

— Удачи вам...

— Чтоб все, значит, как следует быть...

— Ни пуха ни пера... Чтоб, значит, в лучшем виде.

Четыре человека — Волков, Петров, Дубонос и Тиунов, — низко склонившись, прошли в передовую траншею и остановились: Волков и Петров — около обгорелого, без сучьев и веток дерева, росшего рядом с траншеей, а Тиунов и Дубонос, оба мускулистые, ловкие, чем-то неуловимо похожие друг на друга, шагах в двадцати от них, у конца траншеи.

После недели почти беспрерывных дождей установилась солнечная, знойная погода. Белые пышные облака неторопливо бежали по светлому небу. На островках зелени, сохранившейся за развалинами домов и среди обломков и бревен, громко трещали кузнечики. Стая воробьев улетела к лесу, на не тронутые войной лужайки: видимо, не нашли птицы на переднем крае корма. Где-то вдали, приглушенная расстоянием, раздавалась редкая, ленивая ружейная перестрелка.

Дзот издали казался кучей толстых бревен и камней, грудой сваленных на белый песок. Внизу, между бревнами, виднелось темное отверстие. Рядом, под амбразурой, в песке, что-то ослепительно блестело в лучах солнца, наверное битое стекло.

Десятки немигающих глаз смотрели из окопов и ходов сообщения, из укрытий и наблюдательных пунктов на дзот. Четыре человека стояли неподвижно, прочно расставив ноги, глядя вперед. Позади них озабоченно прохаживался лейтенант Кусуров — совсем еще молодой парень с серыми глазами, крупным с горбинкой носом и выбивающимися из-под пилотки волнистыми каштановыми волосами. Потом он остановился посреди траншеи.

между обеими группами. За поворотом траншеи тяжело дышали солдаты, которые должны были после захвата дзота закрепиться в нем.

Крайним слева стоял Волков. Нет, он не испытывал страха, его охватило какое-то неизъяснимое чувство. Буйно билась в висках кровь, мускулы словно закаменели. Сейчас он выберется из траншеи, поползет к ручью и сделает большое нужное дело. И словно бы не он один, а еще сотни или тысячи людей стояли в эти минуты в глубоких траншеях. И словно бы не он один, а все они готовились к тому же трудному и опасному делу.

Позади себя Волков услышал грузные шаги. Скосив глаза, он узнал заместителя командира батальона капитана Ванина. «Желаю успеха», — тихо проговорил тот и пожал ему выше локтя руку. Волков плохо знал Ванина, тот недавно прибыл в батальон из госпиталя, но Волкова тронуло его внимание.

На комья слежавшегося, затвердевшего после недавних дождей песка выполз крупный, редкостный, красноватой масти муравей. Он пополз по брустверу, часто останавливаясь, видимо стараясь найти переход. Муравей отвлек внимание Волкова, помешал ему обдумать несколько важных подробностей, которые ему хотелось успеть обдумать. Волков призакрыл глаза и стоял так, пока не услышал в том месте, где остановился с часами в руке Кусуров, хруст песка. Волков вскинул руки на бруствер. Петров сейчас же повторил его движение. Песок был горячий; он слегка колол и жег ладони. Кусуров, глядя на циферблат часов, поднял руку на уровень плеча и резко опустил ее.

Все четверо осторожно выбрались из траншеи и поползли в балку. На берегу ручья остановились.

— Ну вот... ну вот... ну вот, пришло время, — лихорадочно шептал Волков. Он зачерпнул воды, но пить не стал, а лишь смочил лицо. — Ну вот! — вполголоса вскрикнул он, поднялся на ноги и сразу же обо что-то споткнулся. Волков едва не потерял равновесия и первые пять или шесть шагов сделал с неотчетливой мыслью: «Если упаду — погибну!» И он на ходу постарался перенести центр тяжести вперед. В мгновения, понадобившиеся ему на следующие восемь или десять шагов, он повторял в уме советы и указания командира батальона и командира роты.

Увидев через амбразуру движение в дзоте, он резко метнулся в сторону и сейчас же почувствовал сильный удар в живот. Непреодолимо захотелось согнуться, лечь на землю. И, борясь с этим желанием, Волков на бегу попытался распрямиться. Он распрямился и почувствовал, что сил у него еще хватит, вполне хватит. В то самое время пулемет в дзоте стал стрелять, Волков упал и одну за другой выдернул чеки и кинул гранаты в амбразуру.

Взрывные волны несколько раз подбрасывали его вверх и мягко опускали на песок, казавшийся теперь почему-то очень холодным и мокрым. Перекидав все гранаты и почувствовав, что силы его иссякают, с мыслью: «Что же мне еще надо сделать?» — он оглянулся и увидел, что Петров лежит, загребая обеими руками песок. Куча тяжелого черного дыма скрыла амбразуру дзота. Тиунов и Дубонос, огибая дзот, бежали к входу в него, за ними спешили солдаты, выскакивавшие один за другим из траншеи. Кто-то, красный и потный, кричал что-то. Волков узнал лейтенанта Кусурова, однако слов его не разобрал. Ударила артиллерия. Грохот все надвигался. Красная ракета упала рядом с ним, стержень ее шипел и дымился. Волков попробовал отползти назад, в траншею, и не смог. Его подхватили на руки, понесли...

В дзоте слышались глухие крики и автоматная стрельба. И Волков вдруг подумал, что все как-то непонятно и что это, может быть, и не он зашивал сегодня в траншее гимнастерку, не он рассказывал какую-то пустяковую историю товарищам, не он стоял, ожидая сигнала, не он первым пробежал двадцать трудных шагов и не его несут в траншею. Только когда его положили на дно траншеи рядом с раненным в голову Петровым и рыжеватый, с крупным носом и толстыми губами врач в погонах капитана, которого прежде Волков не видел, отстранив девушку-санитарку и взяв из ее сумки бинты, наклонился над ним, Волков понял, что он все-таки выполнил трудное, серьезное дело, которое было ему поручено, и что это ему только кажется, будто все произошло очень быстро и очень просто. И еще подумал, что он уже не беззаботный двадцатитрехлетний парень, а взрослый человек, которому есть что рассказать о себе, и что, значит, не зря к нему с уважением относятся товарищи, не зря ему недавно присвоили звание младшего сержанта и наградили медалью

и не зря красивая, неприступная Таня, за которой безуспешно увивались многие поселковые парни, полюбила его.

* * *

— Я ж вам говорю: к Волкову нельзя! Понимаете: нельзя! И ни папирос ваших, ни консервов ему не надо. Ему только вчера операцию сделали, — произнес властный женский голос.

— Да я только осведомиться... Плох он?

— Получше ему. Все идет нормально.

— Консервы нельзя, так письмо бы ему передать.

— Давайте...

Волков открыл глаза. По голосу он узнал Куныкина и обрадовался. Если Куныкина отпустили к нему в санбат, значит, на переднем крае все в порядке.

Сестра неслышно вошла в полотняную палатку и положила на тумбочку письмо. Скосив глаза, Волков по почерку определил, что письмо от Тани, и подумал, что вчера он на час или на два, а может быть, на целый день приблизил время, когда Таня положит ему на грудь голову и будет шептать нежные, горячие слова, а он заглянет в ее глаза, прикрытые длинными, мохнатыми, загнутыми на концах ресницами, голубые глаза, ласковые только для него.



КАМНИ ПАДАЮТ В МОРЕ

Эту историю нам рассказал седоусый, с обветренным добродушным лицом лодочник, которого соседи называли Петровичем. Так он и сам себя назвал, когда мы познакомились с ним.

Мы отдыхали тогда на южном побережье Крыма и мимоходом заехали в небольшой приморский городок, чтобы осмотреть древнюю крепость и после этого на автобусе ехать дальше. Но оказалось, что до крепости от центра города было неблизко и что даже бегло осмотреть ее за такой короткий срок невозможно. Нельзя же в самом деле уехать, не полазив по стенам, не прочитав надписи, выбитые на бронзовых досках, не осмотрев хозяйственной утвари, ядра и пушки, сохранявшиеся в маленьком музее, не опустившись в подземный ход, которым пользовались при осадах много веков назад, не осмотрев часовни, башни и водохранилища. Потом мы поднялись вдоль стены на вершину горы, легли на камни и принялись смотреть через пролом в стене вниз — на волны, разбивающиеся о скалы, на прогулочные лодки и рыболовецкие катера, снующие у подножия горы и казавшиеся с вершины нарисованными. Мы смотрели вниз лежа, потому что стоять в провале на расшатанных камнях было опасно.

Из крепости мы вышли уже затемно через арку, пробитую в стене, и начали спускаться по крутой дорожке, проложенной среди больших каменных глыб. Дорожка, видимо, была ровесница крепости, и человеческие ноги за череду бессчетных лет выбили в камнях углубления. Несмотря на это, идти по ней было трудно. Мы спускались очень медленно, чтобы не оступиться. Внизу, у подножия горы, услышали быстрые шаги и какие-то непонятные, хлюпающие звуки. Похоже было, будто кто-то доверху зачерпнул в сапоги воды да так и не вылил ее.

Здесь, у подножия горы, мы и встретились с человеком, которого все в городе называли Петровичем. Он был в темной косоворотке, подпоясанной узким ремешком, и в широконосых с короткими голенищами сапогах. В руке Петрович держал крупную, видимо недавно выловленную камбалу. Изредка он хлопал рыбиной о голенище сапога, и тогда уснувшая камбала издавала хлюпающие звуки.

Мы спросили его, где бы нам переночевать. Петрович медлил с ответом. Он набил трубку, стал чиркать спички. Было не особенно ветрено, однако он чиркал спички пять или шесть раз. Мы поняли — он оглядывает нас. Беглый осмотр, наверное, удовлетворил его, потому что позже, когда мы вошли в его дом и на всякий случай хотели показать документы, он отмахнулся.

— Не надо, я уж понял...

В самом деле, кто знает, может, для бывалого человека глаза говорят больше, чем любые бумаги. Мы сели к накрытому серой домотканой скатертью столу.

Петрович объяснил нам, что жена его уехала на лето в Воронеж нянчить внучку, а сам он теперь на холостяцком положении. Домик Петровича стоял в нескольких десятках шагов от моря и состоял из двух довольно просторных комнат. Пока мы осматривались, хозяин наш готовил ужин. Магазины еще не были закрыты, и перед ужином мы хотели сбегать в город. Петрович ворчливо отсоветовал:

— Не пью и вам не советую. Ерундовое это дело. Лучше, скажем, для забавы и для пользы дела подметки к сапогам подбивать или на гитаре, что ли, играть...

И он указал на стену, где висела гитара с перламутровыми ладами, украшенная пурпурным бантом.

Камбалу Петрович приготовил с красным перцем, помидорами и какими-то кореньями. Кушанье получилось на славу. Мы ели и расспрашивали нашего хозяина о городе, о крепости, о нем самом. Оказалось, что крепость, точно, «имеет свой интерес», художники каждое лето ее срисовывают, одна какая-то дамочка два месяца у него прожила, все трудилась, говорила к «Сказке о царе Салтане» картинки хочет сделать, что городок ничего себе, веселый городок и при море, вот только городской сад запущен, жители не гуляют в нем, а все больше коз пасут. Оказалось также, что наш хозяин «состоит при яликах», принадлежащих одному дому отдыха. Мы по-

чему-то решили, что Петрович — старый моряк, но выяснилось, что он уроженец Воронежской области, до войны море ни разу не видел, а во время войны служил в пехоте.

— Здесь пришлось воевать мне, в Крыму. Здесь и остался, старуху к себе выписал, — коротко пояснил он и неожиданно, не по возрасту легко поднявшись с места, подошел к стене и повернул регулятор репродуктора. До этого музыка из репродуктора была едва слышна. Хор «Славься» заполнил комнату. Он заглушил и рокот прибоя, и голоса гуляющих по улице, и уютное гудение стоящего на столе самовара. Потом он убавил звук и без всякого перехода — может уж так припомнилось ему или потому, что спать ложиться было еще рано и надо было чем-то заполнить время, — стал рассказывать о человеке, погибшем в одиночестве. Петрович именно так и выразился: «в одиночестве погиб». И нам стало ясно, что более страшной гибели, по его мнению, не существует.

На столе гудел самовар, мы пили чай и слушали. Петрович хорошо помнил этого человека — матроса Дымченко, видимо, много слышал о его судьбе. Ему было жаль матроса, и вместе с тем он решительно осуждал его. А когда Петрович замолчал, мы стали говорить о том, что так часто бывает в жизни: один неправильный поступок — и человек расплачивается за него очень дорогой ценой. Жизнью иногда расплачивается.

Наутро мы простились с Петровичем. До вечернего автобуса было много времени, и мы еще раз побродили по старой генуэзской крепости. Потом направились к центру города и увидели братскую могилу, о которой рассказывал Петрович, — мраморный памятник, окруженный зеленью. Мы смотрели на памятник и думали о том, что Дымченко был сильным человеком, и поэтому он сумел заслужить прощение. Заслужить после смерти. У другого на его месте могла бы быть совсем иная судьба. И кто знает, послушайся он капитана Переверзева, может быть, и освобождал бы Крым, и побывал бы в опаленном огнем Берлине, и жил бы сейчас. И мы мысленно согласились с Петровичем, что нет ничего страшнее гибели в одиночестве.

Около памятника мы встретили пожилую женщину, разговорились с ней, и она рассказала нам новые подробности о матросе Дымченко.

Успели мы побывать и на берегу моря, полежать на гальке, вслушиваясь в глухой и однообразный, как вечность, гул.

Вдали, на горе, виднелась древняя крепость, горячий воздух струился над морем, и казалось, что гора и крепость над ней то приподнимаются, то опускаются.

Я положил голову на руку, задумался. И не то в полудреме, не то наяву по-своему представил все, как было...

* * *

Когда по приказу командования советские войска эвакуировались из Крыма, для их прикрытия в Севастополе и некоторых других пунктах были оставлены подразделения моряков и пехотинцев. Они должны были отбивать натиск фашистов до тех пор, пока последнее судно с нашими войсками не выйдет в море, а после этого разбиться на мелкие группы и следовать на восток, к Керчи, где их ожидали люди, которым было поручено переправить наших воинов на кавказское побережье.

После выполнения этого задания в одной группе сошлись капитан Переверзев, командир стрелкового батальона худощавый, с болезненно-желтым лицом человек, матросы Павел Костенко и Андрей Дымченко, оба коренастые, мускулистые, ловкие, слегка курносые, широкобровые, похожие друг на друга, как родные братья, и Петрович, в те дни старший сержант, помощник командира стрелкового взвода. Все они были измучены многодневными боями, оглушены близкими разрывами снарядов, почернели от пороховых газов, а Переверзев, кроме того, и ранен осколком снаряда в грудь. На несколько дней группа остановилась в разрушенном селении, поджидая другую группу, которая задержалась около Севастополя.

Воины укрылись на узкой прогалине среди густого кустарника, покрывавшего склон невысокой длинной горы. Кустарник был густой, колючий. Гитлеровцы никак не могли сюда забрести.

Позади остались опаленные склоны Сапун-горы, дым и копоть, танковые атаки, свист мин, завывание пикирующих бомбардировщиков. Эти люди на небольшой срок вышли из боев, чтобы прийти в себя, чуточку передохнуть, подготовиться к новым боям. В селении жителей

не было, они успели эвакуироваться, сохранился лишь запах человеческого жилья.

Разожгли небольшой бездымный костер, сварили концентраты. Собрали на брошенных огородах помидоры, огурцы, лук, нашли немного прошлогоднего миндаля и грецких орехов.

В кустах было тихо, неправдоподобно тихо. Лишь изредка наверху, по горной дороге, проезжали грузовые автомашины, слышался скрип повозок, раздавался лошадиный топот, и снова все надолго смолкало.

Жужжали пчелы. Юркие ящерицы мелькали на каменистой земле. От моря тянуло влажным, теплым ветром. В первый же день на прогалину откуда-то выползла черепаха. Она, по-видимому, была домашняя, прирученная к людям, потому и приползла на голоса. Для черепахи нарвали травы, в глиняный черепок налили воды.

Четыре дня провели Переверзев, Костенко, Дымченко и наш хозяин в разрушенном селении. Первое время они мало говорили. Слишком тяжело и тревожно было на душе. Возились с черепахой, рассматривали ее складчатое тельце, круглые птичьи глаза или лежали неподвижно, глядя в знойное белое небо, чистили оружие, совместно перевязывали грудь Переверзева, отсыпались, прислушивались к неотчетливому, как шорох, рокоту моря.

Первым заговорил Дымченко.

— Обтолчется все, как галька морская, — стал убеждать он товарищей. — И из Крыма и отовсюду прогоним их, — только так, в третьем лице, он именовал гитлеровцев.

Все уже успели узнать, что Дымченко вылежал два месяца в одном из севастопольских госпиталей и там полюбил медицинскую сестру Надю. Дымченко показал ее карточку. И все подолгу рассматривали белокурую, с большими настороженными глазами и тонкими губами девушку, хвалили ее и шутили. Дымченко был так переполнен своей любовью, так восторженно говорил о своей Наде, что товарищи немного завидовали красавцу моряку, невольно вспоминали тех, кто ждал их, и искренне желали ему скорее встретиться со своей Надей и никогда больше не расставаться.

— Ни много ни мало, а ровно месяц, тридцать дней, я к ней присматривался, покашивался на нее, а чтобы о чем-нибудь таком заговорить — сил не имел. С другими

сестрами и байки рассказываю и другой раз такое ляпнешь, что засмущается, уйдет, а тут робость одолевала. Только о температуре и лекарствах речь вел, да и то раз пять в уме повторишь, прежде чем скажешь. Войдет в палату: и движения у нее какие-то особенные, плавные, что ли, и руки не такие, как у прочих, и голос... Смотришь на нее и думаешь: «Не такая ты, как все, и задумчивость у тебя какая-то своя, взгляд какой-то свой, задушевный, что ли...» Как-то перед ужином входит она в палату, раненые-то все к тому времени сил набрались, в клубе картину смотрят, только в углу один земляк спит — я того земляка не в счет, сам себе говорю: «Или сейчас, или, будь ты проклят, выходит, трус ты наипоследнейший, Андрей Платонович...» Надя мне градусник подает, а я не беру, всякие вещи говорю, — дескать, не падает у меня, сестрица Надя, температура, потому что сжигает меня любовь. Надя ничего, улыбается. Взял я ее руку, потянул к себе. Она, конечно, вырывается, выходит из палаты. Но только в дверях оглянулась да так посмотрела, что сказал я себе: «Нет счастливее тебя человека, Андрей Платонович, нет и не может быть». Так с пустяка, с шутки и началась наша любовь. И поклялся я ей нерушимой клятвой сохранить любовь. И адреса родных и знакомых дал, чтобы списаться, как только будет возможность. Мало дней я ее знал, а полюбил навечно, такое уж, стало быть, мое сердце... — рассказывал товарищам Дымченко. Товарищи слушали, и лица их прояснялись: война войной, тяжело — будет легче, главное — в горькие дни душу сохранить, не дать в нее запасть сомнению, сохранить ее для светлого, хорошего.

* * *

...На четвертый день, к рассвету, из Севастополя прибыла вторая группа. Она состояла из трех человек, и командовал ею старшина второй статьи Голубев. Дымченко хорошо знал Голубева (они вместе лечились в госпитале, и Голубев был выписан раньше его). Эта группа, как выяснилось, принимала участие в освобождении солдат и офицеров, почти поголовно раненных и только поэтому захваченных гитлеровцами в плен.

— Сорок три человека удалось отбить, когда их в лагерь вели, сдали их партизанам... Человек восемь или десять в перестрелке погибло, — сообщил Голубев,

Старшина второй статьи казался хрупким и нежным. У него было округлое детское лицо и припухлые губы, хотя ему уже было сильно за двадцать лет.

Все, опустив головы, слушали рассказ Голубева о темной ночи, опустившейся над Севастополем, о страданиях советских людей.

— А тебе, Дымченко, я худую весть принес, — сообщил после тягостной паузы Голубев, глядя куда-то в сторону и облизывая языком ссохшиеся припухлые детские губы. — Неважную весть, — повторил он.

Дымченко неподвижно лежал, положив голову на закинутые назад руки и наблюдая за черепахой, ползшей по его груди. Он ни о чем не спросил товарища и не переменил положения, но весь насторожился.

— Такую худую, что и говорить неохота, — тянул Голубев, ожидая, когда наконец Дымченко посмотрит на него.

И Дымченко не выдержал, снял с себя черепаху, приподнялся, глядя в упор на товарища, попросил:

— Говори.

— Надя твоя никакая не Надя, а шкура и шпионка... Из колонисток она, по подложным документам в госпиталь устроилась, своих ждала... Ты ей для ширмы понадобился или еще для чего-то... Теперь она при начальнике лагеря военнопленных майоре Штрумфе в переводчицах состоит и доверием пользуется. Сведения точные. Да и сам я из развалин ее в автомобиле с эсэсовцами видел, — решительным жестом руки устраняя и опровергая возможные возражения, подтвердил Голубев. — Да и он вон тебе скажет, — и Голубев кивнул на младшего сержанта в зеленой пограничной фуражке.

— Точно, шкура... Убить бы ее, стерву, надо, — осипшим голосом проговорил пограничник.

Все смотрели на Дымченко и видели, как мелко и часто задергалось левое веко на его побледневшем лице. Спустя минуту стало вздрагивать и правое веко, вздрагивать реже, но еще сильнее, чем левое.

Дымченко встал на ноги и пошел через кустарник, не отводя перед собой руками колючие ветки и не выбирая дороги. Колючки царапали его лицо и руки, рвали бушлат. Он шел сквозь чащобу, как медведь. Он шел не прямо, а по окружности, как ходят люди, сбившиеся в кромешной тьме с пути. Его не останавливали. Вряд ли в

такую рань на дороге покажутся автомашины. Да и нельзя его было останавливать. Если хочет остаться наедине, пусть уходит.

Если бы Дымченко после того, как узнал страшную для него весть, остался с товарищами, расплакался бы по своей опоганенной любви или впал в ярость, может быть, все бы обошлось и судьба Дымченко была бы обычной военной судьбой. Останься он с товарищами, и они утешили бы его или обругали за мягкотелость, и, может быть, он и не совершил бы безрассудного поступка, за который поплатился одинокой гибелью. Не следовало ему уходить от товарищей и оставаться наедине со своими мыслями. Впрочем, все эти соображения его ничуть не оправдывают. Хоть и тяжкое, но все-таки личное горе заслонило от него все то, чем он в то время обязан был жить.

Он пришел в заросли кустарника, на прогалину, через два или три часа. Пришел в разорванном бушлате, с исцарапанным в кровь лицом. Веки его все так же дергались.

— Товарищ капитан, вы старшой... надо вернуться... не должна она жить.

Капитан Переверзев, прищурившись, спокойно смотрел на матроса.

— У нас есть приказ, и мы будем выполнять приказ.

— Товарищ капитан, дайте мне кого-нибудь в помощь... или пошлите одного... Я вас нагоню... Я не надолго: только вот из этого автомата... в лоб, в шею, в поганое сердце...

— Нет, Дымченко, вы пойдете с нами, мы не можем отвлекаться, — все так же подчеркнуто спокойно отвечал капитан. Ему было больно говорить, и он сдерживался, старался не волноваться и не повышать голоса.

— Товарищ капитан, я прошу вас...

Дымченко был страшен, на его посеревшем лице лихорадочно блестели глаза. Веки перестали дергаться, но вместо этого на висках вздулись крупные синие жилки. Говорил он глухо, будто в бочку.

— Думаете только о себе?

Капитан сдерживался явно с трудом, глаза его сузились.

— Вы не верите мне?

— Если бы не верил, я бы не стал сейчас говорить с вами.

— Что же мне делать?

— Прежде всего прийти в себя,

Дымченко, подминая под себя кусты, опустился на землю, засмеялся нехорошим, злым смехом.

— Мое дело — подчиняться...

И тогда капитан приказал ему не говорить больше, молчать. Ему казалось, что это было самое лучшее для него: не терзаться словами.

А вечером того же дня Дымченко исчез. С котелком пошел к ручью за водой и пропал. Под вещевой мешок товарища он сунул записку. В записке говорилось:

«Я не предатель и не дезертир. Ушел, чтобы отомстить. Сумею — нагоню вас. Погибну — не поминайте лихом и родным сообщите. Адрес у Костенки есть.

Андрей Дымченко».

И его не стали ждать. Ночами по глухим тропам ушла группа на восток, к Керчи. Там товарищи, оставленные для подпольной работы, перебросили их на кавказское побережье.

* * *

И стал матрос Дымченко воевать в одиночку. Он шел то вдоль горной дороги, то берегом моря, изредка заходя в селения, чтобы попросить еды. Его охотно кормили, делились всем, что было. Женщины с набегавшими на глаза слезинками смотрели на молодого красивого парня в порванном бушлате. Спрашивали, куда путь держит. Матрос отделывался шутками. Но шутки его звучали горько, страшно, надрывно. И смотрели женщины ему вслед, и шептали про себя что-то. Как-то ночью на дороге фашисты обстреляли его, как-то он застрелил мотоциклиста. Однажды его преследовали с собаками. Он насилу ушел от погони. Выручил попавшийся на пути полупересохший ручей. Он побежал по ручью и сумел сбить собак со следа.

Автомат, две гранаты да пистолет с двумя обоймами, снятый с убитого мотоциклиста, — таково было его вооружение, когда он подобрался к пригородам Севастополя и устроился на дневку в подвале разрушенного каменного дома. Дом когда-то был жилой. Пробираясь через комнату, Дымченко увидел скрюченные, опаленные железные кровати, на выкрашенной в лазурный цвет стене сохранилась надпись: «Был дома, все видел. Где ты, ласточка? Твой Сергей...» И дальше шел адрес — номер полевой почты.

Дымченко перечитал надпись трижды. И нечто похожее на зависть шевельнулось в его сердце к неизвестному Сергею. А впрочем, кто знает, может, Сергея уже давно нет в живых, а его ласточка? Все могло быть с его ласточкой.

В первый же день в Севастополе Дымченко едва не погиб. Чьи-то грузные шаги заставили его проснуться. Матрос спрятался за старую бочку, пахнущую квашеной капустой, и стал ждать. А когда увидел на деревянной, с прогнившими ступенями лестнице ноги в солдатских ботинках и форменных брюках, дал длинную очередь и через оконный проем вылез на огород. Он прыгал через заборы, метался по узким переулкам, слыша за собой погоню. Потом погоня отстала, и какая-то девушка открыла ему окно. Он влез в дом. Девушка дала ему черный клеенчатый плащ, старую облезлую кожаную фуражку и вывела через сад, мимо ветхих сараев, на другую улицу. Был дождливый день, и поэтому он не привлек в своем странном одеянии ничьего внимания. Девушку он в суматохе не разглядел, не поблагодарил. Только потом, идя по улице и стараясь спрятать под плащом автомат, он вспомнил, что девушка говорила ему, куда следует идти и что делать. Она называла какую-то улицу, говорила о каком-то цветочном горшке, который будет в нем выставлен, если все в порядке, но он в сумятице ничего не запомнил. Решительно ничего, хотя отвечал ей и даже повторял название улицы. Вернуться? Нет, поздно, возвращаться нельзя, ни в коем случае нельзя возвращаться.

Город был основательно разрушен, жители разговаривали с неизвестным человеком в длинном клеенчатом плаще неохотно. На месте госпиталя, в котором он лежал, виднелся лишь обгорелый остов четырехэтажного дома.

С большим трудом ему удалось раздобыть старую железнодорожную форму, свое обмундирование он спрятал среди развалин. Случайные люди указали ему на лагерь военнопленных. Он несколько дней бродил вдоль длинного, с колючей проволокой забора, слышал выстрелы, лай собак и крики. По утрам попавших в неволю солдат и офицеров выводили из лагеря, а вечером приводили обратно. Они работали в порту. Дымченко удалось связаться с ними. Ему сообщили, что переводчицы, которая раньше была известна под именем Нади, в лагере нет,

она уехала с каким-то гитлеровским начальством неизвестно куда.

И только после этого Дымченко понял, какую непоправимую ошибку он совершил. Что ожидало его? Зачем он отбился от своих? Раньше он мог придумать для себя какие-то оправдания, теперь и придумать было нечего. И это в то время, когда родной народ напрягает все силы!

Черные дни настали для Дымченко. Одно было для него ясно: надо искупить свою вину. Любой ценой искупить.

Оставаться в Севастополе было незачем. Он решил пробираться в горы, к партизанам. В большом селе, куда он зашел как-то на рассвете, ему посоветовали идти в старые каменоломни, расположенные в шести километрах от села. Он пришел к каменоломням. Откуда-то из-за камня его окликнули, велели положить на землю оружие и поднять вверх руки. Голос был русский, с волжским оканием. Дымченко подчинился. Из-за камня вышли два худеньких, совсем юных паренька и повели его по едва приметной тропинке в старые выработки. Командир отряда, видимо, уже слышал о матросе, отставшем от своего отряда. Он приказал накормить его, выдать десять пачек патронов для автомата, но принять в отряд наотрез отказался.

— Тебе было приказано пробираться к Керчи. Ты не выполнил приказа. Значит, нарушил присягу. В отряд я тебя не возьму... А если что задумал, так имей в виду: у партизан разговор короткий!

Командир отряда, молодой еще человек, в кожаной куртке, с крупным, тщательно выбритым лицом, выразительно посмотрел на Дымченко и добавил:

— Пробирайся на восток. Там тебе помогут. А я на своих людей полагаться должен.

Тяжко было матросу слушать все это, тяжко и обидно. Куда идти? Что делать? У него не было ни явок, ни знакомых.

Идет война, кровавая и беспощадная, а он, здоровый, сильный, хорошо владеющий оружием человек, не знает, куда ткнуться, болтается, как навоз в проруби. Никому он не нужен, никто его не ждет. Командиры, друзья, наверное, думают, что он погиб. Вспомнили — и забыли, потому что нельзя помнить всех, с кем воевал.

Помнит, конечно, мать. Вечерами, управившись с хо-

зяйством, выходит на берег Енисея, смотрит молчаливо, вздыхает, украдкой поплачет. На людях плакать не будет — гордая она и суровая с виду. Вытрет насухо глаза и пойдет обратно, в деревню. Помнит, может, и капитан Переверзев. Спокойный, уверенный в своей правоте. Гимнастерка на нем сидит как-то уж слишком вольно, да и мало похож он на офицера, скорее, сельский учитель или агроном. Наверное, из запаса. Почему же он, матрос Дымченко, не послушался Переверзева?

Что он скажет в свое оправдание, когда перейдет через линию фронта? Что, как перекати-поле, гнало его раскаяние из одного селения в другое? Что по пути он рвал провода связи, несколько раз стрелял в проезжающие по дороге автомашины, что как-то поджег бензовоз? Ведь все это он сделал случайно, не имея твердого плана, не ощущая, что принесет этим большую пользу.

Оступился раз, нельзя оступиться второй. Надо идти в Керчь, переправляться к своим, рассказать все, как было. Он сумеет все объяснить.

Его вывели из каменоломни, и он пошел по дороге. Была ночь. С моря дул ветер. Луна ярко светила, но свет ее был каким-то призрачным, неверным, и он то и дело спотыкался. Утро застало его в том селении, где он ушел от Переверзева и своих товарищей. Забрался матрос в кустарник, лег, вытянулся. Услышал неясный шорох... Черепаха! Та самая черепаха, которая прожила с ними несколько дней. Он поднял ее, взял на руки, заглянул в пугливые, ничего не выражающие птичьи глаза. Смешное, неуклюжее, никому не нужное существо. От врага может только защищаться, нападать не может. Да и защита не очень надежная. Что стоит проворному коту засунуть под панцирь лапу? И Дымченко горько усмехнулся, подумав, что и сам он теперь похож на такую же вот черепаху, беспомощную и жалкую.

А через несколько часов на прогалину пришли партизаны. Они и не искали его, а просто уверенно пришли к нему на прогалину и тронули за плечо, будто точно знали, где он скрывается. Они разбудили его и сказали, что в девятнадцати километрах отсюда, в городе, появилась та самая стерва. Так они и сказали: «та самая стерва», хотя Дымченко и не предполагал, что партизанам о нем известно решительно все. Она сопровождает какое-то большое начальство и пробудет в городе день или два.

Немцы приплыли на двух катерах, на одном сломался мотор, и с ним придется повозиться. Пристань под отвесной горой, на которой развалины крепости. В крепости можно надежно укрыться и вести оттуда наблюдения: гитлеровцы туда не ходят, древностями они не особенно интересуются. Во всяком случае, гораздо меньше, чем коровами, гусями, курами, ценными вещами и винными погребами. Если ему понадобится помощь, то пусть он знает: партизаны будут в двух километрах, в совхозе «Светлый путь». Третий дом по правой стороне. Постучаться в ставню и попросить Феоктистова. Феоктистову сказать: «Я от Криволенкова».

Партизаны сказали все это, оставили ему сушеного винограда, миндаля, немного сухарей и ушли.

С крепостной стены мы видели пристань. Она была точно под горой. Петрович объяснил нам, что рядом с ней в то время торчали трубы потонувшего корабля: путь из залива от пристани был только вдоль горы.

И Дымченко дождался своего часа. Невеселый это был час, и не принес он ему облегчения. Он лежал, укрывшись в куче хвороста, на крепостной стене и смотрел в бинокль на пристань. Два катера виднелись у деревянных мостков. На берегу стояла группа офицеров — двенадцать человек, среди них генерал, два полковника, остальные — мелкая сошка. Все это Дымченко быстро разглядел своим наметанным глазом. Среди зеленых мундиров белым пятном выделялся плащ женщины. Дымченко лишь на несколько секунд остановил на ней окуляры бинокля. То, что эту женщину он когда-то называл Надей, и то, что с ней была связана какая-то очень тяжелая история, — все это бесследно ушло. Конечно, и эта женщина была опасным врагом, но генерал и полковник были еще опаснее, и они гораздо больше интересовали сейчас Дымченко.

Какое-то движение возникло на берегу, и матрос сообразил, что группа собирается рассаживаться по катерам. Сбежать по тропинке вниз, снять часового на пристани и обстрелять катера из автомата? Нет, это было не то. Он убьет двух или трех гитлеровцев, остальные откроют по нему огонь. Надо уничтожить всех или по крайней мере большинство. А что, если обрушить на них часть стены? Стены расшатаны, камни полетят вниз и опрокинут катера и перебьют всех.

Дымченко побежал на вершину горы. Теперь катера были прямо под ним. Однако стена здесь была крепче, чем он предполагал. Но вот он увидел трещину, глубокую сквозную трещину, идущую вдоль стены на высоте, немного превышающей его рост. Из нее торчали кустики какого-то ползучего растения. Дымченко ударил по стене прикладом автомата. Да, ее легко обрушить. Но надо было обо что-то опереться. Свалить ее снизу было нельзя. Надо толкать с середины стены; когда катера тронутся с места, во что бы то ни стало обрушить на них камни. Это будет красивое зрелище. Партизаны, наверное, наблюдают за ним, он давно уже чувствовал, что за каждым его шагом наблюдают чьи-то внимательные глаза. Влезть на стену, расшатать ее каменный верх, когда катера отчалят, обрушить вниз и в последнюю минуту спрыгнуть на каменное основание.

Женщина в белом плаще села на катер, за ней еще один за другим три офицера. Потом на катер понесли какие-то мешки. Оставались секунды. Дымченко влез на стену, подполз к ее наружной кромке. Под тяжестью его тела каменная глыба заколебалась. Теперь надо расшатать ее.

Генерал и полковник сели во второй катер. Дымченко не искал решения и не колебался. Генерал и два полковника — гораздо более серьезные враги.

Первый катер отчалил. На втором завели мотор, вот и он отошел от пристани. Пора. Дымченко поднялся на ноги, с силой оттолкнулся ногами, уцепившись руками за большой, выступающий из стены камень. Пора!

Партизаны действительно видели, как в момент, когда отчалил второй катер, на крепостной стене появилась темная фигура. Потом гора загудела, в море с грохотом посыпались камни. Когда облако пыли рассеялось, на воде плавал перевернутый, с проломленным днищем катер. Больше на поверхности моря никого не было — никто не выплыл. На первом катере включили сирену, и она долго гудела, протяжно и нудно.

Через несколько дней море прибило к берегу труп Дымченко. Его похоронили рядом с могилами бойцов-пограничников. Он не успел спрыгнуть на основание стены. Глыба, на которой он стоял, увлекла за собой целый пролет... Когда наши части освободили Крым, останки матроса Дымченко перенесли в братскую могилу.

ОГОНЬ НА СЕБЯ

Она быстро и озабоченно проходила по залам, бросая короткие равнодушные взгляды на картины. В предвечерний час на выставке картин военных художников было людно, посетители с тихим говором неторопливо переходили от картины к картине, и многие из них провожали недоумевающим взглядом эту женщину в модном зеленом платье с блестящими металлическими пуговицами. Внезапно она остановилась напротив большой картины, прочитала надпись: «А. Костромин. «Огонь на себя» — и отошла к окну. Нет, она не смотрела на эту картину, как обычно смотрят посетители выставки; она впилась в нее своими темными большими глазами и замерла на месте. Иногда посетители загораживали от нее картину; тогда брови женщины досадливо передергивались...

Картина была посвящена минувшей войне. Блокированный гитлеровцами блиндаж. Свет падает через сорванную с петель дверь. На световом квадрате виднеются тени двух немецких касок и смутные силуэты вражеских солдат, взобравшихся на перекрытие блиндажа. В блиндаже трое, все они сгрудились в дальнем от двери углу. Рослый сержант, прислонившись к земляной стене, стреляет через дверь из автомата. Солдат с перевязанной головой сидит на земле с автоматом наизготовку и пристально смотрит на свет, видимо ожидая внезапного нападения гитлеровцев. Третий — младший лейтенант, с юным лицом, белокурый, в распахнутой шинели, с орденом на гимнастерке, — в одной руке держит гранату, а в другой — телефонную трубку. На столе рядом с рацией притулился рыжий лопоухий щенок с перебитой и наскоро перевязанной носовым платком лапой. Щенок поднял морду вверх и, по-видимому, скулит. Младший лейтенант локтем небрежно гладит его — маленький живой комочек,

которому, как и людям, находящимся в блиндаже, предстоит погибнуть, — об этом говорит надпись на картине. Выхода нет, и младший лейтенант в блокированном, полуразрушенном блиндаже вызывает на немцев, захвативших участок, где был блиндаж, огонь артиллерии, который должен уничтожить и блиндаж и тех, кто находится в нем. Зубы младшего лейтенанта закусили нижнюю губу, лоб наморщен, лицо напряжено, сурово, но страха и безнадежности в этом лице нет.

Женщина в зеленом платье очень долго смотрела на картину. Потом вынула из сумочки маленький кружевной платок, быстрым движением вытерла глаза, повернулась и медленно, два или три раза оглянувшись, пошла к выходу. Кроме картины Костромина «Огонь на себя», ни одно полотно не заинтересовало ее.

Около кабинета администратора женщина остановилась, минуту помедлила и нерешительно открыла дверь.

— Мне надо узнать адрес или телефон художника Костромина, — сказала она поднявшемуся ей навстречу подполковнику с седеющими висками, в пенсне.

Подполковника удивил явно расстроенный вид посетительницы. Но он не стал ни о чем расспрашивать. Пытливо поглядывая на женщину, указав ей на стул и раскрыв лежавшую на столе тетрадь, вырвал из шестидневки маленький листок, записал номер и пододвинул телефон.

— Я позже, из дому...

— Звоните сейчас: он собирается в командировку, вы рискуете не застать его.

Женщина в зеленом платье набрала нужный номер и громко произнесла:

— Художник Костромин? Я должна увидеть вас... Моя фамилия Дементьева, Надежда Дементьева... Да, да, я могу сейчас приехать...

Она записала адрес и, поблагодарив администратора, вышла из кабинета.

Художник Костромин и его жена ожидали гостью, назвавшуюся Надеждой Дементьевой. Художник ходил по комнате из угла в угол и говорил жене:

— Да, он был женат, но я почему-то никогда не думал о его жене.

Жена художника сидела за столом перед раскрытой большой папкой и перебирала старые этюды и наброски.

В передней позвонили.

— Моя родственница увидела вашу картину... и сказала мне... Ей показалось... Словом, это не Константин Дементьев. Может быть, мы ошиблись: это не он? — сбивчиво заговорила Надежда Дементьева, когда сняла в передней пальто и вошла в комнату. — Я сейчас была на выставке... Я не могла ошибиться... Но мне писали, что он погиб в бою на дороге в Восточной Пруссии, а не в землянке.

Жена художника, обменявшись с Костроминым многозначительным взглядом и порывшись в папке, положила перед Дементьевой на покрытый оранжевой скатертью стол несколько этюдов. Одни из них были выполнены углем на кусках полотна, другие — на бумаге, карандашом. На них был изображен младший лейтенант — тот самый, что вызывал на себя в блокированном блиндаже огонь артиллерии.

— Он?

— Он... Значит, вы рисовали его на фронте, а теперь использовали старые рисунки?.. Рассказывайте!.. Все, все рассказывайте... Что значит «огонь на себя»?

Художнику тоже хотелось расспросить гостью, но строгий взгляд жены остановил его.

В этих случайных встречах, в распутываниях судеб и событий есть и тихая радость и тупая боль по невозвратимо ушедшим людям и годам. Кто не испытал этих чувств! Кто негаданно на улице, в театре или в кино не встречал давних, забытых знакомых, кто неожиданно не получал писем, кого ненароком оброненное имя не заставляло день за днем вспоминать давно прошедшие месяцы и годы!

И когда художник Костромин тихим, глуховатым голосом повел рассказ о себе, о младшем лейтенанте Дементьеве, о днях войны, показалось всем — и Надежде Дементьевой, и жене художника, и самому художнику Костромину, — будто вошли в комнату и сели рядом, за чайным столом, давно ушедшие люди.

* * *

...В детстве и юности жил я в Калинине. Любил рисовать, любил ходить в театр, в кино, собирал марки, летом целые дни проводил на Тверце и Волге.

Я не знал, храбрый я или трусливый, сильная у меня воля или слабая, могу ли я перенести серьезные опасности и трудности. Да и далеко не всякий в девятнадцать лет имеет возможность определить это. Ведь и в самом деле — не на спортивной площадке, не на катке или лыжной прогулке и не в мальчишеской драке узнает себя и свои силы человек!

Началась война. Меня призвали в армию, зачислили в военное училище. В лагере, на Украине, мы и встретились с Костей Дементьевым. Мы были в разных подразделениях и познакомились около врытой в землю бочки с водой, где перед отбоем собирались курсанты покурить и поболтать. Говорили о войне, о замыслах противника, о том, как будем жить после войны, пели украинские и русские песни. Сдружились мы быстро и понимали друг друга с полуслова: мы были людьми одного поколения, наша сознательная жизнь наступила незадолго перед войной, созрели же и полностью сформировались мы на войне.

Помню, что Костя Дементьев отмахивался от серьезных разговоров, во время отдыха он любил петь и болтать пустяки, не прочь был подшутить над кем-нибудь из товарищей.

В эти месяцы почти целые дни мы проводили на занятиях. Косте все давалось очень легко. Чувствовалось, что он полюбил военное дело, увлекается им.

Запомнился мне один воскресный жаркий день. В часы отдыха мы лежали в высокой траве под развесистой дикой грушей.

— А ты как себя сам считаешь — храбрым? Сможешь быть хорошим командиром? — спросил кто-то Костю.

Костино лицо передернулось.

— Ты ко мне с этими глупыми разговорами не приставай...

— Почему глупыми? — обиделся курсант.

— Каким кому надо стать — таким он и станет... А разговоры эти глупые, потому что не время теперь копаться в своих чувствах.

Я мысленно согласился с Костей, но втайне часто вздыхал: что-то уж очень часто думалось о себе, о своих силах.

Командиры особенно хорошо к нему относились. Мне все это было понятно: молодцеватый, веселый парень,

у которого все всегда получалось, он у всех вызывал симпатию.

Вышло так, что после окончания училища нас с Костей направили в действующую армию в одну и ту же стрелковую часть. Меня назначили в штаб, его — командовать пулеметным взводом.

Не буду подробно рассказывать, как я становился из необстрелянного юнца настоящим воином. Скажу только, что в решающий момент мне помог Костя. И именно потому теперь, когда уже прошло столько лет, я не могу его забыть. Этот маленький, на первый взгляд, случай все перевернул во мне, помог стать другим человеком.

Наша часть занимала тогда оборону в болотистом лесу, на северо-западе, невдалеке от Старой Руссы. Нам надо было захватить «языка», чтобы узнать намерения врага. Но гитлеровцы хорошо охраняли свой передний край. Дважды наши поисковые группы, понеся потери, возвращались ни с чем.

В третий раз разведчики снова вернулись из поиска без «языка». Ранним утром они собрались у штабной землянки, ожидая, когда выйдет начальник штаба части. Костя, оказавшийся здесь же и никогда не упускавший случая подтрунить над кем-нибудь, говорил командиру разведки — бравому, с крупным мясистым носом и толстой шеей лейтенанту:

— В блиндаже брюхом вверх лежать, конечно, проще. Хватки у твоих ребят нет. Не разведчики, а так, физкультурники какие-то, велосипедисты. Я бы на вашем месте совсем не так действовал...

Усталый и обескураженный, разведчик хотел было выругать Костю, но в этот момент из землянки вышел начальник штаба. Все вскочили. Костя, отдав честь, видимо, хотел уйти. Начальник штаба остановил его.

Пожилой, темнолицый, с большими черными усами майор придирчиво оглядел Костю с ног до головы, словно видел его впервые. Потом остановил взгляд на его лице. Они молча смотрели друг на друга минуту или две. Костя выдержал это испытание, не опустил глаза, ничем не выдал волнения.

— Младший лейтенант, пойдемте ко мне в землянку, — проговорил наконец майор и, не замечая тянувшегося перед ним разведчика, грузно спустился по земляным ступенькам.

И через сутки Костя вместе с тремя солдатами привел на то же самое место фельдфебеля.

Костю наградили Красной Звездой. Его теперь признали одним из самых храбрых в части офицеров, много говорили о поиске. Но сам он вскоре забыл об этом и занялся хорошо знакомым фронтовому люду окопным изобретательством: ставил вместе с саперами мины, которые за веревку можно было перемещать с места на место; из консервных банок и проволоки делал заграждения, предупреждающие о появлении противника в нейтральной зоне; сооружал вместе с артиллеристами хитро замаскированные наблюдательные пункты; возводил целые ирригационные системы для осушения блиндажей и окопов.

Солдаты полюбили своего командира, приказания его выполняли не только точно, но с особенной, подчеркнутой охотой.

Весной, в мае, гитлеровцы повели наступление. Костин взвод занимал оборону на окраине разрушенной деревни. После трехдневных, почти беспрерывных боев много наших солдат и офицеров вышло из строя.

Меня послали на передний край. Я должен был выяснить обстановку, обойти подразделения и передать командирам важное приказание.

Противник вел сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь. В поле, которое мне предстояло перебежать, и среди развалин, оставшихся от деревни, то и дело поднимались столбы дыма.

Я побежал по чахлому, еще не зазеленевшему кустарнику, пересек заброшенный грейдер. Большое, ярко освещенное поле расстилалось передо мной. Я бежал по бурой стерне, падал на землю, метался из стороны в сторону среди разрывов. Осколки и пули жужжали в ушах. Пулеметы то и дело чертили пыльные строчки. Я знал, что в поле было много подразделений, но на поверхности земли никого не было видно. И мне показалось, словно остался на всем этом большом поле я один и именно в меня направлены все эти килограммы раскаленного металла. Забежал в плохонькое, наспех сооруженное укрытьице. Там сидели два связиста. Они подвинулись, освобождая мне место.

— Вот дают, собаки! — сказал один из связистов, со-

чувственно поглядывая на меня. — И как вы только добежали!..

Другой связист при нарастающем вое мин и снарядов втягивал голову в плечи и, сидя на корточках, слегка раскачивался из стороны в сторону. Казалось, он сильно трусит. Однако, как только порвалась связь, он, ни слова не говоря своему товарищу, легко выскочил из укрытия и побежал вдоль провода, пропуская его между пальцев. Он делал все это так спокойно и деловито, будто кто-то другой минуту назад втягивал голову в плечи и раскачивался из стороны в сторону, словно от резкой зубной боли.

Оставшийся в укрытии солдат посоветовал мне еще немного переждать. У меня не было времени: приказание было срочным, как и все бывает срочным во время боя. Я побежал по полю, прыгая через какие-то ямы и обломки, заранее примечая место, где можно было бы упасть и отдышаться. Моя шинель была вся в грязи, полы ее намокли и хлопали по ногам. Я снова бежал и падал, бежал и падал, ни о чем не думая, забыв обо всем, кроме того, что надо лавировать среди разрывов, пригибаться и во что бы то ни стало выполнить приказание.

Впереди показался ход сообщения. Я прыгнул в него и через пять минут был в Костином взводе. Костя и сухощавый младший сержант, стоя на коленях, возились с вышедшим из строя станковым пулеметом. Дементьев мельком глянул на меня и произнес равнодушно:

— А, Костромин! Тут у нас жарковато...

Я вынул из полевой сумки таблицу сигналов для вызова артогня и протянул ее Косте. Он взял бумагу, задержал взгляд на моих пальцах, потом поднял голову.

Это была тяжелая для меня минута.

— Человек — это звучит гордо, — произнес Костя горьковские слова.

Он проговорил их, эти слова, с беспощадной холодной иронией, расстегнул шинель, вынул из кармана гимнастерки небольшое, круглое, в яркой зеленой оправе зеркальце и поднес к моему лицу. Если бы я увидел усталое, измученное лицо! Нет, на меня смотрело искаженное страхом лицо — чужое, отвратительное, красное и потное; на лбу и висках вздулись синие жилки, налитые кровью глаза блуждали, губы дрожали, нижняя челюсть против воли то и дело стучала о верхнюю.

Сухощавый младший сержант, обернувшись, переведя взгляд с Дементьева на меня, ухмыльнулся и, вставляя ленту в приемник, замурлыкал, а потом запел какую-то частушку.

Дементьев что-то строго сказал младшему сержанту. А я... я медленно пошел по ходу сообщения. Надо было бы пригибаться — гитлеровцы поливали нашу оборону пулеметным огнем, но я шел во весь рост.

Молодой, почти еще не обстрелянный офицер, я и до того дня честно выполнял свой воинский долг. Меня нельзя было упрекнуть в трусости, в желании спрятаться за спину товарищей, уклониться от опасности. Только ведь офицер обязан во всем подавать пример своим подчиненным и не имеет права показывать свою слабость, малодушие. Я стал ненавидеть страх, как подлое, низкое чувство. Будто порвалась какая-то невидимая глазом ниточка, которая преграждала мне дорогу вперед, к мужественному пониманию жизни, к тому, чтобы стать сильным человеком и художником, до конца преданным настоящему, правдивому искусству.

Костя помог мне, сам того не подозревая. И через пять или шесть дней я отблагодарил его. Гитлеровцы перешли в наступление. Все их атаки были отбиты. Лишь на одном участке они на тридцать или сорок метров потеснили наши подразделения и блокировали блиндаж, в котором находился Костя.

У Дементьева была радиосвязь со штабом. Он мог попросить разрешения отойти в тыл, однако не бросил блиндаж и продолжал обороняться.

Блиндаж этот был отбит у гитлеровцев и достался ценой немалых потерь. И Костя не мог бросить его. Он оборонял блиндаж от полудня до вечерних сумерек, до тех пор, пока немцы не зашли по ходу сообщения в тыл.

Костя и его подчиненные знали, что немцы потеснили наши подразделения лишь на одном участке, что на соседних участках наши части отбросили врага и продвинулись вперед. Помощь должна была подоспеть. Боеприпасы заканчивались, в магазинах автоматов оставалось по десятку патронов, положение становилось безвыходным.

Фашисты, взобравшиеся на перекрытие блиндажа и укрывшиеся в ходе сообщения, выкрикивали что-то.

И Костя, и сержант, и раненый солдат поняли, что они предлагают сдаваться.

— Вызываю на нас артиллерию!.. Других предложений нет? — строго спросил Костя.

— Нет, — хрипло ответил сержант.

— Нет, — твердо, как клятву, повторил солдат.

У людей, осажденных в блиндаже, не было возможности подойти друг к другу, пожать руки, сказать последнее слово, важное и значительное. Они обменялись взглядами, и взгляды эти сказали им больше, чем могут выразить слова.

В то самое время, когда Костя вызвал огонь на себя, мы пошли в контратаку. В решительную минуту нам сообщили о трех смельчаках. Это придало силы. Я застрелил из автомата двух гитлеровцев и первым вбежал в блиндаж. Мы спасли всех троих. Спасли и Костиного любимца — подбитого лопоухого щенка.

— Спасибо, Костромин!.. Я раньше почему-то думал, что ты не такой... — сказал мне Костя.

Потом мы сидели на нарах все в том же блиндаже, ели консервы, и Костя рассказывал, как удалось им удержаться и о чем он думал, когда ему показалось, что выхода нет. Рыжий щенок прыгал на трех лапах у наших ног, тихонько повизгивал, выпрашивая подачки...

О последних минутах Кости я ничего не могу сообщить. Месяца через два я был ранен, меня эвакуировали в тыл. Только после войны я услышал от однополчан, что он случайно на дороге, во время марша, погиб от осколка бомбы...

* * *

Надежда Дементьева подняла голову. В глазах ее блестели слезы.

— Я ничего не сказала о себе. Мы с Костей были знакомы давно, со школьных лет. И давно любили друг друга. В сорок втором году он проездом был в Москве. Мы поженились. А теперь у меня растет наш сын — маленький Костя. Он, кажется, похож на отца... — Она вынула из сумочки и положила на стол, рядом с этюдами, маленькую карточку.

В глубокой задумчивости все трое молча склонились над столом. Отважный младший лейтенант, суровое, передернутое болью лицо раненого солдата, грубоватый,

узкоплечий и узкоглазый сержант — эти люди смотрели с пожелтевших листов бумаги и кусков полотна. А рядом, с карточки, улыбался вихрастый мальчуган.

Стали прощаться.

— Приходите к нам! И возьмите с собой вашего мальчика, — пригласила жена художника.

— Благодарю! Как бы мне хотелось, чтобы он был таким же, как его отец.

— А каким же еще он может быть? — задумчиво произнес художник.

Дверь за гостьей захлопнулась. Шаги ее несколько мгновений слышались на лестнице...

ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ ИЗ ЛЕСА

Огневка бежала по лесу. Последнее время ей худо жилось, и, если б не лисята, она непременно ушла бы из этого прежде тихого и богатого дичью, а теперь опаленного огнем, заполненного шорохами и лязгом металла леса. Но надо было кормить маленьких лисят, и, повинуясь материнскому инстинкту, огневка не уходила, хотя добывать пищу с каждым днем становилось все труднее.

На краю полянки огневка остановилась, чтобы обнюхать ямку с примятыми бурыми листьями. И в этот момент на опушку выскочил крупный заяц-русак. Увидев лису, он скакнул в сторону. Огневка погналась было за ним, но в чаще, около высокой разлапистой ели, ее вспугнули человеческие глаза. Она очень боялась людей и потому, бросив зайца, стала поспешно уходить от страшных для нее человеческих глаз.

Человек без всякого интереса посмотрел ей вдогонку и устало сел под елью, на кучу хвороста. Он был в солдатской форме, с вещевым мешком за спиной и самозарядной винтовкой. Поставив на землю винтовку, солдат развязал мешок, вынул кусок черного хлеба и стал есть.

Солдату не было решительно никакого дела до лисы и зайца. Ему надо было срочно принять хотя бы предварительное решение. Но вид зайца и лисы словно бы встряхнул его...

* * *

Солдат Александр Маркин после ранения четыре месяца провел в госпитале. Потом был выписан и зачислен в отправляющуюся на фронт часть.

В эшелоне он сразу же сдружился с ребятами из взвода разведки. Ребята ему понравились, веселые и бывалые, с такими не пропадешь. Время было трудное — начало

зимы сорок второго года, но Маркин и его новые товарищи не теряли бодрости духа. Они ехали воевать, и в глубине души каждый был уверен, что за черными днями наступят светлые.

Пели, толковали по душам, балагурили, смотрели в полураскрытую дверь, на припорошенную первым снегом равнину, на приветливые дымки над избами. А когда Коля Быстров снимал с нар свою гармошку, такого давали трепака, что не слышно было ни стука колес, ни паровозных гудков.

Потом Маркин заволновался. Разумеется, никто не говорил, да и не мог сказать солдатам, на какой участок фронта отправляется эшелон. Только после того, как эшелон почти целые сутки простоял вблизи Москвы, на Окружной дороге, и двинулся дальше, Маркину стало ясно, что ему не миновать родного дома.

До войны он жил в поселке, раскинувшемся вокруг крупного железнодорожного узла. Работал он шофером на грузовой машине. В поселке жил отец Маркина — старый железнодорожник, а еще жила девушка, с которой он прежде очень дружил и переписывался все время, пока был на фронте и в госпитале.

Да, эшелон теперь уже никуда не мог свернуть, и Маркин неминуемо будет проезжать мимо дома. Он сказал об этом командиру отделения, вислоусому кубанцу Дмитриенко. Тот сообщил взводному, младшему лейтенанту Федорову, молоденькому, только что из военного училища офицеру. И Федоров обещал Маркину предоставить возможность повидаться с родными.

На железнодорожный узел поезд прибыл поздним вечером. Младший лейтенант Федоров пошел вместе с Маркиным к военному коменданту. Выяснилось, что эшелон простоит не менее трех часов. И он отпустил Маркина.

Вот он уже подходит к дому. Постучал. Узнал шаги отца и подумал, что походка у отца стала иная, шаркающая и медлительная. В сенях было совсем темно, и все же отец разглядел его, заплакал, начал целовать и никак не мог оторваться. Маркин почувствовал, что у него в гортани застрял горячий комок, с усилием сдержался. В комнате горела какая-то плошка и стоял полумрак. Однако Маркин сразу увидел, что отец очень постарел. Раньше у него были темные с проседью волосы, теперь

они совсем поседели. Побелели и обкуренные усы. Лицо избороздили морщины, шея словно бы вытянулась, похудела.

Было прохладно, и отец домовничал в стареньком полушубке и стоптанных сивых валенках.

Они сели рядом на кровати, и отец накинул на его плечи полу своего полушубка. Говорили обо всем сразу: о войне, о том, что неминуем скорый просвет в тучах, вспоминали покойную мать, она умерла за год до войны, семейных знакомых и родных.

Потом отец поставил на стол бутылку водки, принес хлеба, луку, квашеной капусты, нарезал густо посоленного желтого сала.

Они съели по нескольку луковиц, сала и хлеба. Пить не стали. Не хотелось водки ни отцу, ни сыну.

При прощании старик опять заплакал. Он сунул в карман сына бутылку, завернул сала и остановился посреди комнаты, жалобно глядя на него. Тот взял его руку, прижался к ней щекой.

— Не провожай, батя... мне тут к знакомым надо...

Они было вышли на крыльцо. Потом отец вспомнил, что перед прощанием положено минуту посидеть молча. Вернулись в комнату, присели — сын на кровать, а отец на низенькую скамеечку, около печки.

— Дожить бы, — выговорил отец, и было ясно, что мечтает он дожить до того дня, когда окончится война и сын вернется.

Слова отца резанули Маркина по сердцу, ему стало жалко этого родного, старого и одинокого человека. Он в последний раз обнял его и, не удержавшись, всхлипнул. Затем низко поклонился отцу, сбежал с крыльца и пошел по улице, гулко стуча своими кованными железом сапогами по мерзлой земле.

На окраине поселка он постучался в дверь дома, где жила Катя. Ему открыли не сразу, спрашивали кто, о чем-то шептались в сенцах. Маркин почувствовал недоброе. Но об этом подумал словно бы вскользь, главные его мысли по-прежнему были дома, у отца, и поэтому он не взволновался, а только насторожился.

Дверь открыли. Он прошел мимо молчаливо посторонившейся Пелагеи Сергеевны, матери Кати.

Вошел в комнату и увидел на лавке, рядом с Катей, какого-то парня в расстегнутой железнодорожной ту-

журке. В глазах Кати были растерянность, страх, удивление. Парень в железнодорожной форме смотрел на него с интересом, а может быть, даже с сочувствием. «Хорошо, что все это открылось сразу, — подумал Маркин, — теперь она не сможет меня обманывать».

Маркин обошел всех, поздоровался за руку, не поднимая глаз, сел рядом с железнодорожником, полез в карман за табаком. Рука ощутила холодок. Он вспомнил, что отец при прощании сунул ему в карман пол-литра, вынул бутылку и поставил на стол.

— Со встречей, значит, за счастливую жизнь... А я на фронт еду, и вышла мне возможность знакомых повидать, — нескладно заговорил он, стараясь не глядеть на Катю.

В прежние времена очень нравилась ему Катя. Статная, полногрудая, румяная, она не могла не нравиться. У нее были зеленоватые глаза, длинные темные ресницы, узенькие закругленные брови и маленький, с едва приметной курносинкой нос. На лице ее были еле заметные веснушки; они не портили, а напротив, шли ей, делали лицо шаловливым и задорным. Сейчас она сидела потерянная, испуганная и старалась поймать его взгляд.

— Ты б нам, хозяйка, стаканов, что ли, поставила, — хрипло проговорил он, дернув плечом в направлении стоящей среди комнаты Пелагеи Сергеевны. Прежде он называл ее Пелагеей Сергеевной и на «вы», теперь все это не имело значения.

А парень в железнодорожной форме смотрел на него безо всякой враждебности, и сам Маркин подавил в себе поднимающуюся против него злобу. «Кто знает, может, он и знать-то не знал и слыхом не слыхивал про меня».

Пелагея Сергеевна поставила на стол четыре стакана, и Маркин разлил водку, стараясь наливать точно поровну. Никто не брал первым свой стакан, и Маркин грубовато предложил:

— Ну берите... чего там...

Он чокнулся с железнодорожником, потом с Пелагеей Сергеевной и, наконец, так и не подняв на нее взгляда, с Катей.

Пелагея Сергеевна стала было жеманиться, говорить, что ей много, но Маркин угрюмо буркнул:

— Ты не того... не пыли... Пей молча... Без суеты, говорю, пей.

Пелагея Сергеевна удивленно глянула на него, и все выпили.

Маркин поднялся, застегнул шинель, не торопясь пожал руку железнодорожнику и Кате, кивнул хозяйке и пошел к двери.

— Ну, прощайте, — на ходу проговорил он.

Все трое молча смотрели ему вслед. Потом Катя вскрикнула, побежала за ним. Она догнала его в сенцах, ухватилась за руку и часто, взволнованно заговорила что-то. Маркин угрюмо отстранил ее и сурово сказал:

— Ни к чему все это...

Он шел по затвердевшей земле, прислушиваясь к стуку своих сапог, а Катя стояла на крыльце. Он ощущал ее взгляд на своей спине.

Дважды позвала:

— Саша!.. Саша!..

Он не обернулся.

Наверное, если бы Маркин поторопился, он бы еще успел в свой эшелон. Но он шел очень медленно, все еще прислушиваясь, как стучат сапоги, и стараясь успокоиться.

Гудок паровоза вывел его из задумчивости. Когда он взбежал на перрон, состав уже отошел далеко, виднелся лишь красный фонарь на последнем вагоне.

И вот новое испытание. Отстал от эшелона!

Военный комендант, пожилой капитан, жестоко разругал его, потом поговорил с кем-то по телефону, велел ехать на площадке подготовленного к отправке нового состава.

Свой эшелон он догнал через тридцать или сорок минут на полустанке, где уже началась разгрузка. Командир отделения, сержант Дмитриенко, увидев Маркина, не смог скрыть радости. Он наскоро расспросил его о причинах опоздания, и Маркин честно все рассказал. Тогда отделенный повел его к командиру взвода, и Маркин слышал, как он объяснял младшему лейтенанту:

— В расстроенных чувствах вернулся, да и догнать сумел в самое, можно сказать, короткое время.

— Мне недисциплинированные солдаты не нужны. На вас будет наложено взыскание, — пообещал Федоров, но в тоне, которым он говорил все это, отчетливо чувствовалось, что командир взвода, как и командир отделения, доволен тем, что солдат так быстро отыскался.

А через два дня, когда часть подошла к линии фронта и стала готовиться к занятию участка обороны, Маркина вместе с сержантом Дмитриенко послали в разведку. Перед ними была поставлена задача — уточнить передний край противника. Их сопровождал сержант из части, которая отходила на отдых.

Они выполнили задачу, а когда возвращались, на опушке леса наткнулись на вражескую засаду. Из густого кустарника выскочило шесть дюжих гитлеровцев. Маркин, Дмитриенко и сопровождавший их сержант укрылись было за соснами и стали отстреливаться, но с тыла, из лесу, прячась за деревьями, вплотную к ним подошла еще группа немцев. Перестрелка длилась недолго — три или четыре минуты. Автоматные очереди сразили обоих сержантов. Маркин успел только сорвать с Дмитриенко планшетку, где хранилась карта. После этого он почти в упор застрелил одного из немцев, метнулся в сторону и, пригнувшись, побежал в чащу. Бежал он очень долго, погоня не отставала. Фашисты, видимо, хотели взять «языка» — они стреляли понизу, стремясь ранить его в ноги, потом с ходу повели плотный автоматный огонь. Ни одна пуля не задела Маркина. Он пробежал несколько километров, а когда выстрелы смолкли, влез на высокую разлапистую ель — она надежно спрятала его, если бы даже погоня не сбилась со следа, — и стал осматривать окрестности, стараясь найти хоть какие-нибудь ориентиры, которые помогли бы ему разобраться в карте. Но увидел лишь море слегка заснеженных вершин. Тогда Маркин слез с дерева и хотел сесть на кучу слежавшегося хвороста. Быстрый шорох заставил его круто повернуться и поднять винтовку. Мимо него промчался заяц, за ним гналась лисица. Маркин облегченно вздохнул.

* * *

В госпитале он уже успел привыкнуть к тихой и размеренной жизни, а теперь события стали меняться в такой яростно-стремительной последовательности, в таком темпе, что в пору было хоть чуточку отдышаться. И чтобы трезво оценить положение, он усилием воли заставил себя хоть несколько минут не думать об убитых товарищах, о погоне и смертельной опасности, от которой еще не ушел. Маркин принялся думать об отце. Нет в нем преж-

них сил и бодрости. Возвращается с работы, сидит один в нетопленой комнате, думает о войне, о покойной жене, о сыне... А лет пятнадцать назад, мускулистый, шумливый, брал он сына с собой на речку, словно щенка кидал в воду, ласково поругивал. И ругательства у него были смешные и веселые. Сына, если у того что-нибудь не ладилось, он называл «прейскурант». Потом шли, увязая в песке, повязав головы рубашками, незаметно от хозяев дразнили привязанных за частоколами цепных собак. А мать, в ярко-красном с крапинками ситцевом платье, босая, стояла на пороге, смотрела на них любовно, сажала за стол обедать, угощала горячими пышками... Ушло все это, невозвратно ушло...

И вот Катя... Сколько было говорено слов!.. И кто их только придумал, эти слова, если они могут быть враньем? Зеленые глаза, которые он так любил, оказались бесстыжими глазами, теперь они смотрят на того железнодорожника. А может, они обманут и железнодорожника?

Но очень скоро мысли Маркина вернулись к только что пережитому. Два сержанта, два тела на слегка запорошенной земле — Дмитриенко и сержант, которому поручили их сопровождать. У того сержанта было приятное лицо и распевный голос... Лицо у Дмитриенко было сильно разбито, страшно вспомнить... А тот сержант еще загребал руками землю... Все остальное пока можно было выкинуть из памяти, этого — нельзя.

Маркин завязал вещевой мешок, закинул на плечо винтовку и пошел через лес в неизвестность...

Солнце зашло, стало темнеть, а он все брел и брел, а когда лес превратился в сплошную черную стену, лег, подложив локоть под голову, и сразу же заснул.

Когда он проснулся, уже рассвело. Пронизывающе-холодный ветер шумел в вершинах деревьев, пересыпал мелкий колючий снег.

Маркин попробовал подняться. Ноги онемели, не гнулись. Руки тоже замерзли. Все же он владел ими. И он стал бить руками по бедрам, стараясь хоть немного согреться. Это ему удалось не раньше как минут через десять. Он поднялся и пошел к видневшемуся между деревьями просвету.

Просвет оказался опушкой леса, а дальше расстилалось поле. Солнце ярко освещало равнину. Вдоль опушки шла наезженная дорога. За дорогой виднелись неубранные

побуревшие овсы. Среди поля стояли две разваленные скирды, дальше — окутанные туманной дымкой редкие домики. Над ними вился дымок — там была деревня.

И хотя Маркин нигде не увидел людей, он почувствовал, что вокруг их много. Неясное движение угадывалось в деревне, за поворотом дороги слышался шум моторов, раздавались человеческие голоса.

Маркин укрылся за частым невысоким ельником и стал ждать. На дороге показалась автоколонна. Тяжелые грузовики были загружены снарядами. На ящиках сидели солдаты. По тому, как они беспечно вели себя, Маркин сообразил, что немцы чувствуют себя здесь в безопасности.

Дорога снова опустела.

Маркин распахнул шинель и, прикрывшись ее полой, развернул карту. Деревня в лощине, по-видимому, называлась Крутышки.

Поблизости находится село Рыкалово, где-то за ним проходит линия фронта. Всего до переднего края по прямой около десяти километров.

Надо было уходить обратно в лес и пробиваться к фронту. Другого выхода не было. Но он медлил. В ельнике со стороны дороги его увидеть было бы очень трудно, и он решил, что можно побыть здесь еще некоторое время.

За поворотом дороги снова послышался нарастающий гул моторов. Это полз танк, выкрашенный в белую краску. Танк остановился напротив ельника, в котором укрылся Маркин. Из люка выпрыгнули два танкиста. Через минуту за ними вылез и третий. Один из них вынул из планшета карту, и они стали что-то обсуждать, то и дело поглядывая в сторону деревни.

Маркин сунул в рот указательный палец, чтобы получше отогреть его. Он сделал это на всякий случай. Стрелять в немцев было бы гибелью для него. Второй раз, замерзшему до костей, ослабевшему от голода, от погони не уйти.

Затаив дыхание, он наблюдал за немцами, стараясь предугадать каждое их движение, чтобы быть ко всему готовым. Потом неожиданно, совсем против воли, снова вспомнил об отце. Плохо ему там одному в нетопленной комнате. Вспомнил о двух сержантах, молодом и пожилом, о которых в штабе скоро составят страшные бумаги.

Вспомнил и о Кате и вдруг, весь налившись злобой, еще не осознав, что делает, положил мокрый палец на спуск своей самозарядной винтовки.

Он бы, наверное, не выстрелил, если бы один из гитлеровцев не сделал несколько шагов в его сторону. Что хотел сделать немец — неизвестно. Просто он шагнул в сторону ельника, высматривая что-то в лесу. Маркин прицелился и выстрелил ему в грудь. Немец упал. После этого Маркин стал стрелять в двух других фашистов. Они попадали на землю, и он поочередно стрелял то в одного, то в другого, пока не кончились патроны.

В него ни разу не выстрелили.

Потом он вскочил на ноги и побежал в лес, на ходу вставляя в винтовку новую патронную коробку. Дорогу ему преградило поваленное дерево, и он остановился около него в нерешительности. Стрельбу на опушке леса услышали. В деревне кто-то бил железом о кусок рельса, слышались крики. А он стоял, поставив ногу на поваленное дерево, не обращая внимания на всю эту кутерьму, весь погруженный в свои мысли.

В лесу было спасение, но солдат нерешительно зашагал к опушке. Он задержался в ельнике, где только что лежал, зачем-то пересчитал валяющиеся за кустом стреляные гильзы, затем вышел на дорогу и, не обращая внимания на шум в деревне, стал рассматривать своих врагов. Два танкиста были убиты. Третий — с маленькими усиками, пожилой, с морщинистым лбом — сидел, широко раскинув ноги, и смотрел на остановившегося рядом с ним солдата, губы его беззвучно шевелились, правая рука застыла на рукоятке наполовину вынутого из кобуры пистолета. Маркин наклонился, взял из его руки пистолет, сунул в карман шинели и пошел к безмолвному танку.

* * *

Странное дело: в окрестных деревнях почти не было жителей, гитлеровцы выгнали их из прифронтовой зоны, оставалось лишь по нескольку стариков и старух, которых солдаты заставляли топить печи и ставить для них самовары. Но молва об этом рейде, содержащая подробности, которые трудно придумать, перешла линию фронта еще прежде, чем части Советской Армии сломали оборону противника и стали продвигаться вперед.

Сам Маркин рассказывал очень немногое, все его внимание было поглощено главным, и все второстепенное от него ускользнуло. Да и наблюдения его были ограничены узкой смотровой щелью.

Конечно, он имел представление о моторе, так как четыре года проработал шофером на грузовике. Правда также и то, что до ранения он служил в стрелковом батальоне, который входил в состав танковой бригады, и много раз наблюдал, как механики и водители ухаживали за своими машинами, и даже помогал им. Однако сам в тот день впервые забрался в танк. И больше того, когда впоследствии его спрашивали специалисты, какие действия он производил, он далеко не все мог толково объяснить. Его выручили смекалка, опыт шофера и подхлестывающая смертельная опасность.

Говорили, что он мог бы вести пулеметный огонь и тогда причинил бы гитлеровцам еще больший урон. Но это были пустые разговоры, потому что если бы он отвлекался от управления машиной, то, может быть, и не сумел бы благополучно вернуться к своим.

Так или иначе, но никто не мог отрицать, что солдат Маркин совершил геройский поступок.

Прыгнув в люк танка, Маркин думал не только о собственном спасении. Он задраил люк, завел мотор, сдвинул машину с места и повел ее к переднему краю. Достоверно известно, что он на бешеной скорости ворвался в деревню Крутышки. Белый танк давил гитлеровцев, разбивал грузовики, легковые автомашины, орудия и повозки. Со смехом передавали, будто на дорогу вышли четыре гуся, и Маркин притормозил, свернув в сторону, чтобы не задавить их. А затем с ходу врезался в крыльцо, на которое выскочили гитлеровские офицеры. Сам Маркин не отрицал этого, а только добавлял, что уступил гусям дорогу по шоферской привычке и что сделал это зря, потому что гусей тех гитлеровцы непременно сожрали.

* * *

Разумеется, когда танк, которым управлял Маркин, ворвался на наш передний край, его встретили сильным огнем. Никто же не мог догадаться, что им управляет свой.

Подбил танк младший лейтенант Федоров. Он выскочил из окопа боевого охранения и бросил под гусеницу

две вместе связанные противотанковые гранаты. Гусеница порвалась. Танк завертелся на месте, потом остановился. Открылся люк, и из него показалась порванная, мокрая от пота нательная рубаха. Это была просто случайность, что именно Федоров подбил танк и первым встретил солдата из своего подразделения.

Не мудрено, что, когда Маркин, обнаженный до пояса, вылез из танка и, не в силах стоять, свалился на землю, его сперва не узнали. Оказалось, что в последнюю перед взрывом минуту он увидел, что к гусеницам ползет Федоров, узнал его и решил, что раздавил своего командира. Именно из-за этого он и лишился сознания, хотя, конечно, тут имело значение и все пережитое им.

Гитлеровцы усилили артиллерийский огонь по нашему переднему краю, и Маркина, укутав в шинель, оттащили в укрытие. Когда солдата привели в себя и он узнал наклонившегося над ним младшего лейтенанта Федорова, то заплакал от радости. А Федоров никак не мог понять, в чем дело.

— Ну что ты? Что ты? — спрашивал он.

Маркин объяснил, в чем дело. Оба они расчувствовались и поцеловались.

После этого Маркин рассказал о гибели двух сержантов, и это омрачило радость.

Маркина накормили, переодели и оставили одного на нарах в землянке. Он очень скоро заснул.

— Просто я, ребята, был тогда в расстроенных чувствах. Всего и не понимал, что делал,— впоследствии говорил он товарищам в ответ на расспросы.

Но тут он был не прав. Если бы он не понимал, что делает, то он бы никак не мог раздавить гусеницами столько гитлеровцев и добраться до своих. Все-таки он очень смелый парень. Иначе бы он, после того как уложил танкистов, побежал в лес и ни за что не вышел бы из лесу на дорогу.

ПРОЩАНИЕ С ВИНТОВКОЙ

Ветер пригибал к земле придорожные деревья, кидал на непросохший асфальт едва лишь тронутые желтизной, силой сорванные с веток листья. Это был порывистый, буйный ветер. Гвардии генерал-майор Ушаков по сгибавшимся веткам определил, что дует он с северо-запада, и уловил легкий запах водорослей, морской воды и сжатых хлебов. К ночи ветер станет еще сильнее. Он будет шуметь между корпусами военного городка, как в ущелье.

Генерал опустил окно. Струя свежего воздуха ворвалась в автомобиль, за задним сиденьем зашуршали газеты.

Шофер резко затормозил перед девушкой, перегонявшей через шоссе бурую, заляпанную грязью корову. Генерал усмешливо спросил шофера:

— Засмотрелся?

— Корова ж, товарищ гвардии генерал... Фактор внезапности,— оправдался шофер рядовой Бардин.

— Ну, ну.— Генерал не любил, когда люди щеголяют ученостью и некстати употребляют серьезные выражения.— С каких это пор коровы красные юбки стали носить и перманенты закручивать?

По обеим сторонам шоссе замелькали дома поселка. На окраине его виднелась полуразрушенная древняя часовня. Она была очень хороша, эта часовня, казавшаяся совсем игрушечной и невесомой, и генерал всегда смотрел на нее, проезжая мимо.

Потом автомашина въехала в ворота военного городка. Генерал кивнул приветствовавшим его часовым и прошел к себе. Около письменного стола он остановился и быстрыми привычными движениями стал разглаживать левый бок. В это место он когда-то был ранен, и массаж иногда помогал, сбивал нахлынувшую боль.

На столе, около чернильного прибора, лежало несколько пакетов. Покончив с массажем, он взял один из них — с сургучными печатями. В письме говорилось, что его отставка принята и что он должен сдать дела своему заместителю. Генерал прочитал письмо дважды. Письмо обрадовало его: врачи давно уже настоятельно требовали его ухода со службы, да и сам он чувствовал, что сил у него остается немного и надо сберечь их для задуманной книги о некоторых методах разведки во второй мировой войне. Но, подумав, что он уже стар и что с армией надо проститься, генерал вздохнул.

Второе письмо было от снохи. Сын, конструктор, редко писал отцу, но со снохой Таней генерал переписывался регулярно. Тане было двадцать семь лет, она не работала и ничем, кроме семьи, не интересовалась, но у нее был талант домовитости, гостеприимства и воспитания детей. Только так это и можно было назвать. Она умела варить варенье, создавать уют, вышивать и быть нужной всем близким родственникам. Генерал любил сноху и полагал, что такие, как она, женщины тоже нужны и что нелепо винить их за излишнюю женственность и приверженность к дому.

В тот же конверт был вложен вчетверо сложенный клетчатый листок с посланием внука Костика. Это были не каракули, но еще и не вполне отчетливые буквы, а так что-то среднее между ними.

«Дедушка, а когда ты приедешь? — писал внук.— А у нас все по-старому, только у Арго щенята. А Сережка поймал ужа — большого и с желтым пузом. Мама говорит, что у ужа не пузо, а живот. Ведь живот у людей, а у ужа пузо. Верно, дедушка? Я веду себя хорошо и шалю только немножко. Скорее приезжай, а то мы уедем с дачи и нам не придется половить рыбу».

Генерал представил, как Костик, высунув вбок язык и болтая ногой, сочинял это послание, и, невольно улыбаясь, принялся читать служебные бумаги.

Если бы в это время кто-нибудь вошел в кабинет и посмотрел на генерала, то непременно удивился бы. Генерал читал и подписывал серьезные служебные бумаги, а на изборожденном глубокими морщинами лице его блуждала добрая и безмятежная улыбка. С такой улыбкой старые люди играют с внуками. Генерал забыл погасить ее.

Одну из бумаг генерал прочитал особенно внимательно. Это была докладная записка начальника артснабжения о том, что дивизия полностью оснащена новыми видами вооружения и что винтовки трехлинейные образца 1891—1930 годов надлежит сдать в склад. Генерал написал на бумаге «к исполнению» и, грузно ступая по пестрому ковру, подошел к окну.

Сгущались сумерки. По улице городка проходила рота. Солдаты возвращались с занятий. Около военторга стояли несколько женщин. Они смотрели на солдат. Ветер дребезжал железной вывеской,— должно быть, она была плохо прикреплена к стене, эта вывеска.

Генерал смотрел в окно и думал, что очень скоро, через несколько дней, он простится с дивизией и поедет на отдых. Может быть, еще этой осенью ему удастся половить вместе с внуком рыбу. Он разыщет какую-нибудь старую тужурку, выберет тихую заводь. Они с Костиком закинут удочки и будут тихо сидеть на берегу. Потом поплавок нырнет, он вытащит головля или плотвичку, Костик будет шумно радоваться, а он смотреть на него и улыбаться. А на обратном пути Костик будет расспрашивать его о фашистах и недоуменно хмыкать: в его ребячьей голове никак не укладывается представление о войне. Мальчику кажется, что военная служба и война — это что-то вроде игры, и ему непонятно, как его дедушка всю жизнь, до старости, играл.

Да, не так-то это просто — проститься с армией. Сотни незримых ниточек соединяют его сердце с этим стриженым, жизнерадостным народом, который он учит и воспитывает и который зовется солдатами. И нелегко порвать эти ниточки. И если бы не прожитые годы, не последствия двух тяжких ранений и не болезнь сердца, грозящая любой из дней сделать последним в его жизни,— пришлось бы Костику еще лет пять подождать своего деда.

Потом генерал подумал, что его выход в отставку совпадает со снятием с вооружения винтовки — той самой винтовки, с которой русские люди дрались на полях Маньчжурии, наступали под Перемышлем, устанавливали Советскую власть и с которой его дивизия в минувшей войне, сопротивляясь и огрызаясь огнем, сначала пятилась до Калинина, а потом наступала до моря.

Вместо винтовки солдаты получили автоматическое оружие. И он уходит из армии в дни, когда последние

винтовки сдают на склад. Совпадение это было исполнено для генерала особого смысла и значения. Костик, наверное, увидит винтовку только в музее. И может быть, она покажется ему чудной и неуклюжей, как нам кажутся чудными и неуклюжими автомобили старых марок. Но тут же генерал отбросил это сравнение. Нет, это не так. Шашка и кинжал нам не кажутся неуклюжими, потому что они увенчали поиски тысячелетий, изобретательская и военная мысль в них доведена до совершенства. В них нет ничего лишнего, они прочны и надежны. Проще, легче и грознее нельзя придумать холодного оружия. Так и винтовка ознаменовала столетние поиски совершенного огнестрельного одиночного оружия. И в музеи она перейдет как образец достигнутого совершенства. И поэтому даже в музеях на нее будут смотреть с интересом и уважением.

* * *

Поздним вечером к генералу пришел его давний друг, начальник санитарной службы полковник Ефим Васильевич Семиреченский — полный, с бритой крупной головой, в роговых очках. В руке он держал какой-то сверток. Ефим Васильевич был ветеран и добровольный архивариус дивизии. С давних пор он собирал все о боевом пути дивизии: фронтовые газеты, фотографии, карты с нанесенной на них обстановкой, окопные солдатские поделки из плексигласа и стреляных гильз, записки и дневники.

— Дождались, Петр Николаевич? — спросил полковник, и в тоне, с которым он произнес эти слова, явственно прозвучали и радость по поводу того, что старый генерал наконец отдохнет, и сочувствие, ибо он хорошо знал, какое место занимает дивизия в душе старого генерала.

— Дождался,— просто и сухо ответил генерал, и по тону его полковник понял, что генерал не хочет говорить с ним на эту тему.

— И винтовочки сдаем? Верно это? — проверил справедливость дошедших до него слухов полковник.

— Сдаем, Ефим Васильевич,— подтвердил генерал.

— Что ж, значит, пора... А я, признаться, в своем хламе копался, нашел один любопытный предмет...— И с этими словами он положил на стол завернутый в газету «любопытный предмет».

Генерал развернул газету. Это была ружейная грана-

та с отвернутым взрывателем. Вместо взрывчатки в ней лежала свернутая трубочкой выгоревшая плотная бумага. Генерал развернул ее. И если убрать из записки не нужные для печати выражения, то написано было так:

«Всем говорим: ушаковцам слабо́ накрыть дзот и снять чертовых пулеметчиков. Все ругают вас, ушаковцев, а особливо ваших артиллеристов, смеются над вами, говорят, что вы не те парни, не умеете воевать, а на товарищей вам наплевать.

Пулеметчики с кургана вчера ранили двух, а сегодня убили одного нашего бойца.

Скорой переправы не ждите.

Саперы с того берега».

Генерал Ушаков с недоумевающим лицом рассматривал гранату и вложенную в нее записку. За что ругали его солдат? Когда это было? Память выхватывала что-то близкое, находила какие-то объяснения — и тут же теряла.

— Не помните?

— Нет,— признался генерал.

— Большие Холмы... Дзот на кургане... Еще армейские саперы переправу наводили...

Генерал встал, заходил по комнате. Глаза его заблестели молодо, остро: нет для старого солдата большей радости, как вспоминать подробности былых походов.

— Ну, ну...

— Ну, саперы на противоположном берегу реки несли потери и по-солдатски подначивали наших ребят.

И генерал сообразил, в чем дело. Словно бы где-то в дебрях сознания ярким светом зажглась лампочка и осветила давно забытое. Это был небольшой и ничем особенно не примечательный эпизод войны.

...Осенью сорок второго года дивизия, оторвавшись от соседей, заняла оборону на крутом изгибе реки. На противоположном берегу, занятом противником, возвышался огромный песчаный курган. Напротив вторых эшелонов дивизии, вблизи от своего переднего края, строил переправу армейский саперный батальон.

С кургана по работающим саперам то и дело открывали огонь вражеские пулеметы. Наша артиллерия обстреливала курган, но дзот был неуязвим — на следующий же день из него снова начинали вести огонь пулеметы, и наблюдатели сообщали, что он целехонек.

Припомнил генерал и то, что разгадал секрет этого дзота разведчик по фамилии Дементьев. Ночью, после очередного обстрела кургана, он переплыл реку и залег в прибрежных зарослях. И картина сразу же прояснилась: гитлеровцы, как только открывала огонь наша артиллерия, по траншее убегали в тыл. А ночью они собирали разметанные бревна, добавляли к ним свежие и за два-три часа сооружали в песчаном грунте новый дзот. Главное было в том, что вырыть в песке котлован можно было очень быстро.

И тогда простая винтовка помогла сделать то, что не могла сделать артиллерия: несколько стрелков пристраивались в окопах на высоте и внимательно наблюдали за тем, что делалось на кургане, стреляя по темным силуэтам и шороху шагов.

Так было покончено с дзотом. Саперы могли без помех закончить свою работу.

...По лицу генерала полковник видел, что тот восстанавливает в памяти все эти подробности, и не мешал ему.

— А Дементьев ведь и сейчас у нас?

— Как же, у нас. Старшина-сверхсрочник. Я его от ревматизма вылечил.

И два друга снова погрузились в воспоминания. Так часто у них бывало: они сидели на диване, откинувшись на подушки и глядя в разные стороны, и молчали — генерал, с его мужественной старческой красотой, с седыми волосами и волевыми темными, не утратившими блеска глазами, и полковник медицинской службы, с крупной бритой головой, короткой шеей, с большим лбом. Но мысль их, как это бывает у старых друзей, хорошо изучивших друг друга, работала в одном направлении, и бессловесно они продолжали начатый разговор.

— Ну, а при чём здесь винтовка? — неожиданно спросил генерал.

— Винтовочка ведь им помогла...

— Опасный путь — романтизировать уходящее,— нахмурился генерал.

— И не думаю романтизировать. Но послужила винтовочка нашему народу верой и правдой.

— Это верно,— согласился генерал.

И друзья снова задумались.

А потом полковник позвонил по телефону, чтобы из его квартиры принесли скрипку.

Полковник хорошо играл на скрипке, а генерал любил его слушать. Многие офицеры знали об их увлечении, но никто из них никогда не присутствовал на этих музыкальных вечерах.

— Полонез Огинского? — предложил полковник, прислонив к плечу скрипку.

— Хорошо,— ответил генерал.

И в комнате зазвучала мелодия вынужденного скорбного расставания и веры в будущее...

* * *

Ранним утром начал генерал объезд частей и подразделений. Он хотел проститься с солдатами и офицерами, пожелать им успехов, посмотреть на них в последний раз.

Шофер Виктор Бардин горестно крякнул.

— Ну, что крякаешь? — спросил его генерал.

— В относительности скорых перемен крякаю,— пояснил Виктор и поднял глаза к зеркальцу, чтобы увидеть в нем лицо генерала. Глаза его смотрели не по-обычному серьезно. Он знал об отставке генерала из разговоров.

Генерал отвернулся и принялся рассматривать неотчетливо выступающие из туманной мглы редкие домики под красной черепицей...

Поселок просыпался. Мычали коровы. Перекликались петухи. У колодцев женщины скрипели ведрами.

Видимо, это тягостная последняя неизбежность: на него будут кидать траурные взгляды, говорить почтительно-сочувственные слова. И генерал заранее знал, что все это будет раздражать его. Но следовало потерпеть. Ведь все эти люди считают его строгим начальником, но любят его, гордятся тем, что ими командует прославленный командир. И надо было дать им возможность высказать то, что они чувствуют.

Генерал ехал в полк, которым он командовал перед войной и в первые месяцы войны. Правда, ветеранов полка, служивших под его началом, было очень немного.

Среди них был теперешний командир полка подполковник Задубный. Задубный начал войну командиром взвода. Генерал помнил его совсем юным офицером. Тогда это был быстрый в движениях, расторопный, пытливый и очень смелый парень, но при разговоре с начальством красневший, точно девица. Теперь он ничем не напоминает того

парня. От его порывистости не осталось и следа — он давно уже приобрел степенность, подтянутость и особую грацию, свойственную кадровым военным.

Были в полку и еще ветераны, которых знал генерал, и среди них — старшина Дементьев, о котором генералу напомнил дивизионный врач. На фронте он прославился своими многими и очень полезными делами: выдумывал замысловатые ловушки для вражеских разведчиков, както ранней весной разработал целый проект осушки траншей и землянок с выпуском воды через заброшенную траншею в окопы противника, очень близко отстающие от нашего переднего края.

Правда, проект не был осуществлен, потому что полк пошел в наступление. Это его тогда особенно задела мрачная подначка саперов, и он переплыл реку, чтобы разгадать секрет неуловимого дзота.

На площади побатальонно был выстроен полк. В не рассеявшемся еще утреннем тумане застыли ряды. Тускло взблескивали пуговицы на шинелях офицеров. Было очень тихо, ухо отмечало лишь легкий волнообразный шум от дыхания многих сотен людей.

Грузно и твердо ступая, слегка взмахивая руками в такт шагам, подходил генерал к полку. Слова рапорта всколыхнули тишину. Генерал поздоровался с полком. Полк ответил бодро, торжественно. Затем голос старого генерала загремел над плацем.

— Сегодня вы сдадите последние винтовки. Винтовка честно послужила нашей армии. С винтовкой она покрыла себя неувядаемой славой. С винтовкой мы прошли большие, трудные дороги. С винтовкой мы честно послужили народу. Теперь народ доверил нам новое замечательное оружие... Но не только радоваться призываю я вас, а овладевать новой техникой...

...И еще я хотел сказать: пришла пора мне идти на отдых. Через несколько дней приедет новый командир дивизии. Помните о славном пути нашего гвардейского соединения, берегите и впредь его честь... Спасибо за службу, гвардейцы...

Единым дыханием, единой грудью отозвался полк. Эхо откатилось от кирпичных строений, глухо отозвалось вдали.

И снова тишина. Теперь даже и дыхания людей не было слышно. Батальоны застыли. И только широко рас-

крытые, удивленные глаза солдат говорили, что они ждут, что они хотят еще услышать голос своего генерала.

А генерал стоял неподвижно с каменным лицом. Только взгляд его медленно двигался по сомкнутым шеренгам.

Прозвучала команда. Чеканя шаг, уходили с плаца подразделения. Генерал провожал их взглядом.

Когда плац опустел, он сдвинулся с места. Храня суровое молчание, за ним тронулись командир полка, офицеры штаба.

Около приземистого кирпичного здания склада генерал остановился. Его внимание привлекла застывшая у раскрытой двери фигура старшины.

— Это вы, старшина Дементьев? — глухо спросил генерал.

— Точно так, я,— отозвался Дементьев. Это был круглолицый, не первой молодости человек. Веснушки с его лица бесследно исчезли. Глаза старшины блестели: ему приятно было, что генерал признал его, заговорил с ним.

К складу подходила рота.

Генерал кивнул старшине, чтобы тот занимался своим делом, и мягко спросил:

— Здоровье-то как?

— В полной форме, товарищ гвардии генерал,— отозвался старшина.

Один за другим подходили солдаты. Они вытягивались перед генералом и сдавали старшине винтовки. Старшина отмечал на листке бумаги номера сданного оружия.

— А помните Большие Холмы? Пришлось вам там поплавать...

— Разве забудешь такое, товарищ гвардии генерал,— ответил старшина, и по лицу его быстро промелькнула тень воспоминания.

— Наградили вас тогда?

— Точно так... Вы ж и вручали, товарищ гвардии генерал...

Генерал дождался, когда рота сдала все винтовки. Все до единой.

Потом он резко повернулся и пошел к автомашине. Командир полка подошел к нему.

— Навестите меня сегодня вечером... часов в восемь,— тихо сказал ему генерал.

Лицо генерала снова стало каменным.

Дул ветер, холодный, порывистый. Он доносил запахи созревшего хлеба, водорослей и горечь растворенной в воде соли.

Ветер слегка колыхал полы генеральской шинели.

Генерал шел через площадь, грузно и твердо ступая по асфальту.

Не оглянувшись, он сел в автомашину. Автомобиль сразу же тронулся.

А к складу подходила новая рота.

В РОДНОМ ГОРОДЕ

Решение выйти из автомобиля и провести хоть несколько часов в родном городе возникло внезапно. Около бензоколонки, где заправляли машину, Вихров встретил старушку, когда-то жившую за Волгой, а теперь переехавшую в центр города. Старушка узнала его. Из их короткого разговора и перечисления общих знакомых выяснилось, что в город вместе с мужем приехала Надя Матвеева. Впрочем, теперь ее фамилия, видимо, была иная, но для Вихрова это не имело значения. Для него она оставалась Надей Матвеевой.

— Издалека они, говорила Надюша, с самого что ни на есть краю света. Муж у нее военный, собой заметный мужчина. Тебя годков на пять постарше. Отпуск они тут проводят с дочуркой. Дочке лет десять... — рассказала Вихрову старушка.

Время не остановишь, старого не вернешь. Первым чувством Вихрова была горечь. Все прошло, все изменилось с тех пор, как они расстались и он потерял ее след. После войны он многое сделал, чтобы разыскать Надю. Но ему удалось — да и то далеко не сразу — лишь выяснить, что она вышла замуж за офицера-пограничника и тот увез ее куда-то далеко.

Еще много лет назад надо было бы забыть ее, выбросить из памяти, но он не смог этого сделать. И потому, наверное, остался один.

А может быть, все-таки постараться увидеть ее? Сказать, что не смог забыть ее и не нашел своего счастья?.. Сказать, чтобы услышать ответ или разглядеть его в глазах когда-то любимой женщины?

Временем Вихров располагал — он числился в отпуске и мог позволить себе задержаться в родном городе. Сложнее было со спутниками — он сам сманил их провести

воскресный день на охоте и теперь приходилось все ломать. Однако желание повидаться с Надей Матвеевой и неотчетливые надежды пересилили чувство неловкости перед друзьями, и он сообщил им о своем решении. Для его спутников это решение было нелепостью, капризом, баламутством. Больше того, по охотницким понятиям, это было равносильно предательству: не для того трое мужчин заранее задабривали несговорчивых, когда речь идет об охоте или рыбной ловле, жен, обсуждали маршрут, закупали полуторадневный паек и другой важный припас, чтобы четвертый — давний друг всех троих — бросил их на полпути, подчинившись мимолетному капризу.

Ружье, патронтащ и валенки Вихров оставил в автомобиле. Спутникам он сказал, что если не доберется до охотничьей базы с попутной машиной, то пусть на обратном пути, после охоты, заедут за ним.

Отвечая подчеркнутым равнодушием на молчаливое негодование товарищей, Вихров вышел из автомобиля и остановился на тротуаре. Сквозь запотевшие стекла спутники укоряюще смотрели на него. Сука Милка, пристроившись на заднем сидении, несколько раз гавкнула, и в лае ее Вихров уловил недоумение: не было еще в ее жизни случая, чтобы один из охотников за здорово живешь бросил компанию на полпути и закованный в камень город предпочел запорошенным озимям, где так славно гонять длинноухих зайцев.

В городе у Вихрова никого не осталось; родители умерли во время оккупации, знакомые — разъехались, позабылись. Но похожим на волнение было то чувство, которое испытал Вихров, когда отъехал автомобиль. Это был город, где прошли его детство и юность, где каждый камень что-то напоминал.

Вихров пошел по центральной улице, вглядываясь в лица прохожих, в дома, в вывески магазинов. Во время войны город был сильно разрушен, и центральная улица очень изменилась — дома на ней словно бы выросли. Это были новые дома, построенные на месте разрушенных. Встречались среди них и старые, и Вихров оглядывал их весело и чуть снисходительно, как давних знакомых. После войны он только один раз ненадолго заезжал в этот город да раза два, проезжая мимо, смотрел на него с перекинутого через рельсы перехода. Тогда он еще был в шинели и погонах, и вид разрушенных домов был для

него привычен. Не только в родном городе были развалины — в развалинах лежала вся Европа.

Центральная улица шла через весь город вдоль берега Волги и в прежние годы, когда Вихров не курил, он мог пройти ее с закрытыми глазами, угадывая перекрестки по запахам. Пахло лекарствами от корпусов больничного городка в начале улицы, их сменял запах свежей зелени и земли, источающийся от клумб в городском саду. Потом боковые улицы приносили запахи лошадиного пота, навоза и квашеной капусты — это тянулись огромные рыночные площади. Давно уже не торговали здесь скотом, но лошадиный запах за много веков вошел в землю, в стены домов и лабазов.

Не зимой можно было уловить все эти запахи, а летом. Да и Вихров уже много лет курил — он и июльским полднем не почувствовал бы запахов родного города. Он лишь вспоминал о них, поглядывая по сторонам.

Потом Вихров свернул в сквер, стараясь припомнить, что было прежде на его месте. Сквера до войны не существовало — в этом он готов был поручиться. За сквером заканчивался городской сад, уходивший под гору, к Волге. Над высоким глухим забором виднелись верхушки старых лип. Когда они цвели, воздух здесь был напоен звоном, — должно быть, сюда прилетали с окраинных пасек пчелы.

Укутанная снеговой шубой, Волга спала. Город не закоптил и не загрязнил ее зимнего наряда. Бесчисленные тропинки, исчертившие ее во всех направлениях, напоминали исполинскую паутину, сотканную неведомым пауком. Это сокращали путь и переходили Волгу напрямки жители Заволжья.

Вихров остановился на середине моста, около столбика со спасательным кругом, и стал смотреть вниз, раздумывая о том, что приходить к Наде домой не следует, а надо изыскать какой-нибудь другой способ свидеться с ней.

Вдали, за куполообразным зданием речного вокзала, виднелись башни и стены древнего монастыря, о котором упоминалось во всех учебниках русской истории. От монастыря на взгорок шла улица, застроенная одноэтажными, похожими один на другой домами. В одном из них остановилась Надя с мужем. А невдалеке был дом, где вырос Вихров.

Это была маленькая, ничем не приметная улица, углом подходившая к Волге. В начале ее была продовольственная палатка, в конце, на берегу речки, впадающей в Волгу, — керосиновая лавка. В гололедицу улица превращалась в двухскатную ледяную горку, по которой ходить было трудно, зато ребятишкам раздольно кататься на санках и коньках. Катались всегда поочередно — раз в одну сторону, к Волге, раз — в другую — к ее притоку. Летом улица зарастала травой. Трава пробивалась сквозь камни старой мостовой; на обочинах и в выбоинах рос конский щавель... В каждом волжском городке еще в недалеком прошлом была такая окраинная улочка. И разве забудешь ее, улицу своего детства!..

Вихров долго стоял, прислонившись к перилам, забывшись и наслаждаясь свежестью волжского воздуха. Чтобы вывести себя из состояния забытья, он потянулся за папиросой. И в ту же минуту увидел вдали, на тротуаре, какую-то женщину. Привычно разжигая папиросу, Вихров подумал, что, кажется, ему не придется искать случая увидеться с Надей. Она здесь, на мосту. То ли он узнал ее по походке, то ли сердце подсказало ему, что это именно она. Пальцы задрожали, и папироса зажглась не сразу. Стараясь поскорее унять эту неприятную дрожь, он оторвался от перил и стал посреди тротуара.

Да, это была Надя Матвеева. Годы изменили ее — не было прежней свежести в ее лице, она слегка пополнела, и все-таки лицо оставалось прежним, незабытым и дорогим.

Женщина приостановилась, вглядываясь в человека, который мешал ей пройти, потом негромко спросила:

— Петя?.. Это ты, Петя?

— Я, — кивнул головой Вихров, вглядываясь и ощущая затухшую было с годами боль и недоумение, что так внезапно увидел ее, не успев даже подготовиться к этому свиданию.

— Как ты здесь очутился? Приехал посмотреть на родные места? Верно, стало лучше, чем прежде, просто неузнаваемо лучше? — Она засыпала его вопросами и смотрела на него весело и открыто.

Вихрову показалось, что Надино лицо то надвигается на него, то отступает. Пальцы все еще дрожали. Он осторожно, взяв под локоть, подвел ее к перилам, сумрачно спросил:

— Совсем забыла меня?

Надя носком ботинка стала ссыпать вниз снег, забившийся в узор чугунных перил, и не сразу оторвалась от этого занятия. Потом ответила очень спокойно:

— Теперь уже глупо что-нибудь скрывать. Нет, не забыла. И когда-то ждала тебя. Целых пять лет ждала. А потом встретила Павла... Ты считаешь, что вправе в чем-нибудь упрекать меня?

— Не считаю, — угрюмо сознался Вихров.

— Почему ты не написал мне с фронта?

— Я попал в окружение... а потом был в плену... А когда освободили город, где ты была?

— Почти сразу же вернулась сюда.

— Я писал твоей матери — она не ответила.

— Мамы к тому времени не было, а я твоего письма не получала.

В чем же дело? Артиллерия разбила машину полевой почты, самолеты разбомбили поезд? Да разве вспомнишь теперь — столько пройдено дорог!

— А потом ты где была?

— Училась в Ленинграде. А когда была на последнем курсе, познакомилась с Павлом.

Опять этот Павел! Нехорошее, злое чувство заставило Вихрова плотно сжать зубы.

— Пойдем пройдемся, — предложил он.

На секунду в глазах Нади мелькнуло колебание.

— Может, зайдем к нам?

«К нам»... Нет, это его не устраивало.

— По улице немного пройдемся...

Она нерешительно отозвалась:

— Если совсем немного...

И вот они идут по центральной улице — женщина, в нарядном меховом пальто, слегка располневшая, но еще красивая, с подрумяненными морозом щеками, и высокий мужчина, с обветренным лицом.

Они проходят мимо городского сада. В субботний вечер здесь, на асфальтовой площадке, многолюдно и шумно.

Двадцать лет прошло с тех пор, как они виделись последний раз. С тех пор все переменилось, весь мир стал иным. Он воевал, потом учился, стал геологом, открыл несколько важных месторождений полезных ископаемых, много, очень много ездил по стране, защитил кандидат-

скую диссертацию. Он уже успел немало сделать, вот только личную свою судьбу решить не смог.

Вихров произносит какие-то малозначительные фразы, все еще собираясь с мыслями. Он не намерен торопиться, ему хочется все как следует осмыслить. Однако Надя уже торопится домой, ее ждут дочка и муж. Они круто поворачивают и идут к мосту через Волгу.

Скоротечен зимний день. Когда они перешли Волгу, уже совсем стемнело.

Около дома своей тетки Надя останавливается, испытующе смотрит на своего спутника, говорит:

— Может, ты все-таки зайдешь? Я тебя познакомлю с мужем.

Вихров эти слова и этот испытующий взгляд понимает так: «Если хочешь возобновить наше давнее знакомство, то познакомься с мужем, приди в дом, как друг... Иначе мы больше не увидимся».

Но он упрямо покачивает головой. Какое ему дело до ее мужа. Да и если бы не он, все бы могло быть иначе. Нет, он не намерен с ним знакомиться и быть его гостем, потому что... Потому что, может быть, он еще станет бороться за эту женщину, которая ему бесконечно дорога. У него было достаточно времени, чтобы убедиться в этом: двадцать лет.

— Я хочу только глянуть на твою дочурку. Подойти к окошку — и глянуть. Можно это?

Вихров хитрит: он прекрасно знает, что ни одна женщина не сможет отказать в этом. В действительности же не только ее дочку хочется ему увидеть, но и мужа.

Надя пожимает плечами.

— Через шторы ты ничего не увидишь... Ну, хорошо, я, когда войду, приоткрою штору... Прощай.

Вихров прислонился к забору и смотрит, как уходит от него подруга юности. Вот на крыльце она обернулась, помахала ему рукой. Он невесело кивнул ей в ответ. «Расскажет или не расскажет обо мне мужу? Кажется, расскажет... Ну и пусть», — рассеянно думает он, тихонько раскрывая узкую калитку в палисадник.

Неожиданно форточка открывается, штора ползет в сторону, и он видит просторную комнату. Прежде всего ему бросается в глаза Надя. На ее лице горделивая материнская улыбка. За столом сидит узкоплечая девчурка

и офицер-пограничник. Они играют в шахматы, и оба чему-то смеются.

Вихров вглядывается в его лицо, прищуривает глаза, трет рукой лоб и снова вглядывается... Офицер уже не улыбается, он смотрит на шахматы, обдумывает ход, большим и средним пальцем коротким движением разглаживая при этом брови. Лицо офицера только заставило Вихрова насторожиться, этот жест напомнил ему все. Он запомнил его, этот жест, еще с тех пор когда, ожидая приказания, всматривался в лицо этого человека, разглядывавшего топографическую военную карту.

Вихров вышел из палисадника, разыскал неподалеку запорошенную скамейку и припомнил все.

...Поздняя осень. Дождь моросит. Дует северный ветер. Он поднимает над шоссе блеклые листья, сгибает выбежавшие из леса на простор молодые деревца.

По шоссе уныло движется колонна военнопленных. Среди них младший сержант Петр Вихров. Его захватили вражеские лазутчики, когда он ночью вез на мотоциклете в штаб дивизии донесение, — перетянули лесную дорогу проволокой и ждали в кювете. Он не разглядел препятствия, наехал на него, не успел даже снять из-за плеч карабин, как ему скрутили руки. Однако другое, в той обстановке более важное, он все-таки сделал: на виду у гитлеровцев скомкал донесение и проглотил его. За это его тут же, обочь дороги, и позже, в штабе полка, долго и нещадно били, царапали штыком живот, угрожая вспороть его.

Месяц в лагере для военнопленных — страшная пора. Потом пленных повели куда-то на запад. Вели днем, по ночам останавливали около населенных пунктов, заставляли ложиться в грязь, на мокрую траву, на стылые камни мостовых.

Строить планы побега для Вихрова еще не приходилось: у него были отбиты легкие, и он к концу каждого перехода находил силы передвигать ноги только потому, что уделом отставшего была пуля в затылок.

Сопровождало колонну человек тридцать гитлеровцев — здоровенных, хорошо откормленных и поднаторевших на расправах.

В вечер, который весь, до мельчайших подробностей, вошел в память Вихрова, он чувствовал себя особенно паршиво: ныла грудь, мутило от голода,

Неожиданно с обеих сторон от шоссе раздалась стрельба, послышались крики. Конвойные заставили пленных лечь на шоссе. Завязалась длительная перестрелка. Наверное, военнопленных удалось бы всех до единого отбить, если бы на шоссе не показались фары грузовиков, как оказалось позже, с гитлеровскими солдатами. Секунды решали исход схватки.

Конвойные разбились на две группы. Одна из них перестреливалась с партизанами, другая — стреляла по каждому пленному, который делал хотя бы одно движение.

И тогда на шоссе выскочили несколько партизан и ринулись на конвой. Один из партизан, как видно командир, выбил из рук конвойного автомат, сильным ударом ноги сбил другого...

Ревели моторы приближающихся грузовиков...

Пленные, оправившись от неожиданности, стали разбегаться. Побежал и Вихров. По кочкам через кустарник он выбрался на мягкую пахоту и, увязнув, упал, обессиленный, тяжело дыша. Партизанский командир подбежал к нему, поднял на плечи. ...А через две недели, поправившись, Вихров был зачислен в бригадную разведку, которой командовал тот самый командир, лейтенант Тимашов, бывший пограничник, застава которого была смята гитлеровскими танками, и ушедший вместе с оставшимися в живых солдатами в партизанскую бригаду. Под командованием Тимашова Вихров воевал недолго. По радио Тимашову и еще нескольким партизанам приказали перейти линию фронта. В партизанскую бригаду Тимашов не вернулся. Впрочем, спустя несколько месяцев бригада соединилась с частями Советской Армии...

Сидя на скамейке под чьим-то темным окном, Вихров припомнил все, даже то, как хлюпала вода под ногами гитлеровцев, попрыгавших с грузовиков и прочесывающих лесок. Если бы не Тимашов, он, Вихров, наверняка бы погиб, потому что фашисты пристреливали всех, кто успел сбежать с шоссе и кого им удавалось обнаружить.

Вот его-то, Тимашова, и увидел в окно Вихров. Каких только неожиданных встреч не бывает в жизни!

...Поднявшись на ноги, Вихров пошел в сторону моста. Он пойдет в гостиницу, потребует ночлег, а завтра с рассветом на попутной машине доберется до охотничьей базы.

ПУТЬ ТВОИХ ПРЕДКОВ

Это краткое газетное сообщение заставило меня вспомнить все, о чем он рассказывал бессонной и беспокойной ночью в лесу, в трех километрах от станции Лычково. В газете было сказано, что четыре советских ученых выехали за границу на международную конференцию по физической химии. Среди них и был упомянут В. А. Литвинчук — тот самый Васька Литвинчук, с которым мы дожидались рассвета и откровенничали. Ошибки не могло быть: совпадали не только фамилия, имя, отчество, но и специальности — до войны Васька заканчивал химический факультет университета и уже тогда решил заниматься физической химией. Это был именно Васька Литвинчук, и он правильно тогда говорил, что если изменились условия, то и человеческий организм не будет по-старому отзываться на них. Он не сгинул, Васька, а прошел войну, преодолел свой недуг, стал ученым. Вот только не знаю, встретился ли он с той девушкой. Ее звали Любой, ту девушку, и она была красивой. Обстоятельства, разумеется, могли сложиться по-разному...

В прежние времена даже врачи, начиная разговор с больным, допытывались, нет ли у него каких-либо наследственных болезней, чем страдали и от чего умерли отец, мать, дед. Теперь врачи обходятся без этого. Если Васькины опасения не были лишены оснований, тогда надо признать, что в помощь ему пришли совсем новые условия. Впрочем, это спорное дело...

Незадолго до той ночи нам выдали зимнее обмундирование. За лето наши пилотки засалились и приобрели самый жалкий вид, гимнастерки выгорели и обтрепались. Новенькие цигейковые шапки мы надевали набекрень, и многие из нас слегка рисовались перед товарищами своим бравым видом.

Сейчас, спустя многие годы, я затрудняюсь определить, был ли Васька красив, выразительно ли было его лицо, — шинели и гимнастерки всех нас делали похожими друг на друга. Помню только, что говорил он тихо и медленно, растягивая гласные звуки. Помню также, что был он узкоплечий, худой, особой выносливостью не отличался, но в сдвинутой набекрень цигейковой шапке со звездой и в новом хрустящем снаряжении вид у него был бравый.

Мы знали, что вскоре предстоит наступление, и оно действительно началось. Использовать танки в лесистой и болотистой местности было невозможно, но нам тогда здорово помогла авиация. Самолеты все время висели над укреплениями неприятеля. Сначала налетели штурмовики, они промелькнули над лесом, поливая его пулеметным огнем и закидывая бомбами. Потом появились бомбардировщики...

После этого мы пошли в наступление и перебрались через железнодорожную насыпь. Гитлеровцы, завидя нас, отстреливаясь, стали выбегать из укреплений. Мы побежали к лесу. В лесу нас и застала ночь. Она надвинулась внезапно, эта осенняя, с моросящим дождем ночь, такая темная, что нельзя было рассмотреть ни деревья, ни друг друга, решительно ничего. Будто бы вплотную перед глазами возвышалась черная стена, и шагнуть вперед казалось невозможным.

Мы залегли среди деревьев и стали дожидаться рассвета. Идти дальше было невозможно. Нельзя было и разойтись по своим подразделениям и вообще передвигаться с места на место: своих легко было принять за врага, а врага — за своих.

Гитлеровцы были в выигрышном положении, мы, как об этом говорят на военном языке, вклинились в их оборону, и им проще было ориентироваться. Они беспрерывно обстреливали нас из пулеметов, минометов и автоматов. Пули взрывались, ударяясь о ветки, мины ломали сучья и грохотали не на земле, а сверху, наталкиваясь на стволы деревьев. Такой огонь не приносит большого урона, но сопровождается невероятным грохотом.

Мы заняли круговую оборону, потому что не знали, в каком положении застанет нас рассвет.

Одна из мин угодила на наш участок. И нам пришлось решать вопрос о праве человека на жизнь. В тех обстоя-

тельствах это был трудный вопрос. Должен признаться: я не смог разобраться в обстоятельствах, смолчал. Я лежал в неглубокой яме, прислушивался, потом сунул в рот указательный палец и сильно сжал его зубами. Мне хотелось прокричать какие-то правильные слова, и я не находил их. Поэтому я, зажмурившись, все сильнее сжимал зубами палец.

Дело в том, что прямым попаданием оторвало ноги у лежащего поодаль от нас солдата. К нему подбежал сержант Ефремов — я узнал его по голосу — и, вернувшись, обошел наши окопы, повторяя одно и то же:

— Обе ноги... Стало быть, надо ему помирать... Нет ему смысла маяться — помирать надо.

Ефремов не был бездушным человеком. Для такого решения были некоторые основания: отнести раненого в санитарный батальон или в санчасть могли два санитара. Но в кромешной тьме, не зная местности, наткнуться на гитлеровцев было проще, чем отыскать дорогу. Пришлось бы рисковать двумя жизнями из-за одной.

Но раненый хотел жить. И это свое желание он выражал единственным доступным ему способом — криком, страшным, надрывным, страстным.

Раненый кричал, но после слов Ефремова никто не решился подойти к нему. Все лежали на своих местах и молчали. Я грыз свой палец, наверное, и другие проделывали что-нибудь похожее.

Не знаю, откуда пришел Васька Литвинчук. Видимо, он был где-то невдалеке от нас. Я услышал треск кустарника, шаги, потом его голос:

— Человек помощи просит, а вы лежите как чурбаки!

Ефремов в третий или четвертый раз повторил:

— Обе ноги... Стало быть, надо ему помирать... Нет ему смысла маяться — помирать надо...

— А ты... почему ты за него решаешь?! — закричал на Ефремова Литвинчук. — Ты кто? Пророк? Пророк ты, сукин сын, или самый обычный младший сержант?!

— Самый обычный младший сержант, — отозвался озадаченный Ефремов.

На этом разговор закончился. Все почувствовали, что продолжение его непозволительно. Санитары, оказавшиеся среди нас, засуетились, шурша ветками, разложили носилки...

Я подозвал Литвинчука, и мы устроились рядом.

Стреляли по лесу все реже. Лишь ракеты то и дело освещали застывшие, поблескивающие мокрой кроной вершины деревьев. Стержни ракет падали в одном и том же месте, около нашей ямы, и некоторое время еще мертвенно светились. Казалось, это глаз какого-то дикого зверя, немигающий, зеленоватый, холодный, смотрит на нас.

Спать было нельзя. Гитлеровцы были рядом. В любую минуту и с любой стороны они могли накинуться на нас. Надо все время всматриваться в темноту, вслушиваться в лесные шорохи и держать указательный палец на спуске пулемета-пистолета.

— Кого это ранило?

— Не знаю фамилии. Из роты автоматчиков... Помнишь, который в Бологое от эшелона отстал...

— Нет, не помню, — отозвался я.

Хотелось хоть немного забыться. Положить голову на бруствер, в новой цигейковой шапке мягко... Можно опустить уши — тогда будет совсем хорошо. После трудного дня тело просило отдыха. Чтобы стряхнуть дремоту, я сказал:

— А ты правильно Ефремова отчитал...

— Правильно, говоришь? — после молчания переспросил Литвинчук, и я понял, что теперь уже он не уверен в этом.

— Правильно.

Дремота не оставляла, тяжелела голова, в ушах звенело.

— Расскажи что-нибудь... Про девушку расскажи, — заплетающимся языком попросил я.

Литвинчук отозвался не сразу. Низко склонившись ко дну ямы и накрывшись шинелью, закурил.

— Про себя я тебе расскажу... и про девушку... — наконец пообещал он. — Только это не для того, чтобы не спать. Это — серьезное.

Знакомы мы были мало и до этой ночи почти не разговаривали. Но мы выделили друг друга из числа других, запомнили. Еще до того как мы прибыли на передний край, на наш эшелон налетели «юнкерсы». Мы сбежали с насыпи и распластались рядом с ней в высокой траве, среди смолистых гвоздик. Бомбы терзали насыпь. Разрывы встряхивали нас, то приподнимая, то прижимая к земле. Потом, когда «юнкерсы» шли на новый заход, мы слышали протяжные гудки паровоза и безразличное ко

всему кваканье лягушек из зарослей камыша на дне балки. Снова сыпались бомбы. Литвинчук машинально с корнями вырывал гвоздики и мял их. Когда самолеты улетели, мы поднялись на насыпь и закурили. Мы выкурили одну папиросу на двоих, по-братски передавая ее из одной слегка подрагивающей руки в другую, и пошли к своим теплушкам, так и не обменявшись ни словом.

Должно быть, Литвинчук разоткровенничался потому, что нам пришлось думать о солдате с оторванными ногами, о том, есть ли смысл в попытке спасти его. Говорили только двое — Литвинчук и Ефремов, но это совсем не значит, что только они решали трудный вопрос. Его решали мы все, каждый из нас. Просто они высказали два возможных его решения, о которых раздумывали все. И это горестное происшествие, видимо, побудило его рассказать о себе.

— Ты знаешь, что такое наследственность?

Я ответил, как понимал. Но мой ответ не удовлетворил его.

— Это, понимаешь, передача по наследству сходных особенностей или болезней организма. А другие иначе определяют: это свойство организма однообразно отзываться на жизненные условия.

Поначалу мне показался неуместным этот разговор об особенностях организма. Громыхали мины, трещали ветки, рушились поверженные деревья, заливисто стучали пулеметы, взблескивали ракеты. Из памяти не уходило, что совсем немного народу осталось в наших подразделениях, что раненые еще до сумерек проторили стежку к санчасти, не в переносном, а в буквальном смысле политую кровью, что только сейчас унесли парня с оторванными ногами и что совсем неясно, чем встретит нас рассвет.

Но надо было отвлечься. Нет лучше разговора в такой тягостной обстановке, как о девушке. Слушая, и свою припомнишь, сравнишь, чтоб получше осмыслить, как это в жизни бывает. Но если Васька Литвинчук завел этот разговор, значит, он очень важен для него, пусть рассказывает.

* * *

...Он был сыном сельского учителя и вырос в селе, раскинувшемся на берегу воспетой Гоголем реки Псел.

Село было большое. Хаты то подступали к улицам, то прятались в вишневых садах. За селом стелились поля. Пшеница здесь вымахивала с человека. Перед уборкой, спелая, она звенела на ветру, как струны балалайки от прикосновения пальцев. Под стенами кукурузы в благодатной тени в жаркий день можно было и отдохнуть. Подсолнухи поворачивали свои золотые головы вслед за солнцем.

По другую сторону села, по крутому побережью Псла, на песчаных почвах лежали баштаны. А за рекой, на левобережье, простирались пески. Белые, как тополиный пух, редко поросшие красностволым лозняком, они не лежали спокойно, а пересыпались, то нагораживая бугры, из которых торчали вершины лозняка, то выравнивались. В песках находили древние монеты, наконечники стрел, обуглившиеся каркасы челнов, шлемы. Пересыпались пески, шептали про былое, временами показывали древние редкости, чтобы не забывали люди о славе предков, о сечи, о запорожской вольнице, о том, какой ценой заплачено за плодородные земли, за луговое приволье, за вишневые сады.

И только те белые пески напоминали о вольной воле. И ничто больше...

На потомков вольных казаков легло крепостное право. Село было разделено на две части: одна была отдана штабс-капитану Богаевскому, другой владела помещица Богаевская, сестра штабс-капитана.

Воистину: слава предков казачья, а жизнь потомков — собачья.

Первый из Литвинчуков, о ком сохранилась народная память, — Нечипор, попал в страшную турецкую неволю. Бежав из плена, стал он сподвижником Северина Наливайко, воевал за Украину. Жестоко израненный, вернулся домой и вскоре умер на родной земле.

Внук его, Порфирий Литвинчук, по преданию парень жизнерадостный, ладный и бандурист, собственность столбовой дворянки Богаевской, полюбил девушку по имени Оксана. Та девушка была собственностью штабс-капитана, с которым помещица пребывала во вражде. Истоки вражды — опять-таки по преданию — состояли в том, что погубил штабс-капитан своего однополчанина поручика Хлыбыщенко, жениха помещицы. В уездном городе после офицерской попойки вздумалось ему завести спор, что-де

не проедет поручик Хлыбыщенко на манер испанского тореадора на свирепом быке по кличке Облай от рыночной площади до домика веселой шинкарки Маруси, которая для утехи господ офицеров вечерами созывала к себе солдаток и отбившихся от дома молодых бабенок. Облая привели, прихлестнув ременной оборотью голову к передним ногам. Поручик добрался до Марусиной хаты, но в назначенном месте оказался не в живом виде, а в мертвом: разъяренная скотина, опрокинув плетень, а на него сбросив поручика, подняла офицера на рога и пригвоздила к стенке хаты, пронзив сердце.

Может, и простила бы помещица брату гибель жениха, если бы, терзаемый раскаянием и похмельем, не вздумал штабс-капитан оправдываться тем, что поручик теперь пребывает в раю, ибо непременно принял во внимание Иисус Христос, что хоть и по пьяному делу, но принял Хлыбыщенко тот же мученический венец, что и сын божий. Богохульства не стерпела помещица и до конца жизни расплачивалась с братом за постылое девичество. С тех пор окончательно ударилась в веру помещица и все земное стала признавать греховной суетой. А поэтому и не любила женить своих крепостных, советовала богу молиться, как она, грешная.

Сначала в ноги штабс-капитану поклонился Порфирий Литвинчук. Тот согласился Оксану выдать, если его сестра заменит Оксану на парубка или работящую дивчину. Помещица наотрез отказала.

На следующий год посватался к Оксане богатый мельник, вдовец пятидесяти двух лет. И родители насильно спровадили ее под венец.

А еще через два года, зимним вечером, кинулась Оксана с берега в Псел. В том месте под водой били ключи, и Псел не замерзал.

Закопали Оксану за кладбищем, на краю балочки, поросшей молодыми дубками...

Порфирий Литвинчук уже был женат, и народилось у него дите. Но прежнюю свою любовь не забыл и, потрясенный, частенько подолгу стоял на бугре, откуда кинулась Оксана в стылую воду.

А спустя недолгий срок вместе с крепостной девкой в сумерки возвращалась помещица из соседнего местечка, где задержалась у приятельницы. Тропинка шла берегом Псла. Перед обрывом девка поотстала. И наткнулась ба-

рыня на Порфирия. Стоял он на бугре и смотрел на дымящуюся испарениями воду. Увидев его лицо и подумав, что он поджидает ее, чтобы отомстить за самоубийцу, помещица закричала, повернулась, бросилась было бежать. Но, располневшая, не привыкшая к бегу, тут же споткнулась и покатилась вниз. У самой воды она уцепилась за куст и укрепилась ногами на ледовом припае. Помещица лежала на животе и беззвучно, как рыба, выброшенная из воды, открывала и закрывала рот. А на взгорке стоял ее раб и смотрел на нее. Потом он повернулся и пошел в село, не оказав своей госпоже помощи.

Помещица переломила ногу и вывихнула руку. Поправившись, горящая злобой, она съездила в уездный город и представила дело так, что сбросил ее крепостной с обрыва, дабы утопить и лишить жизни. У нее власть, ей и вера. В кандалах отвезли Литвинчука за Урал, в глухие, необжитые места.

А тот обрыв стали именовать Оксанин берег, и название это сохранилось до колхозных времен.

Сына Литвинчука взяла помещица в барский дом, чтобы воспитать последыша бунтаря в страхе божьем, в покорности и терпении.

Случилось так, что в тот самый день, наступивший через много лет после этих событий, когда в родное село с котомкой за плечами вернулся Порфирий Литвинчук, прибежали из барского дома и сообщили, что Грицко, сыну Порфирия, обозленная чем-то помещица плеснула в лицо горячего молока. А обозлена она была тем, что ремнем поучил мальчик любимого барыниного кота, нагадившего в комнате. Один глаз ему спасли, другого он лишился.

Если бы случилось это не в день, когда прибился к своей хате, стерпел бы Порфирий и это. И дорогой думал, что жить будет осторожно, кланяться пониже, говорить поменьше и потише. А как приключилось с сыном несчастье, стал всего бояться Порфирий Литвинчук — помещицы, соседей, приезжего начальства, случайных встречных. А от ожиданий этих загрустил, затосковал. От тоски же в конце концов повесился в прибрежном лесу на развесистой дикой груше.

Перед крестьянской реформой потерял Григорий Литвинчук и мать.

Подростка, прозванного Кривым, взял к себе живший в соседнем местечке дальний родственник по матери столяр Чурай, человек молчаливый и одинокий. Учил его ремеслу столяр сурово, не жалея чуба, но в хлебе не отказывал.

Как-то метельным вечером отправился столяр вместе со своим учеником за двенадцать верст на хутор, где случился покойник, чтобы на месте сколотить гроб. А на обратном пути среди поля наткнулись на женщину с девочкой. Сидела та женщина обочь дороги, привалившись спиной к поставленному здесь в незапамятные времена и по неизвестному поводу тесанному из камня кресту, прижимала к себе девочку-подростка, и обеих заносил сыпучий снег. Чурай и Грицко доставили их в свою хату, где через сутки женщина, оказавшаяся полтавской мещанкой, бежавшей от побоев пьяницы-мужа, умерла.

Стали жить втроем: старый столяр Чурай, Грицко и девочка Катерина.

А когда старик умирал, то приказал Григорию:

— Сироту не бросай.

И Грицко не бросил, через полгода женился.

Но несчастливой была эта женитьба. Родила Катерина четверых. А когда дети чуточку подросли, начала погуливать.

Молва услужливо доносила Григорию: сначала был его соперником усатый щеголь-телеграфист, любивший играть на гитаре и петь модные романсы; потом — фельдшер, человек, начинавший каждую фразу со слов «того... этого...»; потом бойкий, речистый приказчик, ярославец, осевший в украинском местечке, а потом сбился Григорий со счету. Из местечка перебрался он в село, чтоб поменьше балованных людей вертелось вокруг жены. И поколачивал скверную бабу Григорий, и стыдил, и прогонял из хаты. Ползала перед ним Катерина на коленях, пряча бесстыжие зеленые глаза, каялась, каялась, обещала, но при первом же представившемся случае снова исчезала из дому.

Уехал Григорий в Харьков, работал там. Но тоска по детям звала его обратно, в село. Так и жил — то в Харькове, скучая по детям, то в селе, люто ругаясь с беспутной женой.

Если б были у них в доме мир и доброе согласие, может, и перенес бы Григорий удар, который уготовила

ему судьба. Тогда горячо, но спокойно и трезво любил бы детей. А он любил исступленно. За одну неделю свалила всех четверых дизентерия. Выжил один, младший, Сашко. Получив страшное известие, приехал из Харькова Григорий Литвинчук, сходил на могилу, посидел около младшего, еще не оправившегося, исхудалого до неузнаваемости, ставшего единственным.

Катерину удар судьбы остепенил. Но было уже поздно. Ничего особенного не произошло с Григорием. Стал он только мало говорить, мало есть, мало спать, не интересовался тем, что происходило на белом свете. Часами сидел, выбрав какой-нибудь темный уголок, в клуне или в сенцах, безразлично глядя вниз, на свои колени.

Испуганная Катерина повезла его к доктору, накупила лекарств; чтоб расплатиться, торопливо, за половинную цену продала неношеные плахты и тщательно выбеленные, выдержанные под солнцем на берегу Псла холсты. Спустя недолгое время нашли Григория в саду под абрикосом мертвым. Обстоятельства этой смерти были загадочны, о ней ходили разноречивые слухи.

Сашко не унаследовал физической силы отца и деда. Рос он болезненным, тихим и скромным мальчиком. Старательно учился. Мать отдала его в учительскую семинарию, поддерживала как могла, мечтая вывести в люди.

В девятьсот пятом году в местечке взбунтовались селяне. Они слушали приезжего агитатора, по-своему толковавшего царский манифест, толковали, что нет жизни от безземелья и поборов, что надо б прикрыть винную монополию, чтоб не маячила перед глазами, не толкала на легкий путь забыться от нужды. Местные власти арестовали четверых селян. Селяне в ответ отвели в амбар пристава, помещение замкнули на замок и к амбару приставили длинного и тощего бобыля Афоню, чтоб надзирал за арестованным начальством, кормил и поил. Нагрянула карательная экспедиция. На казаков с дрекольем, дробовиками и вилами поднялись селяне. В схватке по нескольку человек с обеих сторон было убито, много и пораненных.

Потом каратели завернули в село, где жил в это время приехавший на каникулы Сашко Литвинчук. Экспедицию возглавлял советник губернского правления Филонов, впоследствии наказанный смертью неизвестным смельчаком на улице в Полтаве. В селе не было агита-

торов, жители не собирались и предосудительных, с точки зрения начальства, речей не произносили. Они только прикрыли на трудное время винную лавочку, чтобы во хмелю никто из селян не потерял осторожности и терпения. И все.

Жителей выгнали из хат и поставили на майдане в грязь. Шесть часов они простояли так, на коленях, старики и старухи, парни, девки, ребята. Обессиленных, падавших — каратели пинками заставляли принять прежнее положение. На коленях стоял и Сашко Литвинчук. Плакал. Не о себе, о бесправии. Ему хотелось подняться, на весь майдан гаркнуть, чтоб вставали, бежали к плетням, брались за колья. Но в памяти возникали рассказы о деде и отце, сломленных жизнью, страшно было подумать о последствиях. И он стоял на коленях, будущий народный учитель, потомок вольных казаков, памятуя, что плетью, как бы силен ни был человек, обуха перешибить нельзя.

А через десяток с лишним лет, когда случилось в его жизни схожее, не смолчал. Шла гражданская война. Менялись власти. Село заняли махновцы. Стали хватать евреев и коммунистов. Школу занял известный палач и изувер Левко. Челядь его выдворила семью Литвинчуков из хаты, выстроенной рядом со школой, и она приютилась в бане.

К Левко приводили арестованных. Литвинчук вздрагивал, слушая крики истязуемых, доносящиеся из школы. Потом его привели в класс, чтобы помог опознать неизвестную девушку. И он увидел ее, дочь провизора из местечка Раю Бершадскую, по слухам, ушедшую с отрядом красноармейцев и неизвестно зачем вернувшуюся. Она была в порванной рубашке, босая, с синими ногами и кровавыми подтеками на лице и обнаженной груди. В подернутых мукой глазах он увидел просьбу не называть ее имени. И он сказал, что не знает ее, никогда не видел. А когда выходил, заметил брошенный кем-то в коридоре топор, поднял его и вбежал в класс с криком:

— Звери!.. Зарублю!

Его долго били. Потом замкнули в подвал. Опять били, обливали водой.

На допросе Левко сначала грозил ему лютой смертью, а потом со вниманием стал вслушиваться в его бессвязные речи и, похоже, с интересом и удовольствием вглядываться в лихорадочно блестевшие глаза.

— Ты, милый, не рехнулся? — наконец спросил Левко.

Литвинчук без страха смотрел на палача и говорил, что жить надо справедливо, никого не обижая, по-божески; надо не воевать и не мучить людей, а сажать сады, разводить пчелок, беречь всякую лесную тварь.

Левко послушал его, а потом распорядился дать ему в шею. И его выгнали из школы, превращенной в застенок, полуживого, с отбитыми внутренностями.

Еще несколько лет прожил Александр Литвинчук.

Красная новь пришла на Украину. Крестьянам отдали землю, выгнали помещиков, обуздали кулаков.

А Литвинчук уже ничем не интересовался. Безучастный ко всему, он сидел на порожке своей хаты или говорил зашедшим навестить его соседям, что жить надо побожески, справедливо, не обижая друг друга. Проявлял он болезненный интерес только к своим предкам, к их кончине, и все, что удавалось ему восстановить по памяти и из рассказов стариков, записывал в особую тетрадь. Эти записи и дали возможность Василию Литвинчуку узнать историю его предков.

Александр Литвинчук кончил так же, как и его отец и дед. А младенцу-сыну оставил запись, сделанную на последней странице той же тетради. Сделал он ее за несколько дней до смерти, и Василий запомнил ее всю почти дословно:

Сынок, умирая, батько твой думал о тебе. Трудную до невозможности жизнь уготовила всем нам судьба. Ни прадед, ни дед твой, ни отец не перешагнули через полстолетия и умерли трудной смертью. Это потому, что страдали они больше, чем человеку возможно.

Первый Литвинчук, о ком сохранилась память, — Нечипор, был запорожцем. Взяли его в плен враги. Не раз пытался бежать, но неудачно, и провел он долгие годы в подземной темнице, в Крыму. Слушал, как море грузной волной перекатывает камни, и тосковал по родным местам, по белым хатам, по вишневым садочкам. Потом все-таки бежал, сражался под знаменем Северина Наливайко. В родное село вернулся он весь израненный. Хату его спалили, скот увели. Жена умерла. Сынка взяли добрые люди.

Еще горше была жизнь прадеда твоего и деда — о них прочитай в этой тетрадке.

Да, сынок, горестен был путь твоих предков, страдания испортили кровь всему нашему роду, и никто из нас не может дожить до того, как его слабость и болезни уложат в гроб.

Страшно подумать, что исчезнет наш род. Но батько тебе завещает: не женись, воздержись от деточек. А если, как мечтал Тарас, взойдет над Украиной святая звезда, то все равно надо, чтоб кровь у всех была здоровая.

Думал Васька многие годы...

Он раздумывал об этом с тех про, как мать дала ему толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке. Не могла мать скрыть от сына того, что завещал ему отец.

Хоть и хотел выбросить все эти мысли из головы, но не мог, став комсомольцем. Когда на собраниях шумели ребята, шум этот вовлекал и его. Но в самые неподходящие моменты он обрывал себя, одергивал: «А я... Чему радуюсь я — обреченный?»

Мысли о том, что ожидает его на исходе зрелости, вошли в сознание, в характер, окрасили их на свой лад. Прадед, дед, отец, подслушанные им еще в детские годы неясные намеки о других родственниках... Какие же у него основания надеяться, что его судьба сложится иначе?

Безнадежный больной знает, что от воли уже не зависит его жизнь, и все-таки борется до последнего дня. Но ожидать, что сам простишься со всем, что дорого, казалось Ваське диким и загадочным.

Поначалу Василий забыл все эти мысли, отбросил их, когда сложные и запутанные обстоятельства связали его с Любой. Он был тогда студентом. Люба училась на курс младше, чем он. Она дружила с однокурсником Василия — Дмитрием Писаренко. Писаренко не был лишен привлекательности. Хотя и говорили, что он капризный и слабохарактерный, но Василий знал это только с чужих слов, сам он близко с ним никогда не сходился.

Литвинчук на лекции послал записку Кате Назаровой с приглашением в воскресенье пойти в театр. Не в письменном виде сделать это он не решился. Писаренко, к которому попала записка, передаваемая из рук в руки со

стола на стол, не скрываясь, развернул ее, прочитал, потом обернулся и, усмехнувшись, глянул на Литвинчука. В перерыве, встретившись с Литвинчуком, он непринужденно бросил:

— А я и не знал, что ты за Назаровой ударяешь. Это ты правильно: стоящая девка!

Литвинчук не ухаживал за Катей Назаровой, просто он, как говорили студенты, сшиб полторы сотни — две ночи разгружал вместе с товарищами уголь для электростанции. Купив два билета в театр, он раздумывал, кого бы пригласить. Ни о каком ухаживании не могло быть и речи.

Развязность Писаренко и то, что он прочитал чужую записку, возмутили Литвинчука. Их резкий разговор кончился ссорой.

После этого началась вражда. Литвинчук и Писаренко месяцами не замечали друг друга; пользуясь представившимся случаем, говорили колкости, откровенно выражали взаимную неприязнь.

Ссору усугубила Люба. Все в университете знали о ее дружбе с Писаренко и привыкли видеть их вместе. Потом стали замечать, что вместе они не появляются и почти не разговаривают. И вот на одном из университетских вечеров Люба, увидев стоящего в проходе Литвинчука, поманила его, указала на свободное место рядом с собой и тоном уверенной в себе, избалованной девушки весело сказала:

— Ну, что же вы стоите? Садитесь сюда...

Литвинчук тотчас же догадался, в чем дело. Поняли это и студенты, наблюдавшие за ними: Писаренко чем-то обидел Любу, и она мстила ему, откровенно и жестоко.

Поборов растерянность, Васька присел рядом с ней, разговорился и стал раздумывать, что, видимо, отныне вражда с Писаренко станет еще ожесточенней и что самолюбие не позволит ему стать игрушкой для самоуверенной студентки. Теперь он не отступит, он бросит новый вызов недругу. Пускай товарищи не думают, что он помогает Любе возбудить ревность в Писаренко с тем, чтобы привязать его покрепче к ней. Пусть, кому это интересно, знают, что ему наплевать на него, просто он решил поближе познакомиться с этой девушкой.

И он высказал Любе все, что думает о ней, о ее красоте. Конечно, это было странно — говорить так с почти

незнакомой девушкой, но он все-таки говорил, преодолев юношескую застенчивость.

Она действительно была хороша, Люба, знала, что и все так думают, чувствовала по взглядам, которые кидали на нее повсюду, где бы она ни появлялась. Но никогда ей не говорили этого с такой прямотой. И она была вынуждена выслушивать Литвинчука, потому что он говорил без тени неуважения, без ухаживания, отвлеченно, будто о картине или статуе... Да и какая девушка при таких обстоятельствах оборвет парня!

После вечера они вместе пошли к раздевалке. Люба была заметно смущена и часто оглядывалась. Василий подал ей пальто и тут же увидел в толпе студентов, в трех шагах от себя, Писаренко. Уголки его губ вздрагивали.

А через несколько дней Люба помирилась с Писаренко. Он снова стал всюду сопровождать ее. Встречаясь с Литвинчуком, Люба сухо кивала ему и отводила взгляд.

Сначала это задевало Василия. Потом пришло равнодушие. Мало ли красивых девушек? Почему он должен терять голову?

Лишь убедившись, что он не добивается дружбы с ней, Люба при встречах начала смотреть на него смелее. Иногда же он читал в ее глазах любопытство и недоумение.

Уже не думает ли она, что он влюблен в нее? Ему не до любви. Он должен прежде всего защитить дипломный проект.

Пришла весна. Литвинчук и Писаренко заканчивали университет, оставалось только защитить дипломные проекты. Озабоченное выражение не сходило с лица Писаренко, он весь ушел в работу над проектом. С Любой их видели все реже.

На университетском дворе была спортивная площадка. В перерывах и после занятий студенты играли в волейбол. Как-то, играя, Литвинчук сделал резкое движение, стараясь отбить трудный мяч, и порвал рубашку. А когда окончил партию и сошел с площадки, то увидел в кучке студентов, наблюдавших за игрой, Любу.

— У вас нет иголки с ниткой? — спросил Литвинчук.

В другое время Васька не обратился бы к ней с такой просьбой и так запросто, но сейчас он был возбужден иг-

рой, возгласами зрителей, многолюдством собравшихся около спортивной площадки.

Для того чтобы как следует зашить рубашку, нужно было ее снять. Люба взяла у подруги иголку и принялась зашивать рубашку, став к Ваське боком и предупредив его, что починка будет недолговечной. Люба зашивала рубашку, а Васька стоял, боясь шелохнуться, чувствуя прикосновение мягких и теплых пальцев.

Закончив свою работу, пытливо глянув на Ваську, Люба отошла. А Ваське еще долго казалось, что Люба рядом с ним, и весь этот день он был не по-обычному говорлив и весел.

Выйдя из университета после занятий, он нагнал Любу, и они пошли вместе, непринужденно болтая. Изредка Василий ловил на себе ее взгляд.

Они шли по улице, обсаженной каштанами. Мимо здания кино. Василий сунул в боковой карман руку, на ощупь пересчитал деньги и неожиданно для себя сказал:

— Пойдемте, Люба, в кино...

— Сейчас... днем? — удивилась Люба и тут же поправилась: — нет же времени — экзамены.

Он попробовал ее уговорить, но тут же понял, что ничего не выйдет. Да и неразумно это — во время экзаменационной сессии расхаживать по кино. И вообще захочет ли она пойти с ним? И насколько серьезна ее ссора с Писаренко?

Но в кино они все-таки пошли через несколько дней, когда Люба сдала очередной экзамен. Они встретились в коридоре, Люба похвасталась отметкой, а Васька счел это за удобный повод для приглашения.

Их отношения стали совсем дружескими. Они выбивали друг для друга талоны в студенческой столовой, садились рядом в читальне, вместе возвращались из университета, прогуливались по двору в перерывах между лекциями и обращались на «ты».

Василий сознавал, что он не влюблен в Любу. Простившись с ней после занятий, почти не думал о ней, не искал повода увидеться лишний раз. Да и он уже не чувствовал себя студентом, мысли его были на будущей работе. Люба — милая девушка, но дружба с ней скоро оборвется, вряд ли она продлится до времени, когда он будет работать.

В читальне она частенько стала просить его растолковать ей трудное место из учебника или помочь разобраться в конспекте лекций. Василий охотно помогал ей. Объяснения Люба слушала, глядя ему прямо в глаза и наморщив лоб. Морщинки эти не шли ей, портили красивое лицо, но отражавшееся в ее карих глазах уважение к нему, уверенность, что для него все просто и ясно, льстили и побуждали говорить еще увереннее и проще.

— Ты умный, — сказала однажды Люба.

— А Писаренко?

— При чем здесь Писаренко? — рассердилась Люба. — И вообще с тобой я не хочу о нем говорить. — Она подчеркнула слово «с тобой».

— Почему вы поссорились? —не удержавшись, спросил Литвинчук.

— Какое тебе дело?!

И верно, какое ему до этого дело? Ведь шли его последние университетские дни. Они уже получили назначение на работу, оставалось защитить дипломные проекты. Нет, он не намерен переступать границы дружбы: Да и Люба не захочет этого.

Так и было до июньской ночи, когда на город налетели бомбардировщики.

В ту июньскую ночь Василий и Люба передумали и перечувствовали то же, что и миллионы других людей. Утром они ходили смотреть на первые развалины, ошеломленные неожиданностью, возмущенные коварством врага, уверенные, что не так-то уже трудно будет расправиться с фашистской армией.

Война сократила для Васьки остаток его университетских дней. Его призвали в армию, предоставив несколько дней для защиты дипломного проекта и получения диплома.

Поздним вечером, уже постриженный, прикрыв голову кепкой, он зашел за Любой. Темными переулками они вышли к берегу величественной реки, протекающей через город.

Перед ними в тусклых бликах бесшумно текла река; позади, на холмах, непривычно молчаливый, громоздился город — прекрасный город, один из древнейших и красивейших в мире, который уже опахнули вражьи крылья и которому предстояли неисчислимые муки и невосполнимые разрушения.

— А может так случиться, что ты завтра уедешь, Вася?

— Послезавтра, — коротко ответил Васька.

И они снова вслушивались и не улавливали привычных звуков — автомобильных сирен, отдаленной музыки.

— Я уверена, что это надолго, Вася... Может, даже на полгода или год... Нет, нет, это так, я знаю... И мне страшно и тоскливо... Наш народ победит... Но страшно, потому что льется кровь... А тоскливо, потому что я хочу, чтобы там — ты понимаешь — там — в трудные часы кто-то думал обо мне... И чтобы я думала не только о всех, а и об одном, мечтала, как мы будем жить, когда все кончится... Ты можешь это понять или нет? Если все становятся солдатами, то и я хочу стать солдаткой.

— Я не совсем тебя понимаю, Люба...

— Ты — глупый...

И это «ты — глупый» объяснило ему все. Василий почувствовал, что поросший травой холм, на котором они стояли, медленно стал передвигаться куда-то в сторону...

Он был ошеломлен неожиданностью и смелостью ее слов. Он уходит на войну, а замечательная девушка предлагает ему свою любовь.

— Ты будешь меня ждать, Люба?

— Буду.

Он взял ее руку и прижал теплую ладонь к губам.

Люба, не отнимая руки, сошла с холмика, и они сели на оказавшуюся вблизи скамейку. Потом она кинула руки на его шею, жарко прильнула, и они стали говорить те бессвязные слова, которые произносят в пору только что раскрывшейся любви и которые бесследно уходят из сознания, оставив в нем лишь ликующее, праздничное чувство, благодарность, клятву пронести это сквозь годы и испытания.

Разошлись на рассвете нового дня, договорившись увидеться — в последний раз — вечером.

А на следующий день Васька совершил ту ошибку, о которой впоследствии, в окопах, думал почти каждодневно: он не пришел к ней.

Вместо этого он сидел в пивной, пил водку, запивая ее пивом из липкой кружки, и думал о том, что не смеет он связывать свою судьбу с этой жизнерадостной и красивой девушкой. Может быть, в другое время он бы мог все откровенно рассказать ей, чтобы решала сама. Но

сейчас — это было невозможно. Его бы не поняли, рассказ о дедах и прадедах прозвучал бы нелепо, мелко. Об этом можно было всерьез говорить неделю назад, не сейчас.

Васька пил водку и все ниже клонил туманную голову к накрытому грязной клеенкой столу. А потом побрел в общежитие, горестно сознавая, что оборвал в сердце какую-то ниточку и что жить ему теперь будет труднее, чем прежде.

Ранним утром он стоял в коридоре военкомата в толпе новобранцев, среди которых было много вчерашних студентов. Новобранцам выдали документы, железнодорожные билеты, построили во дворе и повели на вокзал.

Около ворот стояли матери, жены, невесты. А среди них — и Люба. Лицо у нее было тревожным, взгляд скользил по неровным шеренгам.

Литвинчук рванулся к ней.

«Надо объяснить как-то, соврать. Это будет не подлая, а искупительная ложь. Ведь она, Люба, — мое счастье», — думал он, пока бежал к Любе.

— Люба, милая, ты понимаешь... в военкомат... Меня вызвали вчера в военкомат... Я всю ночь разносил призывникам повестки...

— Я понимаю... Это ничего, Вася, ничего...

Он обнял ее, и она не стыдилась чужих взглядов.

Проходящие мимо новобранцы смотрели на них приветливо и чисто. Солдат обнимает в последний раз свою девушку... Чего ж им стыдиться? В окопах, под смертоносным огнем он будет вспоминать о последнем прощании и раздумывать, было ли это, не чудесный ли это сон, не мечта ли. Так было, есть и будет, пока не прекратятся на земле войны.

Потом Литвинчук догнал колонну. И никто из шагавших рядом с ним парней не посмел пошутить, напомнить о только что виденном.

Люба быстро шла следом за колонной.

На вокзале, перед посадкой в поезд, они снова говорили. Но все-таки...

Все-таки всего, что удалось бы им высказать и перечувствовать, если б они были вместе последний вечер, они не высказали и не перечувствовали. Да и тогда они, наверное, догадались бы обменяться адресами родственников, чтобы знать, как отыскать друг друга в пору лихолетья. И Васька так быстро не утратил бы Любин адрес,

их переписка не оборвалась бы почти с первых дней войны.

* * *

После первых же боев, в которых довелось участвовать Василию Литвинчуку, без долгих поисков к нему пришел ответ на вопросы, которые терзали его многие годы. Он был прост, точен и исчерпывающе ясен, как алгебраическая формула.

...Литвинчук после окончания краткосрочных курсов стал командовать пулеметным взводом. В одном из трудных боев пулеметчики должны были прикрыть переправу.

На реке стоял ад: переправу бомбили с воздуха, обстреливали из пушек и минометов... Знакомая фронтовикам страшная картина!

Солдаты со всех сторон стекались к берегу,. переходили через речку, шарахаясь от разрывов снарядов и мин, при налете бомбардировщиков прячась в прибрежные заросли.

Пулеметчики лежали на гребне крутого правобережья, в окопах, и стреляли по гитлеровцам, наступающим вдоль реки.

Войска переправлялись...

Через недолгое время от взвода пулеметчиков осталась лишь кучка солдат.

Солдаты все шли и шли, с измученными лицами, потрескавшимися воспаленными губами, с серыми от пыли лицами...

В пулеметном взводе насчитывалось всего четыре человека, включая командира Василия Литвинчука.

Мина разорвалась, ударившись о щит пулемета. Она убила еще двух человек.

Щит был весь покорежен, но осколки не пробили ствол — пулемет еще стрелял.

За него лег Василий Литвинчук.

Ранило его осколком в грудь, когда к переправе подходили лишь одиночки, отставшие от своих подразделений.

Подносчик патронов Подпрягин — юркий парень — вынул из пулемета замок, бросил в воду, подошел к своему командиру и, кряхтя, взвалил его на себя. За рекой в лощине ему посчастливилось положить командира на санитарную двуколку.

Литвинчук не чувствовал острой боли. Он лежал в двуколке на запачканном кровью сене и смотрел на темнеющее небо, на перистые облака, неподвижно стоящие у горизонта.

Повозочный то и дело озабоченно оглядывался и нещадно гнал крупную, рыжую, покрытую, как и люди, пылью лошадь.

А Литвинчук не оглядывался. Ничто не трогало и не интересовало его. Он выполнил свой долг и очень устал. Если б двуколка не подпрыгивала на ухабах, он непременно закрыл бы глаза и забылся.

Навстречу бежали нивы. Пшеница созрела. Порывами налетал ветер, по пшенице пробегала зыбь, и слышались частые удары, будто выпал град. Это осыпались зерна.

Солнце заходило. Дневной свет угасал.

А через несколько дней, в полевом госпитале, вымытый и забинтованный, Василий Литвинчук, лежа с закрытыми глазами, думал, что его мысли о роковой болезни — ерунда. Он сумел доказать свою силу, силу своих нервов. Обстановка была страшная — трупы и кровь на берегу, островки из трупов в воде, — а он держался не хуже других, ничуть не хуже. И переправился в числе последних. Нет и не может быть для человека более сурового испытания. И он выдержал его. Значит, он не только здоровый, но и сильный человек. Теперь-то уж он знает себя. Ошибся батько, записывая в черную тетрадь свои предостережения. И он, Васька, ошибся, когда не пришел проститься с девушкой, ставшей теперь далекой, как мечта.

Вечером в палатку пришел врач. Это был пожилой, но молодцеватый майор — грузин. Неторопливый, он обходил раненых и, ободряя их, по-солдатски грубовато шутил.

Потом осторожно, чтоб не качнуть нары, присел и стал рассказывать о предстоящей эвакуации.

Человек этот понравился Литвинчуку. Говорил он просто и непринужденно, будто не замечая страданий и вырывающихся у некоторых раненых стонов, но Литвинчук подумал, что так и следует держаться врачу и что для этого тоже нужно много сил и нужны хорошие нервы.

— У вас есть свободная минутка? — спросил Литвинчук.

Врач, кивнув, пересел к нему.

Рассказывая о себе, Литвинчук заранее знал, что майор постарается ободрить его, вселить в него уверенность, но он совсем не был подготовлен к тому, что услышал.

— Милый мой лейтенант, — сказал майор, — все это навсегда выбросьте из головы. Наследственность — это способность организма реагировать на внешние условия. Века рабства — вот условия, в которых жили ваши предки. А мы с вами живем совсем при других условиях... Но не думайте, что все это просто, — добавил он. — Если бы мы с вами говорили несколько месяцев назад, я бы так уверенно вам не ответил... А сейчас... трудно нам, кровь кругом, горе, а поняли мы уже многое, другими стали...

* * *

Все это Литвинчук рассказал мне ночью в лесу невдалеке от безвестной станции Лычково.

Разговор наш прервали санитары. Они благополучно вернулись и сообщили, что им удалось доставить раненого в санчасть.

У нас не было часов, и мы не знали, сколько времени. Но спать почти не хотелось, мы перебороли подступавший сон. Гитлеровцы не стреляли. В лесу стало совсем тихо.

Мы обошли солдат, чтобы проверить, не заснул ли кто. Тишина казалась обманчивой. На рассвете гитлеровцы могли обрушиться на нас.

Потом мы увидели, что все вокруг сереет и в просвете между деревьями загорается дневной свет.

* * *

Я вспомнил историю Васьки Литвинчука, когда увидел в газете его имя. В газете было упомянуто, что В. А. Литвинчук — доктор наук. Для меня же он был и останется Васькой, и я порадовался за успехи старого товарища.

Что сталось с Любой — не знаю. Думаю, что если она не погибла при бомбежке, на фронте или в оккупации, то теперь она жена Литвинчука. Хотя, разумеется, обстоятельства могли сложиться и иначе.

Я непременно повидаюсь с Васькой, узнаю все про Любу и, может быть, когда-нибудь расскажу о ее судьбе...

Когда-нибудь...



СОПЕРНИКИ

Мне довелось побывать в отдаленном сибирском поселке, где формировалось соединение, и повидать Катю. Я помнил ее с давних пор и позже кое-что слышал о ней от Арбузова и Коротенко, с которыми был когда-то дружен.

Катя (сослуживцы теперь звали ее Екатериной Васильевной) по-прежнему работала в райисполкоме — разумеется, на новой, более высокой должности, — но там я ее не застал. Она заболела. Пришлось пойти к ней домой.

Я и сам не знаю, почему мне хотелось повидаться с нею. Говорить нам было почти не о чем. Просто захотелось припомнить те далекие дни, людей, которых давно нет. Конечно, Катя не узнала меня. Пришлось напомнить.

Сначала я старался говорить только об Арбузове, чтоб не показывать ей, что мне известна вся эта давняя история, но потом махнул рукой... Все это уже не имело значения!

Катя жила одна. Наверное, иначе и не могло быть. Удивляться было нечему. Вряд ли она могла встретить еще таких же парней, как Арбузов и Коротенко. Она уже была немолода, Катя... Тридцативосьмилетняя женщина, с проседью в волосах, с лицом, на котором отразились многие заботы и горе, с худыми, шершавыми, все знающими руками, со скорбью одиночества, таящейся где-то в глубине глаз. Коротенко был прав: таких в России миллион и еще сто тысяч.

В комнате было хорошо, уютно. Но как-то слишком уютно, будто здесь не жили, а лишь приходили сюда с работы и передвигались от двери к стулу, на котором лежа-

ла красная вышитая подушка, от стула к дивану со множеством таких же, только меньших размеров, подушек и от дивана к комоду, уставленному флаконами и коробочками. На стене — фотографии. Я бегло оглядел их. Фотографий Арбузова и Коротенко здесь не было. Наверное, она прячет их где-нибудь в ящике комода. А вечерами, усталая, тоскующая, рассматривает карточки и перечитывает письма и думает, как бы это все вышло, если бы не война. И сердце не подсказывает ей ответа. Не в состоянии подсказать. Все произошло слишком внезапно, а сердце должно привыкнуть, почувствовать, привязаться.

Поселок разросся. На противоположном берегу реки тоже появились дома, и, конечно, ей часто приходится переходить через мост. Тогда она, наверное, смотрит на горную тропу, взбирающуюся на склон. Когда-то на этой тропе, злобно оглядывая друг друга через плечо и каждый норовя идти по середине дорожки и заставить спутника шагать по заросли колючих трав, шли два парня. А далеко позади плелась потерянная, пунцовая от смущения девушка. Теперь этих парней уже нет. Но она не забудет их.

В гостях я просидел недолго, не более получаса, а потом отправился побродить по поселку. Спустился на мост, полюбовался на заросший деревьями горный кряж, равнодушно покосился на тропу, взбегающую ввысь. Мне она ни о чем не напоминала, и я не связывал с ней жизнь моих друзей.

А после этого я долго смотрел на бурную речку. Огибая крупные камни, пенясь, безостановочно бежала желтая вода. Она бежала также и тысячелетия назад. С гор спускались существа в звериных шкурах и смотрели на нее. Останавливались на берегу реки и татары, и воины Ермака, и золотоискатели, и каторжане, которых гнали по этапу в рудники. И задумчиво поглядывали на нее парни в серых шинелях, которым предстояло идти на большую войну. И еще тысячелетия она так же будет лежать у подножия гор, равнодушная ко всему, поглощенная борьбой с камнями. И вряд ли перегородят ее плотиной, потому что поблизости есть другие реки, более многоводные...

Я рассказал Кате не все. О Баеве, который сунул свой нос в эти запутанные взаимоотношения и многое

уточнил, я умолчал. Вряд ли это следовало ей говорить. Но я знаю все, а о том, чего не знаю, могу догадаться, потому что ездил вместе с Арбузовым и Коротенко в эшелонах, шагал по осенним размытым дорогам, ел из одного котелка и спал рядом на еловых лапах, положив голову на кочку...

* * *

Только к исходу ночи призатихла стрельба. Поднялся ветерок, но ему не под силу было разогнать дымное марево, нависшее над ходами сообщения, окопами и блиндажами. Для этого нужен был буревой ветер, такой, чтоб сгибал поломанные, с перепутанными ветвями ивы, рядком стоящие на краю балки, чтоб призасыпал песком груды стреляных гильз, валяющихся на дне окопов, чтоб резво прошумел среди развалин.

А когда заморосил дождик и спустился туман, ветерок и вовсе отступил. На поле боя опустилась тишина. Она бы позволила забыться, принесла бы передышку, если бы где-нибудь послышался собачий лай, или петушиное пение, знаменующее приход рассвета, или крик ночной птицы, или какой-нибудь иной, извечный, привычный уху звук. Но нет... Другие звуки, приглушенные и скрытные, можно было расслышать среди развалин: стук ружейного приклада о твердый грунт, удар о камень саперной лопаты, грузные шаги людей, несущих бревно или кусок рельса, вчетверть голоса поданную команду.

Откуда-то снизу, из-под земли, вырвались звуки губной гармоники. Беззаботные плясовые такты прозвучали странно и чуждо. Оборванные властным окриком, они ушли туда, откуда и возникли, — под бревенчатые накаты блиндажа.

«Ну, парень, совсем плохо твое дело. Не позже рассвета решится твоя судьба: плен или пуля патрульного, того, кто первым наткнется на тебя. И выбирать будешь не ты... Совсем плохо твое дело. — Арбузов уже мысленно обращался к себе, как к постороннему человеку, да и собственное тело, заполненное болью и слабостью, казалось ему чужим. — Сейчас ты потеряешь сознание. Ты будешь лежать здесь, около обгорелой печи, раскинув руки, точно мертвец. А когда станет светло, к тебе подойдет солдат в зеленой шинели. Он пнет тебя в бок носком, чтоб узнать, жив ли ты. В беспамятстве ты застонешь.

Тогда солдат вглядится в твое лицо, потому что надо ж ему знать, кого он прикончит. Любопытство непременно заставит его наклониться, держа наготове пулемет-пистолет. Ты бессознательно почувствуешь, что рядом с тобой человек и что остался твой последний шанс на жизнь... Плохо твое дело, и нет смысла ползти дальше, потому что проползешь ты совсем немного. Лучше лечь на мягкой теплой золе около пахнущей пожарищем печки и припомнить далекий сибирский городок, где ты вырос, где ждет о тебе вестей мать, золотой прииск, на котором ты работал, девушку, которая незадолго до твоего второго отбытия на фронт, слушала твои горячие слова, не отвечая на них, но и не прерывая тебя... Зола засорит раны, но это лучше, чем земля. Она еще совсем свежая, эта зола, и в ней не может быть ничего вредного...»

Перед тем как вытянуться в куче белесой золы, Арбузов, собравшись с силами, поднял голову, осмотрелся по сторонам, но ничего не увидел, кроме неясно выступавших из темноты развалин. Он перевел взгляд на свои ноги. Бинты почти совсем сползли, он наложил их поверх порванных брюк. Один сапог затерялся, подверка распустилась, но удержалась на ноге, зацепившись за пуговицу. В левом бедре угадывался тусклый блеск живой кости. Смотреть на это было страшно, и Арбузов не сдержал стона. Он опустил голову на обугленное бревно, раскинул руки и закрыл глаза. Боль отодвинулась, почти пропала, сознание как-то сузилось, и ему показалось, что нет ни войны, ни переднего края, ни тяжких ран, что не он лежит около обгорелой печи, бессильный и потерявший надежду. Как наяву, увидел он себя не в гимнастерке, а в сером костюме и кепке с маленьким округлым козырьком, выходящим после трудного дня из проходной прииска.

— В кино, Андрюша, придешь? — спрашивает товарищ по работе. Его фамилия Подыминогин, этого товарища. Смешная какая-то фамилия, а сам он парень ладный: белобрысый, с загорелым, миндального цвета лицом, легкой походкой. Именем их родители наградили одним: оба они Андреи.

— Надо будет прийти. Ты местечко расстарайся — поближе живешь.

Они идут вдоль высокого некрашеного забора до поворота.

— Насчет местечка не выйдет... Между прочим, обрати пристальное внимание, с кем я сидеть буду... Оценку дай, понимаешь... Приехала из Новосибирска, в управлении работает... Как бы на этой дивчине не кончилась моя вольная волюшка... Привлекает, понимаешь, во сне даже мерещится, а без печати в паспорте ни на что не согласная, — со вздохом признается Андрей Подыминогин.

— Привлекает? — интересуется Арбузов.

— Из головы не выходит, — подтверждает Подыминогин.

— Оценку — это я могу, — солидно соглашается Арбузов.

Они доходят до перекрестка и, кивнув друг другу, расходятся в разные стороны... Не очень серьезный, неприметный разговор, но почему-то именно он припомнился Арбузову, когда он лежал на куче золы.

Потом вспомнилось другое... Как-то мать ждала его, чтобы вместе пойти в гости. В поселок к родственникам приехала давняя ее подруга, и матери хотелось показать ей своего сына. Но он после работы отправился к приятелю, чтобы научиться, как плавить свинец и отливать дробь нужной величины. Явившись наконец домой, с наигранным весельем сказал: «Ну, пошли, мать». А она подняла на него печальные глаза и ответила: «Чего ж теперь идти. Поздно ведь». Тогда он только поморщился, а позже, на фронте, понял, что очень обидел мать и что вряд ли она забыла этот случай, как бы ей не хотелось выкинуть его из памяти.

Беспамятство неотвратимо надвигалось, и не было сил противостоять ему. Арбузов почувствовал, что окончательно сдается. Да и что за смысл барахтаться против течения посреди горного потока. Лучше довериться потоку, дать ему унести себя куда-то в темноту. Может, сам же он и выкинет его на отмель. И совсем против воли, несуразно и не к месту пришла в голову волжская припевка:

Эх, Волга-рочка,
Не боли, сердечко,
Не боли, сердечко,
Хоть скажи словечко...

Ее, наверное, сложила какая-нибудь девчушка, раздумывая о желанном, радуясь любви и боясь. И совсем ни к чему б ее припоминать, когда страшная бабенка с косой,

громыхая костями, бродила вблизи, заглядывая во встречные ямки... Да вот припомнилась и эта припевка. Пока жив человек, думает он о живом.

...— Слушай, друг, ты живой?

Кто-то прикоснулся пальцами к его плечу и повторил:

— Живой ты?

Арбузов отозвался, взволнованно подумав, что подоспела подмога и что надо сберечь последние силы, чтобы узнать, кому же он теперь невольно доверит свою жизнь.

— Это ты, Арбузов?

Голос был знакомый, и Арбузов узнал его. Этот голос принадлежал Алексею Коротенко. С этим человеком он был в ссоре, но теперь это не имело значения. Важно было другое: то, что это был не просто свой, а знакомый человек, обязанный выручить попавшего в беду товарища. Почти то же самое подумал и Коротенко. Спасти раненого было трудно, но он обязан был это сделать. Когда-то прежде он ненавидел его, теперь все это ушло, остался интерес к нему. Бросить раненого на произвол судьбы было невозможно.

* * *

Все это произошло в поселке, притулившемся на берегу горной речки, в конце лета сорок первого года. Алексею Коротенко, до войны работавшему на одном из заводов Новосибирска, повезло: по окончании краткосрочных курсов он выехал в формируемое соединение, в поселок, где жили его родители и где работала Катя. И родители и Катя провожали его на войну, не допуская даже и мысли, что увидятся с ним до того, как он побывает на фронте.

В соединении было очень немного уроженцев ближайших селений: большинство офицеров прибыло из госпиталей и училищ, почти все солдаты — из других частей.

И обещания быть верными друг другу, и хорошие слова — все это было, когда Алексею Коротенко перед зачислением на курсы дали несколько свободных дней, и он приехал проститься. Поэтому когда он в форме и с кубиком в петлицах вновь появился в поселке, между ним и Катей установились короткие, почти родственные отношения, как между признанными женихом и невестой. Подразделение, которым ему предстояло командовать, еще

не было укомплектовано, и на первых порах у Коротенко было достаточно свободного времени. Вечерами он поджидал Катю около двухэтажного деревянного здания райисполкома, где она работала, сопровождал до дому, дожидался, пока она поужинает. Для прогулок у них выработался свой маршрут. Они спускались к реке, стояли на мосту, облокотившись на пересохшие, испещренные щелями деревянные перила, потом по каменистой тропе поднимались па взгорье, вступали в тайгу, выискивали уютную поляну, садились на разостланную шинель.

Шуршали иглами сосны и лиственницы, пахло прелью и смолой. По деревьям прыгали юркие бурундуки. Длиннохвостые красавицы сороки вертелись вокруг поляны. Стучали дятлы.

Катя клала голову на колени Алексея. Оп смотрел на ее скуластое миловидное лицо, на припухлые небольшие губы, на родинку, вполовину скрытую левой бровью. Потом переводил взгляд на зеленые вершины невысоких гор. Катя, проследив за его взглядом, приподнималась и тоже смотрела на горы.

Возвращаясь, односложно переговаривались. На мосту останавливались, смотрели на воду.

Река по-прежнему бурлила между камнями. Камни поменьше она несла с собой, и, когда они ударялись о сваи, мост слегка вздрагивал. Над рекой клочьями нависал туман — густой, рыжеватый. Брызги достигали перил, накрывали их слоем водяной пыли, и пальцы оставляли на нем следы.

Над поселком по-осеннему скучивались вороны. Карканье их сливалось с шумом реки в один нестройный рев, тревожный, наводящий на душу смутное беспокойство.

Алексей давно знал Катю и давно любил ее. Она уже вошла в его мысли, в жизнь, заняла в ней важное место. Думая о будущем, он думал и о ней.

У калитки он целовал ее. Она отвечала, но сдержанно и, по его мнению, как-то уж слишком спокойно.

Направляясь к казарме, он думал, что было бы лучше, если бы судьба его сложилась иначе и он был бы уже на войне. Как это будет хорошо, когда утихнет гроза и он — заслуженным, повидавшим все, что может повидать человек, — по-хозяйски войдет в ее дом, зная, что долг выполнен, самое трудное позади и теперь есть возможность по-своему строить жизнь.

Потом Алексею Коротенко пришлось выехать в Новосибирск, чтобы встретить солдат, предназначенных для его подразделения.

Тем временем в поселок прибыл Андрей Арбузов. Ему уже пришлось повоевать, и он был ранен разрывной пулей в ногу. Сибиряк, ранее работавший на золотом прииске, компанейский парень, он любил пошуметь, ценил шутку и был заводилой на товарищеских встречах.

В новый армейский коллектив Арбузов вошел удивительно быстро и через несколько дней почти всех однополчан называл по имени и на «ты». Солдаты разведывательной роты, которой он стал командовать, с первых же дней стали говорить о нем с особым подчеркнутым уважением. Им понравилась его молодцеватость, невозмутимость и тот особый такт, с которым он говорил с подчиненными: шутливость он совмещал со вниманием к человеку. Говоря с ним, выслушивая его приказания, солдаты и сержанты чувствовали, что он словно бы сдерживается, чтобы не похлопать стоящего перед ним человека по плечу, не прервать серьезный разговор, не расспросить о доме, не рассказать о себе, не поделиться веселым анекдотом или происшествием, — сдерживается, потому что все время помнит о тех особых отношениях между командиром и подчиненным, которые приняты в армии.

На второй день после приезда за обедом он деловито осведомлялся у соседей по столу:

— Ну, а в том смысле как? Девушки, спрашиваю, в поселке есть?

Ему отвечали, что девушки есть, и прехорошенькие, и что большинство из них можно видеть по вечерам в рудничном клубе.

— То-то, — удовлетворенно и самым непринужденным тоном отметил Арбузов. — Ведь, понимаете ли вы меня, у всех жены-невесты, а у меня никого... Какую-то несуразную юность прожил: работа, лыжи да еще ружьишко, а все прочее как-то мимо проходило... На фронте, бывало, лежишь под минометным или ружейно-пулеметным и тоскуешь по этому поводу. — И добавил откровенно: — Нет, друзья, надо наверстывать... а то еще так и помрешь...

Вечером Арбузов появился в клубе. Он присел на скамейке у завешенного окна, перекидывая из руки в руку бамбуковую тросточку, на которую опирался, когда уста-

вал и начинала ныть раненая нога, и оглядывая танцующие пары. Его тотчас же приметили, как, впрочем, примечали и везде, где он появлялся.

Так или иначе, но Арбузов повел себя с истинно фронтовой оперативностью. Просидев самое недолгое время на скамейке, он поднялся и, слегка опираясь на тросточку, направился прямо к Кате Уваровой, танцевавшей с подругой. Приблизившись и обождав, пока баянист прервет игру, он протянул руку и назвал себя.

Сконфуженная Катя пробормотала в ответ свою фамилию и тут же попыталась улизнуть. Но Арбузов, придерживая девушку за руку, принялся рассказывать, что приехал из госпиталя, сам сибиряк и что перед тем, как снова ехать на фронт, охота ему подружиться с какой-нибудь девушкой. Говорил он все это искренне, даже сердечно и уличить его в пошлости или навязчивости было невозможно. То, что он говорил, походило на исповедь, произнесенную, правда, невпопад и перед незнакомым человеком.

Катя все-таки отделалась от Арбузова, отошла, не дав ему договорить фразу. Увидев, что он наблюдает за ней и ожидает момента, чтобы вновь подойти и заговорить, она и вовсе ушла из клуба.

Через два или три дня дела привели Арбузова в райисполком. Ему надо было договориться о переделках в помещении, в котором была размещена его рота и где прежде размещалось какое-то районное учреждение. Войдя в одну из комнат, Арбузов увидел за столом Катю. Он подсел к ней и час или полтора рассказывал о своих впечатлениях от поселка и о том, как, по его мнению, следовало бы его перестроить, чтобы он стал еще лучше. Катя несколько раз выходила из комнаты, всем своим видом показывала, что она загружена делами, но все было безуспешно. Арбузов терпеливо дожидался ее возвращений и не обращал внимания на все ее ухищрения. Поднявшись наконец со своего места, он направился к начальству и, очень быстро уладив дела, снова появился на пороге комнаты. На лице его было выражение покорности и терпения. Катя без особого труда определила его мысли: «Ничего, ничего... голубушка, ты покапризничай, а я потерплю... Такая уж наша мужская судьба... Все равно будет по-моему». Она уверилась, что именно так он думает, рассердилась окончательно и решила быть

откровенной с этим самоуверенным лейтенантом. Ушел он перед самым концом рабочего дня.

Но, выйдя из райисполкома и направляясь домой, Катя снова увидела его. Он стоял, прислонившись к телеграфному столбу, не обращая ни малейшего внимания на взгляды, которые кидали на него прохожие, все с тем же выражением кроткости, покорности судьбе и величайшего терпения.

— Решили меня провожать? — сурово спросила Катя.

— Вот именно, — обрадованно подтвердил Арбузов.

— Дело в том... одним словом... нельзя меня провожать... У меня есть знакомый, он с вами служит... Словом, мне неловко, что нас видят вместе... — сбивчиво заговорила Катя.

— Э, да бросьте, кому какое дело, — махнул рукой Арбузов, пристраиваясь с ней рядом на узком деревянном тротуаре. Он выговорил это так, будто был убежден, что только боязнь толков сдерживает девушку, но сама она ничего против него не имеет.

Катя чувствовала себя гадко. Алексей только что уехал. Что подумает он, когда вернется и когда до него дойдет услужливая в таких случаях молва. Но и наговорить дерзостей этому человеку, размахивающему тросточкой, она не могла: он был сдержан, вежлив, подкупающе искренен. Да и к тому же фронтовик. И, шагая рядом с Арбузовым, кивая встречным знакомым, рассеянно поддерживая разговор, Катя начала испытывать нечто похожее на страх.

Она уже привыкла к мысли, что Коротенко будет ее мужем, любила его, знала все его привычки и мысли — и вдруг почувствовала, что другая воля — и, кажется, сильная — хочет все повернуть, изменить.

Все-таки Катя нашла в себе силы, чтобы прервать эту прогулку. Увидев на противоположной стороне улицы подругу, она самоотверженно помчалась в своих легких туфельках через грязь. Догнав подругу, она не сдержалась, оглянулась. Арбузов потряс своей бамбуковой тросточкой и тепло улыбнулся, прощаясь.

Но поселок был небольшой, и скрыться в нем было невозможно. Арбузова она увидела на следующее же утро, когда шла на работу. Он стоял вместе с несколькими командирами у крыльца одного из зданий управления рудника, превращенного в казарму. Откуда-то из-за угла

здания привели лошадь, и он сел на нее. Лошадь была молодая, необъезженная; она вскинулась на дыбки, Арбузов, однако, без видимых усилий удержался в седле. Катя подходила к казарме. Почему-то она подумала, что Арбузов, увидев ее, захочет порисоваться. Так бы поступил любой из парней, которых она знала прежде. Она придала лицу подчеркнуто равнодушное выражение. Но Арбузов, увидев ее, тут же слез с лошади, передал повод одному из товарищей и направился к ней, широко и радостно улыбаясь.

Командиры и солдаты, толпившиеся у забора, с любопытством поглядывали на них. Раздосадованная Катя вынуждена была подождать поспешавшего за ней лейтенанта. Когда он поравнялся с ней, она неприязненно сказала:

— Смотрят же... Другого времени не нашли?!

— А пусть, — отозвался Арбузов, слегка озадаченный ее раздражительным тоном.

Они обменялись несколькими фразами и разошлись. И только подходя к райисполкому, Катя с досадой подумала, что перешла какую-то неведомую границу и что — хочет она этого или нет — в их отношениях уже есть что-то скрытое от других, такое, что Алексею не следовало бы знать. «Другого времени не нашли»... Нельзя ли это понять, как совет найти другое, более подходящее время. Кажется, именно так это и прозвучало!..

В ближайшее же воскресенье Арбузов заявился к дому, где жила Катя. В окно она видела, как он повел переговоры с курносым мальчишкой, одетым не по сезону в отцовский дубленый тулуп. Ясно было, что он подговаривает мальчишку вызвать ее на улицу и договаривается о вознаграждении. Кате не хотелось, чтобы родители проведали о докучливом поклоннике, и она, поспешно одевшись, вышла.

Сейчас она выскажет ему все, что думает о нем и его поведении, она отучит его привязываться к незнакомым людям.

Но когда они пошли плечо к плечу по улице поселка, вышли за ограду рудника и направились к реке, ее воинственное настроение сменилось любопытством. Ей захотелось узнать, как же он будет вести себя дальше, о чем говорить. Не могла она удержаться и от свойственного всякой девушке томительно-радостного волнения, вызван-

ного тем, что она привлекает внимание, нравится. И все-таки она начала неприветливо:

— Несерьезно вы относитесь...

— К чему?

— К жизни...

Они остановились на мосту, облокотившись о перила... В поселке давно уже было замечено, что все пары на мосту непременно останавливались. Шутники даже утверждали, что стоит парню и девушке постоять так вот, облокотившись на перила, как приходит к ним любовь. Такое уж это было место — мост через шумливую горную речку, проложившую себе дорогу среди каменных глыб и не замерзающую даже в лютые морозы... И Катя неоднократно слышала все эти шутки, но странное дело: теперь она забыла о них.

— Серьезно я отношусь к жизни, — покачал головой Арбузов. — С тех пор как на фронте побывал — очень серьезно.

Они несколько минут помолчали.

— Что вам от меня надо?

— Ничего. Просто хочу подружиться.

— Зачем? Ведь у меня есть парень. Ты понимаешь — парень. — Возбужденная разговором, она, не замечая того, перешла на «ты».

— У всех стóящих девчат есть парни... Меня это не касается, это твое личное дело...

— Ну?

— Ну, и я тоже парень... Меня это не касается. Если бы ты была замужем — тогда другое дело...

— Как это не касается?

— Так. Я два месяца воевал. И сейчас туда же. И у меня никого нет. Понимаешь — никого! А так на войне нельзя, чтоб никого не было. Равновесие теряешь — то лезешь без нужды на рожон, то, наоборот, трусишь... И вообще одному нельзя, никак нельзя...

— При чем здесь я?

— При том, что мне опять на фронт. Если не ты, то опять никого...

— Ты же меня совсем не знаешь...

— Вижу, какая ты.

— Этого мало.

На мост спустился грузовик. Чумазый парень в замасленной телогрейке и видавшей виды буденовке высу-

нулся из кабины и подмигнул им. Они отошли от перил.

— Пойдем назад.

— Нет, туда пойдем. — Арбузов указал на тропинку, поднимающуюся от берега по заросшему соснами и лиственницами склону.

— Не пойду.

— Пойдем. Надо ж поговорить обо всем. — Голос его дрогнул. В нем впервые прозвучала просьба. Это тронуло Катю, и она не вырвала руки, за которую он взял ее.

Нерешительно и неуверенно, негодуя на себя, она стала подниматься в гору. На полпути остановилась, украдкой вытерла набежавшие на глаза слезы, решительно сказала:

— Нет, я домой пойду.

Он заметил ее слезы, удивился:

— А чего ты плачешь?

— Выдумывай, — отвернувшись, проговорила она.

Но через неделю, в следующее воскресенье, она все-таки поднялась с ним в гору. Должно быть, и вырвавшиеся у нее слова «другого времени не нашел», и то, что она стала называть его на «ты», и неожиданные для самой слезы — все это было не случайностью, а где-то, с какого-то краешка, сердце ее оттаяло, не позволяло больше обрывать его на полуслове, убегать от него, считать его навязчивым. Они сели на поваленной бурей сосне, и он сразу же сказал ей, что полюбил ее, радуется, что встретил ее, теперь жизнь его будет иной.

Здесь-то, на окруженной столетними лиственницами поляне, и разыгралась ссора, о которой помнили, не могли забыть все трое — и Катя, и Арбузов, и Коротенко.

Коротенко ранним утром вернулся в поселок и, закончив свои дела, отправился к Кате. Ее не оказалось дома. Он обошел все три имеющиеся в поселке магазина, заглянул в парикмахерскую, в районную библиотеку, к ее подругам, но Кати нигде не было. Не зная, как убить время, он по привычке направился к тропинке, по которой так часто ходил вместе с Катей. Поднявшись на взгорье, еще издали услышал голоса и направился через чащу, к поляне.

Незнакомый лейтенант сидел на поваленной сучковатой сосне и громко что-то говорил. Катя стояла в двух шагах от него и с растерянным лицом слушала. Потом он,

не вставая с места, взял ее за руку, притянул к себе...

Коротенко, с трудом сдерживая себя, вышел на поляну, глухо сказал:

— Ты что ж это, лейтенант?

Катя дрогнула, закрыв лицо руками, повернулась к толстому, в два обхвата, медному стволу.

— А ты откуда взялся, такой пригожий? — с угрозой в голосе отозвался Арбузов. Потом глянул на Катю, догадался, поднялся на ноги. — Что ж делать будем? Дуэлей теперь нет... Пойдем в расположение, разберемся... А девушка сама дорогу найдет.

— Девушка найдет, — подтвердил Коротенко.

И оба они, не оборачиваясь, пошли к тропинке, искоса, через плечо, с откровенной неприязнью оглядывая друг друга, — коренастый, сероглазый и круглолицый Коротенко и рослый, румянощекий Арбузов.

Но не разобрались... Сначала их видели сидящими на лавочке около офицерской казармы и относительно спокойно беседующими. Потом они вышли во двор и стали под врытым в землю турником. Голоса их звучали громче. По ним нетрудно было установить ссору. Наконец они оказались в казарме, невдалеке от пирамиды с оружием. Понаблюдав за ними, дневальный счел правильным вызвать дежурного командира. Тот подоспел вовремя: в тот самый момент, когда он входил в помещение, завязалась было рукопашная.

Началось расследование. Однако завершено оно не было. В один из ближайших дней, на рассвете, была объявлена тревога. Части, входящие в состав соединения, направились к железной дороге.

В хлопотах чрезвычайное происшествие отодвинулось на второй план, а когда соединение прибыло на фронт, командование сочло возможным ограничиться небольшим взысканием, наложенным на Коротенко.

Коротенко и Арбузов служили в разных подразделениях и на фронте первое время видели друг друга лишь несколько раз, да и то издали.

* * *

— Что будем делать, сержант? — негромко спросил Коротенко у сопровождавшего его сержанта Баева. По

тону вопроса можно было догадаться, что он уже принял решение и обращается к сержанту только потому, что ждет от него готовности пойти на большее, чем требует воинский долг.

— Выручать будем, — без промедления ответил Баев. И они стали совещаться, как и где лучше всего пронести раненого к своим.

Где проходит наш передний край и где передний край гитлеровцев, где начинается и где кончается ничейная земля, — все это точно еще не было известно и не было нанесено на карты. Бой продолжался с перерывами двое суток, и за это время высоты, урочища, окопы, ходы сообщения, дзоты и блиндажи несколько раз переходили из рук в руки. Явным было только то, что Коротенко и Баев наткнулись на Арбузова невдалеке от вражеских позиций... Оба они были связистами и забрели сюда, чтобы незаметно подключить провод к кабелю противника. Арбузов же вместе со своими разведчиками уточнял расположение вражеских войск. На обратном пути он разбил свою группу на три части и возвращался вместе с ефрейтором Машеровым, но попал под минометный обстрел. Машеров был убит, а его ранило осколками.

Коротенко и Баев положили Арбузова на шинель и понесли по разрушенной деревне. Однако, пройдя шагов триста, наткнулись на часового. Тот поднял тревогу и стал стрелять в их сторону осветительными ракетами. Пришлось уходить. Они предприняли еще несколько попыток прорваться к своим, но безуспешно. Гитлеровцы стреляли по звуку шагов, по малейшему шороху.

Помочь мог Арбузов, лучше других знавший обстановку, но он впал в беспамятство, да и не мудрено: укрываясь от пуль, Коротенко и Баев то и дело срывались на бег, попадали в ямы и воронки и нещадно трясли раненого.

Вскоре оба они поняли, что спасти Арбузова не в состоянии. Шинель опустили под деревом с посеченными осколками ветвями, вынули из карманов документы, положили около его правой руки гранату со вставленным в нее запалом. И Коротенко и Баев понимали, что другого выхода нет, но чувствовали себя скверно. Отошли в сторону и, низко пригнувшись, заспешили к виднеющимся невдалеке зарослям поломанного кустарника. Здесь их снова обстреляли, и Баеву пулей обожгло кисть руки.

Пока все это продолжалось, они не следили за временем. Добравшись же до места, откуда только что отошли, с беспокойством увидели, что разгорается рассвет. И тогда Коротенко решился:

— Все равно не можем прорваться... Погибать — так всем вместе. Пойдем за Арбузовым.

Разыскали полуразрушенный, заброшенный блиндажик. На дне его стояла вода, но на устроенных вдоль одной из стен нарах было сухо. Коротенко забинтовал Баеву поцарапанную пулей руку. В предутренних сумерках Арбузова перетащили в блиндаж, вход, как смогли, забаррикадировали бревнами, снятыми с верхнего наката.

Стало совсем светло. Разгоралась перестрелка. По свисту пуль удалось определить, что блиндаж располагался на ничейной земле, но путь к своим преграждала глубокая извилистая балка, к которой подступала открытая со всех сторон возвышенность. Все же блиндажик был сравнительно безопасным местом.

Арбузов очнулся сразу же, как только его уложили на прелую солому. Коротенко собрал резиновые пакеты с бинтами и принялся его перевязывать. Баев тем временем наблюдал через амбразуру.

Шел снег. Он призакрыл раны земли — воронки, развороченные танковыми гусеницами ступенчатые колеи, облепил ветви кустарника. Пушистый, он лег на землю как-то нерешительно, будто угадывая, что ему вскоре суждено стаять. И казалось — дунь на него посильнее, и он покатится по урочищу, пока не соберется в вал.

Выбраться из блиндажа до следующей ночи нечего было и думать: из вражеских окопов блиндажик отлично просматривался, да и путь к балке лежал через возвышенность. Радовало лишь то, что на исходе осени дни коротки. Подсчитали продовольствие — его на день почти хватало; все трое оказались людьми запасливыми: четыре больших куска сахара, четыре сухаря, круг колбасы, полпачки печенья.

Свернули папиросу. Курили ее все трое, поочередно, стараясь проглатывать побольше дыма, чтобы он не выходил из блиндажа. Баев, парень с большими оттопыренными ушами и словно бы постоянно чем-то удивленным лицом, вынул из мешка трехпалую суконную варежку, напялил ее поверх бинта на поврежденную руку и теперь любовался, как все это ладно получилось.

— А я уж помирать собрался, — сказал Арбузов. В его словах слышалась признательность. Прямо благодарить он не решился, всякие слова прозвучали бы фальшиво: ведь речь шла о жизни, да еще и не спасенной. Он, не мигая, отсутствующим взглядом смотрел на снопик яркого света, льющегося в блиндаж через амбразуру. — Вот ведь как получается... Катя-то... Если мне не выбраться, стало быть, твоя она, Катя...

Видимо, для Коротенко не были неожиданностью слова Арбузова. Он тотчас же отозвался:

— Ладно, ладно, лежи, не болтай. — Потом не сдержался, добавил грубовато: — Захочу — моей будет... независимо от тебя...

Они пытливо посмотрели друг на друга — Арбузов, распростертый на комьях гнилой соломы, забрызганный грязью, с забинтованными ногами, и Коротенко — несмотря на ночные испытания, молодцеватый и подтянутый. Оба смотрели миролюбиво, даже с затаенной теплотой, навеянной воспоминаниями, и с легким недоумением по поводу того, что говорить обо всем этом им приходится в самой неподходящей обстановке.

Коротенко первым отвел взгляд, полой шинели смахнул с сапогов пыль и принялся рассматривать их, поочередно подтягивая голенища за ушки.

— Ты тогда не так, как надо, поступил. Как пижон, поступил. Ведь я с ней с детства дружил, по тайге гулял, по той тропке — помнишь? — подымался... Таких, как она, хочешь знать, в России миллион и еще сто тысяч. Меня с ней судьба свела. А при чем здесь ты? Ну, скажи, при чем? Приехал, увидел, завлекать начал... Ты ведь за любой мог поухаживать, была бы она хоть чуточку привлекательна... Щеголем ты был, вот что... Знал ты, что у нее есть жених?

— Слышал о каком-то парне. Ну и что? Какое мне тогда было до этого парня дело? Вот теперь — знаю тебя. Если выкарабкаюсь — могу и уступить...

— Подарил! — рассмеялся Коротенко. — Мне таких подарков не надо... Ты водки глотни, насильно глотни.

Баев с интересом прислушивался к разговору. Он сообразил, что командиры когда-то крепко повздорили из-за девушки, припомнил толки о их ссоре. Разговор показался ему смешным: война же, все кругом клокочет в огне; кровь льется, рушатся города, горят села, припорошенные

первым снегом вблизи от блиндажа лежат мертвецы, а эти два человека, в одном из которых едва теплится жизнь, так говорят об этой девушке, будто она где-то поблизости и не позже вечера выйдет на гулянку. Баев, не снимая с руки варежку, вынул из кармана коробку спичек, потряс ею.

— Разыграем, товарищи командиры... На спичках разыграем, — в веселом азарте предложил он. — Самое что ни на есть соломоново решение... Вот одну ломаю... Короткая спичка — ищем после войны новую барышню, длинная — высылаем Катюше твой денежный аттестат.

Столько веселого лукавства было на лице Баева, что Коротенко рассмеялся. Добродушно улыбнулся и Арбузов.

— Не пойдет, — возразил Коротенко. — Благополучно отвоюю — моя будет все равно.

Все трое вздыхают и прислушиваются. Над блиндажом, сотрясая воздух, проносятся несколько снарядов, частят пулеметы. В просвете между наваленными у входа бревнами видны огневые позиции минометчиков. Около минометов суетятся солдаты. Над бруствером хода сообщения виднеется голова в каске и плечи. Это фельдфебель. В руках у него красный флажок, он то поднимает его, от опускает: сигнализирует кому-то невидимому.

Баев оглядывает нижний накат, трогает бревна пальцами, чтобы определить, не сгнило ли дерево.

— Если в наступление пойдет — только в этом случае нам хана. А так ночью выберемся. За овражком этим наше боевое охранение... Знать бы раньше положение вещей — уже выбрались бы.

— Не пойдет в наступление. Потери у него большие. Раньше чем через неделю не пойдет, — замечает Арбузов.

Закуривают новую папиросу. Курят поочередно, затягиваясь по два раза. Курит и Арбузов, несмотря на потерю крови и слабость.

— А хорошая девушка? — любопытствует Баев.

— У него спроси. — Арбузов бровями указывает на Коротенко.

— Сейчас всякая покажется ангелом... Говорю, миллион таких в России и еще сто тысяч. Вот только я ее выбрал. Ну, и полюбил ее, не без этого. — Мысли Коротенко где-то далеко за Уралом, в глазах теплота, мечта.

Арбузов замечает этот взгляд. И говорит:

— А я, как первый раз меня ранило, лежал в госпитале и все думал: у всех жены-невесты, а у меня никого. Негоже так. Убьют еще — и некому вспомнить будет, поплакать. Приехал на формировку, увидел — скромненькая, глаза серьезные, задумчивые...

— А женой может сварливой будет, с тяжелым характером. Ни выпить не позволит, ни, скажем, рыбку сходить половить... В девичьем состоянии-то они все ласковые... с вдумчивыми глазами... Начнет пилить — из дому убежишь, — говорит Баев.

— Все может быть, — рассеянно соглашается с ним Коротенко.

— Нашего брата вздрючивать надо, иначе нельзя, — замечает Арбузов.

— Скорее всего, сварливой будет женой, — вслух раздумывает Баев, — потому что вы цену ей набили, много думать о себе заставили... Девчонку надо в скромности держать... Странное это дело, товарищи командиры, какой мы ерундой в мирном положении занимались, вот ссорились даже...

— Это не ерунда. Это нам сейчас так кажется, что ерунда, а на самом деле не ерунда.

Баев, поразмыслив, соглашается:

— Верно ведь, товарищ младший лейтенант. Стали мы тут маленько бесчувственными. А в мирном положении иное. Я, как с рыбалки возвращался, нарву, бывало, полевых цветов и нюхаю, какой лучше пахнет... Человек должен без пальбы, без страха смерти жить... Но только это в нас и остается, может задержаться на весь век... Будешь думать: все, дескать, в жизни ерунда, не заслуживающая пристального внимания. Вот только жить — не ерунда, а на все прочее наплевать с высокой горы.

— Не останется это, оттаем, если живы будем, — говорит Арбузов.

Луч света из амбразуры передвинулся и теперь играет на обросшем грибками и плесенью стояке, поддерживающем накат. Арбузов, не отрываясь, смотрит на него.

— Да, жизнь, война — все это понять надо, в толк взять, — раздумчиво тянет Баев.

— Интересно знать, запасной диск у тебя снаряжен? — ворчливо спрашивает Коротенко. — Снарядил бы чем болтать...

Но Баев не унимается.

— Диск — это я могу при разговоре, это не мешает... Самый вам резон после войны приехать к ней, — дескать, пораскинь умом-палатой, к кому лучше притуляться. Потому ссориться вам теперь нельзя. А который лишний — удалиться должон без шума, без битья стекол, без хлопка дверью...

Коротенко и Арбузов не поддерживают разговора. Все в блиндаже надолго смолкают.

Рвут землю, скованную первым морозцем, мины и снаряды. Фронт гудит и ухает. Снег уже утратил свою белизну, рыжевато-черная гарь густо припорошила его.

Арбузову опять хуже. Он то и дело впадает в беспамятство и принимается бормотать что-то несвязное. Баев снимает с себя шинель и закрывает раненого. Коротенко закутывает его ноги шерстяной фуфайкой. Потом, когда открывает глаза, его заставляют выпить глоток водки и съесть кусок колбасы.

Закусили и сами. И, настороженные, ко всему готовые, держа пальцы на спусках автоматов и положив около себя взведенные гранаты, стали подремывать.

Спустились сумерки. В воздухе замелькали снежинки.

Дождались темноты. Арбузова на шинели выносят из блиндажа. Ему холодно, и зубы его стучат. Наклонившись, короткими, быстрыми шагами направляются Коротенко и Баев к балке.

...Возвращение было на редкость удачным: не прошли и сотни шагов, как наткнулись на разведчиков, отыскивающих своего командира. Разведчики доставили Арбузова к штабу, где уже были подготовлены санитарные сани. В штабной землянке его отогрели, накормили горячей кашей. Когда его клали на сани, Коротенко и Баев подошли проститься.

— Прощайте, братцы... — И Арбузов добавил со слабой улыбкой, обращаясь к Коротенке. — Значит, не договорились... Ну, что ж, подеремся... Тому, кто с ней останется, хорошо будет, и тому, кто уйдет, тоже хорошо... Все это хорошо.

Коротенко понял его и с удовольствием подтвердил:

— Подеремся!

— А у вас далеко с ней зашло, товарищ лейтенант?.. Как муж и жена или только женихались? — вмешался Баев.

— Это тебя не касается, — отозвался Арбузов, пожимая Баеву руку и прикрывая глаза.

— Женихались. В щеку он не раз поцеловал, — без особой уверенности в голосе пояснил Коротенко.

Арбузов, не открывая глаз, загадочно улыбнулся.

Лошадь тронулась. Коротенко и Баев смотрели вслед саням... Все окончилось благополучно, но пришлось трудно... А сколько их будет еще впереди, трудных дней!..

— А руку врачу показал? Иди-ка в санчасть, — спохватился Коротенко.

— Руку-то? Точно. Пущай врач полечит... — И Баев поплелся вслед за санями.

...Коротенко убило через четыре дня, во время наступления на гитлеровцев, осколком снаряда в висок.

...Арбузов вернулся в соединение через три месяца, в глубокий тыл его не отправляли. Когда ему сказали о гибели Коротенко, этот бывалый разведчик, перевидавший всякое, не выдержал, заплакал. «Леша, Леша, — повторял он, — как же это тебя?»

«Два ранения пережил, привыкать начал, переживу и третье», — сказал он мне как-то. Но не пережил! Воевал он самоотверженно. Как-то с группой разведчиков отправился в тыл врага, чтобы захватить вражеского офицера. «Языка» группа захватила, но на обратном пути Арбузов подорвался на мине... Был морозный день, когда его хоронили. Целую ночь напролет мы жгли костер на взгорье, где пересекались две дороги. Когда земля оттаяла, вырыли могилу. Три залпа по врагу из полковых пушек были ему салютом.

...Не довелось после войны Арбузову и Коротенко подраться из-за девушки Кати.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Николаевич Туницкий

ТРУДНОЕ УТРО

Редактор *Ю. Авдеенко*
Художник *О. Шамро*
Художественный редактор *Г. Гречихо*
Технический редактор *Л. Репнина*
Корректор *Л. Миронова*

Г-52083. Сдано в набор 6.6.67 г. Подписано к печати 12.1.68 г.
Формат бумаги $84\times108^{1}/_{32}$. Печ. л. $10^{1}/_{4}$. (Усл. печ. л. 17,22). Уч.-изд. л. 16,812.
Бумага типографская № 2. Тираж 65 000 экз.
Изд. № 4/251. Заказ 5401 Цена 68 коп.

Военное издательство Министерства обороны СССР
Москва, К-160

1-я типография Военного издательства
Министерства обороны СССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано с матриц в 4-й военной типографии.

Туницкий А. Н.

Т84 Трудное утро. Повести и рассказы. Воениздат, 1968.

336 с. 65 000 экз. 68 к.

В книге Александра Туницкого «Трудное утро» правдиво воссоздаются эпизоды Великой Отечественной войны. Основное внимание писатель уделяет разработке природы подвигов советских воинов, совершенных в борьбе с фашистскими захватчиками. Повести «Последний выстрел», «Золотое сечение», рассказы, входящие в сборник, пронизаны духом романтики и любви к нашей славной армии.

7-3-2
180-68 Р2

В ВОЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ В 1967 ГОДУ ВЫШЛИ КНИГИ:

В. Ерашов. **Пишет домой солдат...** Повесть.

Б. Мясников. **Ночь падучих звезд.** Рассказы.

Н. Малыгина. **Сестренка батальона.** Повесть.

Г. Марков. **Орлы над Хинганом.** Повесть.

Г. Мирошниченко. **Сыны прославленной России.** Повести.

Ю. Семенов. **Майор Вихрь.** Роман.

А. Щербаков. **В солнечные и ненастные дни.** Повесть, рассказы.